

М. ЦВЕТАЕВА

ИЗБРАННОЕ



ИЗБРАННОЕ

М. ЦВЕТАЕВА





Ирина Губарева

1892—1941

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
ИЗБРАННОЕ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ

Москва
«Просвещение»
1992

ББК 84Р7
Ц27

Текст печатается по изданиям:

- Цветаева М. Избранные произведения. — М.; Л.: Сов. писатель, 1965 — (Б-ка поэта. Большая сер.: 2-е изд.); Цветаева М. Сочинения: В 2 т. — М.: Худож. лит., 1980. — Т. 1—2.
- Орлов В. Марина Цветаева. Судьба. Характер. Поэзия // Цветаева М. Избранные произведения. — М.; Л., 1965.
- Эфрон А. С. Страницы воспоминаний (фрагменты) // Звезда. — 1973. — № 3, Эфрон А. С. Страницы былого (фрагменты) // Звезда. — 1975. — № 6.

Составление, комментарии *Л. А. Беловой*

Художник *С. В. Соколов*

На контртитule — перерисовка портрета М. И. Цветаевой
работы *К. Б. Родзевича* (1923 г.),
фрагмент

Цветаева М.

Ц27 Избранное / Сост., коммент. Л. А. Беловой. — М.: Промсвещение, 1992. — 367 с.: ил. — ISBN 5-09-004816-0.

В состав книги входят избранные стихи М. Цветаевой, «Поэма Горы», трагедия «Ариадна» и один из очерков об А. С. Пушкине — «Мой Пушкин».

Ц 4306020000—363
103(03)—92 без объявления

ББК 84Р7

ISBN 5-09-004816-0

© Составитель Белова Л. А., 1990



В. Н. Орлов

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. СУДЬБА. ХАРАКТЕР. ПОЭЗИЯ

*Одна — из всех — за всех —
противу всех!..*

Более полувека тому назад совсем юная и никому еще не известная Марина Цветаева высказала непоколебимую уверенность:

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Прошли годы трудной жизни и напряженнейшей творческой работы — и гордая уверенность обернулась полным неверием: «Мне в современности и в будущем — места нет».

Это, конечно, отчасти полемическая крайность, отчасти добросовестное заблуждение, в известной мере объяснимое одиночеством и растерянностью поэта, знавшего силу своего таланта, но не сумевшего выбрать правильного пути.

Судьба созданного художником не сводится к его личной судьбе: художник уходит — искусство остается. Сама Цветаева в третьем случае сказала уже гораздо точнее: «...во мне нового ничего, кроме моей поэтической (*dichterische*) отзывчивости на новое звучание воздуха».

Благодаря этой отзывчивости большой поэт, фатально пытавшийся противопоставить себя своему веку, в конечном счете оказался неотделимым от искусства этого века.

Наследие Марины Цветаевой велико и трудно обозримо. Тринадцать изданных ею книжек и три, вышедшие посмертно, вобрали в себя лишь малую часть написанного. Другая часть рассыпана по почти недоступным изданиям. Многие остались неопубликованным. Среди созданного Цветаевой, кроме лирики, — семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическая, мемуарная, историко-литературная и философско-критическая проза.

Обширное наследие это неравноценно. Есть в нем и то, что пережило свое время или было продиктовано соображениями случайными, злобой давно минувшего дня. [...] Но без лучших стихов и поэм Марины Цветаевой сейчас уже невозможно составить достаточно полное и ясное представление о русской поэзии нашего века.

1

Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве 26 сентября 1892 года. По происхождению, семейным связям, воспитанию она принадлежала к трудовой научно-художественной интеллигенции. Отец ее — сын бедного сельского попа, уроженец села Талицы Владимирской губернии — вырос в таких «достатках», что до двенадцати лет сапог в глаза не видал. Трудом и талантом Иван Владимирович Цветаев пробил себе дорогу в жизни, стал известным филологом и искусствоведом, профессором Московского университета, директором Румянцевского музея и основателем Музея изящных искусств (ныне Музей имени Пушкина, у подъезда которого пририта мемориальная доска в честь И. В. Цветаева). Он умер в 1913 году. Мать — из обрусевшей польско-немецкой семьи, натура художественно одаренная, музыкантша, ученица Рубинштейна. Она скончалась рано (в 1906 году), но, по словам дочери, успела оказать на нее «главенствующее влияние»: «Музыка, природа, стихи, Германия... Одна против всех. *Heroica*»¹.

Детство, юность и молодость Марины Цветаевой прошли в Москве и в тихой подмосковной (собственно — калужской) Тарусе, отчасти — за границей (Италия, Швейцария, Германия, Франция). Училась она много, но, по семейным обстоя-

¹ «Ответ на анкету» (очевидно, 1925 г.), — бумаги М. Цветаевой (сохранены ее дочерью, А. С. Эфрон). Пользуюсь случаем выразить А. С. Эфрон благодарность за предоставление ценных материалов (заметки в дневнике, записных книжках, черновых тетрадях, черновики писем). В дальнейшем изложении цитируются также письма М. Цветаевой, частично опубликованные в зарубежной печати. Цветаеву знают у нас поверхностно, — тем уместнее продемонстрировать, в пределах возможного, этот малоизвестный материал.

(Все сноски в статье В. Н. Орлова, кроме специально отмеченных: Сост[авитель], — принадлежат самому Орлову. Отгочнем в квадратных скобках отмечены сокращения в тексте. — Сост.)

вам, довольно бессистемно: совсем маленькой девочкой — в музыкальной школе, потом — в католических пансионах в Лозанне и Фрейбурге, в ялтинской женской гимназии, в московских частных пансионах. Окончила в Москве семь классов частной гимназии Брюхоненко (из 8-го класса вышла). В возрасте шестнадцати лет, совершив самостоятельную поездку в Париж, прослушала в Сорбонне сокращенный курс истории старофранцузской литературы.

Стихи Цветаева начала писать с шести лет (не только по-русски, но и по-французски и по-немецки), печататься — с шестнадцати, а два года спустя, в 1910 году, еще не сняв гимназической формы, тайком от семьи, выпустила довольно объемистый сборник — «Вечерний альбом». Изданный в количестве всего 500 экземпляров, он не затерялся в потоке стихотворных новинок, затоплявшем тогда прилавки книжных магазинов. Его заметили и одобрили такие влиятельные и взыскательные критики, как В. Брюсов, Н. Гумилёв, М. Волошин. Были и другие сочувственные отзывы.

Стихи юной Цветаевой были еще очень незрелы, но подкупали талантливостью, известным своеобразием и непосредственностью. На этом сошлись все рецензенты. Брюсов противопоставил Цветаеву другому тогдашнему дебютанту — Илье Эренбургу. Если Эренбург «постоянно вращается в условном мире, созданном им самим, в мире рыцарей, капелланов, трубадуров, турниров», то «стихи Марины Цветаевой, напротив, всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого». Строгий Брюсов особенно похвалил Цветаеву за то, что она безбоязненно вводит в поэзию «повседневность», «непосредственные черты жизни», предостерегая ее, впрочем, от опасности впасть в «домашность» и разменять свои темы на «милые пустяки»: «Несомненно талантливая Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интимной жизни и может, при той легкости, с какой она, как кажется, пишет стихи, растратить все свое дарование на ненужные, хотя бы и изящные, безделушки»¹.

Отзыв Гумилева был еще благосклоннее: «Марина Цветаева внутренне талантлива, внутренне своеобразна... Многое ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) интимность; новы темы, например детская влюбленность; ново непосредственное, бездумное любование пустяками жизни. И, как и надо было думать, здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга — не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов»².

¹ «Русская мысль», 1911, № 2, отд. II, с. 233. Вошло в кн.: В. Брюсов. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., 1912, с. 197—198.

² «Аполлон», 1911, № 5, с. 78. Вошло в кн.: Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. Пг., 1923, с. 113—114.

Особенно поддержал Цветаеву при вхождении ее в литературу Максимилиан Волошин, с которым она вскоре, несмотря на большую разницу в возрасте, подружилась. В декабре 1910 года Волошин адресовал юной поэтессе преувеличенно восторженное послание, где писал между прочим:

К Вам душа так радостно влекома...
О, какая веет благодать
От страниц «Вечернего альбома»!
Кто Вам дал такую ясность красок?
Кто Вам дал такую точность слов?
Смелость все сказать — от детских ласок
До весенних, новолунных снов?
Ваша книга — это весть «оттуда»,
Утренняя, благостная весть...
Я давно уж не приемлю чуда...
Но как сладко слышать: «Чудо есты!»¹

Вслед за «Вечерним альбомом» появилось еще два стихотворных сборника Цветаевой: «Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух книг» (1913), — оба под маркой издательства «Оле-Лукойе», домашнего предприятия Сергея Эфрона, друга юности Цветаевой, за которого в 1912 году она вышла замуж*².

В это время Цветаева — «великолепная и победоносная» — жила уже очень напряженной душевной жизнью. Устойчивый быт уютного дома в одном из старомосковских переулков, неторопливые будни профессорской семьи — все это было внешностью, под которой уже зашевелился «хаос» настоящей, не детской поэзии.

В прошлом было совсем раннее, вспыхнувшее в 1905 году и быстро погасшее, увлечение романтикой революции — народолюбцами, лейтенантом Шмидтом, Марией Спиридоновой и даже популярными в то время политическими брошюрами «Донской речи» и учебником политической экономии Железнова. Все это выветрилось без следа и остатка.

В юности Цветаевой овладевает уже нечто совершенно иное — наивно-романтический культ... Наполеона и его незадачливого сына — «Орленка», герцога Рейхштадтского. Портреты отца и сына украшали девическую комнату. Цветаева зачитывается исторической и мемуарной литературой о своих

¹ Незданное стихотворение. — М. Цветаева в 1911, 1913 и 1917 гг. гостила у Волошина в Коктебеле. После его смерти она посвятила ему воспоминания — «Живое о живом» («Современные записки», Париж, 1933, тт. 52 и 53) и стихотворный цикл «Jci-Naut», 1932. (Сейчас можно сослаться и на советское издание: Марина Цветаева Сочинения. В двух томах. — М., 1980 (и 1985). — Т. 2. — Сост.)

² Звездочками отмечены слова и фразы, к которым в конце книги дан комментарий. — Сост.

героях — Массоном и Тьером, воспоминаниями наполеоновских маршалов.

Культу соответствуют и собственно литературные вкусы юной бонапартистки. Кумирами ее становятся эффектный, но пошловатый Эдмон Ростан (воспевший «Орленка» в известной мелодраме), экспансивно-эстетская поэтесса графиня де Ноайль и знаменитая в свое время Мария Башкирцева — рано скончавшаяся художница, интимным дневником которой зачитывалось не одно поколение романтически настроенных девиц (свою третью книгу стихов Цветаева предполагала озаглавить просто «Мария Башкирцева»).

Это была литература не слишком высокой пробы, отдававшая дешевой красотой и всяческой словесной пиротехникой. Цветаева же упрямо держалась за нее, и в этом был своего рода вызов. Тем более что художественные пристрастия Цветаевой, конечно, не ограничивались такой литературой: с детства она была погружена в Пушкина, в юности открыла для себя Гёте и немецких романтиков.

В уже упомянутом «Ответе на анкету» Цветаева устанавливает следующую «последовательность любимых книг (каждая дает эпоху)»: «Ундина» (раннее детство), Гауф — Лихтенштейн (отрочество), Ростан (ранняя юность), «позже и поныне: Гейне — Гёте — Гёльдерлин; русские прозаики — Лесков и Аксаков, из современников — Пастернак; русские поэты — Державин и Некрасов, из современников — Пастернак»*. (В другом месте в числе любимейших своих писателей она называет также Ромэн Роллана и Рильке.) Перечень, как видим, довольно пестрый. Не менее интересны и знаменательны дальнейшие уточнения: «Наилюбимейшие стихи в детстве — пушкинское „К морю“ и лермонтовский „жаркий ключ“ (т. е. „Свидание“. — В. О.). Дважды — „Лесной царь“ и „Erlkönig“ (т. е. перевод Жуковского и самый подлинник Гёте. — В. О.). Пушкинских „Цыган“ с 7 лет по нынешний день — до страсти. „Евгения Онегина“ не любила никогда. Любимые книги в мире, те, с которыми сожгут: „Нибелунги“, „Илиада“, „Слово о полку Игореве“».

Такими крутыми поворотами — от лейтенанта Шмидта к Наполеону, от Ростана к Лескову и Аксакову, Гёте и Гёльдерлину — отмечена была юность Цветаевой, и в этом сказалась, быть может, самая резкая, самая глубокая черта ее человеческого характера — своеволие, постоянное стремление быть «противу всех», оставаться «самой по себе».

Строптивость порой толкала Цветаеву на крайние поступки. Она сама признавалась: «Мое дело — срывать все личины, иногда при этом задевая кожу, а иногда и мясо». Стоило Брюсову в его, как мы видели, в высшей степени благожелательном отзыве о первом сборнике Цветаевой мимоходом пожелать ей побольше «острых чувств» и «нужных мыслей»,

как она немедленно ответила ему в печати дерзким стихотворением. Когда вспыхнула первая мировая война, в разгар казенных ура-«патриотических» и шовинистических настроений, она пишет стихи, в которых демонстративно прославляет *свою* Германию — не государство кайзера и Круппа, но страну Канта, Гёте и златокудрой Лорелен:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам!
Ну как же я тебя оставлю,
Ну как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь», —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь!

Характер у Цветаевой был трудный, неровный, неуступчивый. Илья Эренбург, хорошо знавший ее в молодости, говорит: «Марина Цветаева совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, пиетет перед гармонией и любовь к душевному косноязычию, предельную гордость и предельную простоту. Ее жизнь была клубком прозрений и ошибок»¹.

В одном из стихотворений Цветаева вспоминает о двух своих бабках — простой сельской попадье и гордой польской панне:

Обеим бабкам я вышла — внучка:
Чернорабочий — и белоручка!..

Поначалу так причудливо и совмещались в ней две души, два обличья: восторженная «барышня», поклонница Ростана, погруженная в книжно-романтические грезы, и своевольная, строптивая «бунтарка», «дерзкая кровь», которая больше всего любит дразнить людей и «смеяться, когда нельзя».

Однажды Цветаева обмолвилась по чисто литературному поводу: «Это дело специалистов поэзии. Моя же специальность — Жизнь»². Знаменательная обмолвка! Жила она сложно и трудно, не знала и не искала ни покоя, ни благоденствия, всегда была в полной неустроенности, искренне утверждала, что «чувство собственности» у нее «ограничивается детьми и тетрадиями». Она хорошо знала себе цену как поэту (уже в 1914 году записывает в дневнике: «В своих стихах я уверена непоколебимо»), но ровным счетом ничего не сдела-

¹ И. Эренбург. Поэзия Марины Цветаевой. — «Литературная Москва», сборник второй. М., 1956, с. 711.

² М. Цветаева. Световой ливень. — «Эпопея» (Берлин), 1922, № 3, с. 13.

ла для того, чтобы как-то наладить и обеспечить свою человеческую и литературную судьбу. «Все в мире меня затрагивает больше, чем моя личная жизнь» (из письма 1923 года).

И при всем том Цветаева была очень жизнестойким человеком («Меня хватит еще на 150 миллионов жизней!»). Она жадно любила жизнь и, как положено поэту-романтику, предъявляла ей требования громадные, часто — непомерные. В ней громко говорила «языческая» жажда жизни как лучшей радости, высшего блаженства. Всякая мистика была ей органически чужда. Сама душа (не как метафора, а как понятие метафизическое) для нее — «христианская немочь бледная», «вздорная ересь», невесомый «пар», — тогда как тело, плоть существует реально и «хочет жить».

В этом отношении Цветаева совсем не похожа на поэтов предшествовавшего поколения — символистов. Их поэзия по преимуществу была проникнута духом «неприятия мира здешнего» во имя призрачных «миров потусторонних», недоверием к жизни и страхом перед ней. Ко времени появления Цветаевой эти темы стали достоянием бесчисленных эпигонов символизма, превратились в вульгарно-карикатурный стихотворный ширпотреб. Вся тональность поэзии Цветаевой совершенно иная. Вот один из характерных примеров — обращение поэта к Жизни:

Не возьмешь моего румянца —
Сильного — как разливы рек!
Ты охотник, но я не дамся,
Ты погоня, но я емь бег.
Не возьмешь мою душу живу!..

Правда, Цветаева нередко писала и о смерти — особенно в юношеских стихах. Но из этого не следует делать поспешные и далеко идущие выводы. Совершенно очевидно, что в ранних стихах это было не более как данью литературной моде. Символисты, как известно, заразили своими кладбищенскими настроениями все молодое литературное поколение. Писать о смерти было своего рода признаком хорошего литературного тона, и юная Цветаева не составила в этом смысле исключения:

Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.

Но «смертные» мотивы уже и тогда явно противоречили внутреннему пафосу и общему мажорному тону ее поэзии. Откликаясь на модную тему, она все же неизмеримо больше думала о себе — «такой живой и настоящей на ласковой зем-

ле». А в дальнейшем, в зрелых стихах, она говорила о смерти уже только как о биологической неизбежности.

Мало сказать, что жизнь не баловала Марину Цветаеву, — она преследовала ее с редким ожесточением. Цветаева всегда была обездолена и страшно одинока. Ощущение своего «сиротства» и «круглого одиночества» было для нее проклятием, источником неутихающей душевной боли. Но не в ее природе было жаловаться и стенать, тем более — упиваться собственным страданием. «Русского страдания мне дороже гётевская радость», — упрямо твердила она вопреки всем ударам судьбы. Свою душевную муку она прятала глубоко, под броней гордыни и презрительного равнодушия. На самом же деле она люто тосковала по простому человеческому счастью: «Дайте мне покой и радость, дайте мне быть счастливой, вы увидите, как я это умею!»

2

Жизнелюбие Марины Цветаевой воплощалось прежде всего в любви к России и к русской речи. Но как раз при встрече с родиной поэта постигла жестокая и непоправимая беда.

Годы первой мировой войны, революции и гражданской войны были временем стремительного творческого роста Цветаевой. Она жила в Москве, много писала, но печатала мало, и знали ее только завзятые любители поэзии. С писательской средой сколько-нибудь прочных связей у нее не установилось. В январе 1916 года она съездила в Петроград, где встретила с М. Кузминым, Ф. Сологубом и С. Есениным и ненадолго подружилась с О. Мандельштамом. Позже, уже в советские годы, изредка («много пять раз») встречалась с Пастернаком и Маяковским, дружила со стариком Бальмонтом. Блока видела дважды, но подойти к нему не решилась¹.

Октябрьской революции Марина Цветаева не поняла и не приняла. С нею произошло поистине роковое происшествие. Казалось бы, именно она со всей бунтарской закваской своего человеческого и поэтического характера могла обрести в революции источник творческого воодушевления. Пусть она не сумела бы правильно понять революцию, ее движущие силы, ее исторические задачи, но она должна была по меньшей мере *ощутить* ее — как могучую и безграничную стихию. По всему, казалось бы, Цветаевой было по пути с Блоком, Маяковским, Есениным (заметим кстати, что Блока она боготворила, в Маяковском сразу разглядела самого значительного поэта новой эпохи, Есенина оценила по достоинству еще до революции). Но если Блок, Маяковский и Есенин, окры-

¹ В мае 1920 года Цветаева передала Блоку свои стихи, обращенные к нему. Известно, что Блок отнесся к ним с интересом*.

ленные социалистической революцией, пережили самый высокий творческий взлет, какой может выпасть на долю художника, то Марине Цветаевой революция на первых порах представилась всего лишь восстанием «сатанинских сил». [...]»¹

В литературном мире Цветаева по-прежнему держалась особняком. С настоящими советскими писателями контакта почти не имела, но и сторонилась той пестрой буржуазно-декадентской среды, которая еще задавала тон в литературных клубах и кафе. Сама Цветаева с юмором описала свое выступление на одном из тогдашних литературных вечеров. Это был специальный «вечер поэтесс». Выступали по большей части разукрашенные по последней моде дамочки, баловавшиеся стишками. Цветаева шокировала их всей своей поведкой и всем своим видом: она была в каком-то несуразном, напоминающем подрысник платье, в валенках, перепоясанная солдатским ремнем, с полевой офицерской сумкой на боку... Но главное, что отличало ее от остальных участниц вечера, заключалось в том, что среди никчемного птичьего щебетанья звучал голос настоящего поэта, читавшего отличные, хотя порой и страшно фронтёрские стихи.

Советская власть великодушно не замечала этой надуманной фронтды, уделила Цветаевой из своих скудных запасов паек, печатала ее книжки в Государственном издательстве («Вёрсты», «Царь-Девница»), а в мае 1922 года разрешила ей с дочерью уехать за границу — к мужу, который был белым офицером, пережил разгром Деникина и Врангеля, а к тому времени стал пражским студентом.

За рубежом Цветаева жила сперва в Берлине (недолго), потом три года — в Праге; в ноябре 1925 года перебралась в Париж. Жизнь была эмигрантская, трудная, нищая. В самих столицах жить было не по средствам, приходилось селиться в пригородах или ближайших деревнях (Вшеноры, Мокропсы — под Прагой; Медон, Кламар, Ванв — под Парижем).

Пейзажи этих и других мест отразились в произведениях Цветаевой («Поэма Горы», «Поэма Конца», многие стихи), причем очень конкретно. Вот, к примеру, как живописала Цветаева обстановку, в которой жила и творила в 1923 году: «Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни: колодец — часовней, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю

¹ Статья В. Н. Орлова написана (точнее, опубликована) в 1965 г., как предисловие к «Избранным произведениям» М. Цветаевой. Социальной трактовкой ряда событий статья вызывает ныне лишь исторический интерес. Вместе с тем общая оценка творчества Цветаевой, ее поэтики глубока и непреходяща. Поэтому мы сочли возможным не заменять эту статью в данном (втором) издании нашего сборника. — *Редакция литературы издательства «Просвещение».*

за водой (внизу холма) — цепной пес — скрипящая калитка. За нами сразу — лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях». (Ср. в стихах — «Ручьи».)

Поначалу белая эмиграция приняла Цветаеву как свою. Ее охотно печатали и хвалили. Но вскоре же картина существенно изменилась.

Прежде всего, для самой Цветаевой наступило жестокое отрезвление. Действительность не оставила камня на камне от мифа о «русской Вандее». Муж Цветаевой, Сергей Яковлевич Эфрон, прошедший с белой армией весь ее [...] путь, повинувшись голосу чести и совести, коренным образом пересмотрел свои взгляды (об этом, в частности, свидетельствует его искренняя статья «О добровольчестве», напечатанная в 1924 году)¹. Он рассказал Цветаевой правду о «белом движении», и она не могла не признать этой суровой правды.

Знаменательно, что политические темы, которым Цветаева отдала щедрую дань в стихах 1917—1921 гг., постепенно почти выветриваются из ее творчества эмигрантского периода.

Характерен и такой факт. Цветаева вывезла с собой из Советской России рукопись целого сборника стихов («Лебединый стан»), посвященных «русской Вандее»; убедившись, что за всем, о чем она здесь писала, не стояло ни исторической, ни человеческой правды, она так и не напечатала эту книжку, несмотря на многочисленные и настоятельные предложения.

Белоэмигрантская среда, с мышиною возней и яростной грызней всевозможных «партий» и «фракций», сразу же раскрылась перед Цветаевой [...].

Марина Цветаева и здесь пыталась сохранить некоторое подобие независимости: «Ни к какому поэтическому или политическому направлению не принадлежала и не принадлежу» («Ответ на анкету», 1925(?) года). Печаталась она в изданиях, которые в эмиграции считались «левыми» (преимущественно — в эсеровских), а от участия в «правых» — неизменно отказывалась.

Постепенно связи Цветаевой с белой эмиграцией все более ослабевают и наконец почти рвутся. Ее печатают все меньше и меньше. Она пишет очень много, но написанные годами не попадает в печать или вообще остается в столе автора. Если в 1922—1923 гг. ей удалось издать за рубежом пять книжек («Царь-Девица», «Стихи к Блоку», «Разлука», «Психея», «Ремесло»), то в 1924 году — уже только одну («Молодец»), а потом наступает перерыв до 1928 года, когда вышел в свет последний прижизненный сборник Цветаевой

¹ Впоследствии С. Я. Эфрон [...] стал одним из организаторов эмигрантского «Союза возвращения на родину».

«После России», включающий стихи 1922—1925 гг. Большие ее вещи — «Поэма Горы», «Поэма Конца», «Крысолов», «Поэма Лестницы», «С моря», «Попытка Комнаты», «Новогоднее», «Поэма Воздуха», драмы «Метель», «Фортуна», «Конец Казановы» («Феникс»), «Приключение», «Тезей» («Ариадна»), «Федра» — затеривались на страницах малотиражных журналов и альманахов.

Важно отметить, что это обстоятельство не слишком волновало и огорчало Цветаеву, ибо она была твердо убеждена, что ее читатель остался в России. В августе 1924 года она пишет одному своему корреспонденту: «Хотела бы издать свою новую книгу стихов (за два года за границей) *в России*»; в 1925 году — другому: «Мой читатель, несомненно, в России...»; в 1931 году — ему же: «Пишу не для *здесь* (здесь не поймут — из-за голоса), а именно для *там* — языком равных». Наконец, в 1933 году — третьему: «В 1922 г. уезжаю за границу, а мой читатель остается в России, куда мои стихи (1922—1933 гг.) *не* доходят. В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое: тамошнее! Содержание будто наше, а голос — *ихний*».

«Тамошнее» — значит советское, «ихний» — то есть советский.

Конечно, ничего советского в том, что писала Цветаева, не было, но среди подавляющего большинства эмигрантов она, в самом деле, казалась белой вороной. Она не мирилась с черносотенством, яростно ненавидела расизм и фашизм, не разделяла зоологической ненависти к Советскому Союзу. И ни от кого этого не скрывала. Даже в отношении к бывшей России (столь опозтезированной ею) она уже не находила с эмигрантами общего языка: во всеуслышание заявляла, что чувствует отвращение «ко всякому национализму», а излюбленные эмигрантской элитой выпренные рассуждения о «народобогоносце» называла «словесничеством», безответственной болтовней. С наиболее влиятельными литературными кругами белой эмиграции Цветаева находилась в самых натянутых отношениях. Нужно признать, она умела припечатать их крепким словом: «Они не Русь любят, а помещицкого „гуся“ — и девок». [...]

Решительно отказавшись от былых своих иллюзий и фетишей, она ничего уже не оплакивала и не предавалась никаким умирительным воспоминаниям о том, что ушло в бытие. В стихах ее звучали совсем иные ноты:

Берегись могил:
Голодней блудниц!
Мертвый был и сгнил:
Берегись гробниц!

От вчерашних правд
В доме — смрад и хлам.
Даже самый прах
Подари ветрам!

Дорогой ценой купленное отречение от мелких «вчерашних правд» в дальнейшем помогло Марине Цветаевой трудным, более того — мучительным путем, с громадными издержками, но все же прийти к постижению большой правды века.

Поэзия Цветаевой была монументальной, мужественной и трагической. Мелководье эмигрантской литературы было ей по ступню. Она думала и писала только о большом — о жизни и смерти, о любви и искусстве, о Пушкине и Гёте... Независимость Цветаевой, ее смелые эксперименты со стихом, самый дух и направление ее творчества раздражали и возмущали против нее большинство эмигрантских литераторов. Один из них — критик, считавшийся арбитром вкуса, без обиняков говорил в печати о «нашем несочувствии» к поэзии Цветаевой, об ее «полной, глубокой и бесповоротной для нас неприемлемости»¹.

Вокруг Цветаевой все теснее смыкалась глухая стена одиночества. Ей «некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться». По-видимому, она нисколько не погрешила против истины, когда жаловалась в 1935 году (в частном письме): «Надо мной здесь люто издеваются, играя на моей гордыне, моей нужде и моем бесправии (защиты — нет)». А нужда была действительно велика: «Нищеты, в которой я живу, вы себе представить не можете, у меня же никаких средств к жизни, кроме писания. Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает 5 франков в день, на них вчетвером (у меня сын 8-ми лет, Георгий) живем, т. е. просто медленно подышаем с голоду» (письмо 1933 года).

3

В таких лишениях, в такой изоляции Цветаева героически работала как поэт, работала не покладая рук. «Ни с кем, одна всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, — без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато... А зато — всё» (частное письмо). *Всё* — потому что с ней оставалась поэзия, ее «напасть», ее «богатство», ее «святое ремесло»². И какая упрямая вера в свои силы!

¹ «Звено» (Париж), 1927, № 2, с. 68—69.

² Цветаева часто повторяла замечательные строфы Каролины Павловой: «Ты, уцелевший в сердце нищем, Привет тебе, мой грустный стих! Мой светлый луч над пепелищем Блаженств и радостей моих! Одно, чего и святотатство Коснуться в храме не могло: Моя напасть, мое богатство! Мое святое ремесло!» Отсюда — заглавие лучшего стихотворного сборника Цветаевой: «Ремесло».

В 1931 году она записывает: «Не знаю, сколько мне еще осталось жить, не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать *сильно*, что слабых стихов — не дам».

Немыслимо трудно работать художнику, когда он остается в таком безвоздушном пространстве, какова эмиграция, — без родной земли под ногами, без родного неба над головой. Нужно обладать незаурядными душевными силами, чтобы в таких условиях сохранить хотя бы последнее — свою личность, без которой вообще нет и не может быть искусства. Ценой громадных усилий Цветаева сохранила свою личность, свою «душу живую».

К счастью, в ней уже не осталось никакого снобизма, никакого эстетства. Она знала истинную цену и жизни и искусства и, живя в мире, где то и другое чаще всего оказывалось несовместимым, не закрывала глаза на их противоречия. Кончая свой трактат «Искусство при свете совести» (1933), она задалась таким старым и всегда новым вопросом: что важнее (в поэте) — человек или художник? И ответила: «Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что — они у смертного одра, не мы. Врач и священник человечески важнее, все остальные — общественно важнее... За исключением дармоедов, во всех их разновидностях, все важнее нас»¹. Откровенное признание! И тем не менее тут же Цветаева говорит, что ни за какие блага не уступит своего дела и места поэта. Она и была поэтом, только поэтом, всецело поэтом, поэтом с ног до головы. Ее трудная, нищая, бесправная жизнь изгоя была до краев заполнена неустанной работой мысли и воображения.

И вот что замечательно. Не поняв и не приняв революции, убежав от нее, именно там, за рубежом, Цветаева, пожалуй, впервые обрела трезвое знание о социальном неравенстве, увидела мир без каких бы то ни было романтических покровов. И тогда-то проснулся в ней праведный, честный гнев настоящего художника — «святая злоба» на все, что мешает людям жить:

Мир белоскатертный,
Ужо тебе!

Самое ценное, самое несомненное в зрелом творчестве Цветаевой — ее неугасимая ненависть к «бархатной сытости» и всяческой пошлости. Попав из нищей, голодной, только что пережившей блокаду России в сытую и нарядную Европу, Цветаева ни на минуту не поддавалась ее соблазнам. Известное значение имела, конечно, и та житейская обстановка, в ко-

¹ М. Цветаева. Проза. Нью-Йорк, 1953, с. 410.

торой она непосредственно очутилась. «Пишу в рабочем предместье Праги, под нищенскую ресторанныю музыку, вместе с дымом врывающуюся в окно. Это — обнаженная жизнь, здесь и веселье — не на жизнь, а на смерть». И не подлежит сомнению, что в таком подходе к увиденному на Западе оказался опыт пережитого в Советской России, пусть еще не вполне осознанное, но уже острое ощущение того нового, что внесла в мир Октябрьская революция. В набросках к «Поэме Лестницы» Цветаева писала:

Что не алмаз на огне — то шлак.
После России не верю в лак.
Не нафталин в узелке, а соль:
После России не верю в моль.
Вся сгорела! Пожар малиной
Лил и Ладогой разлился.
Был в России — пожар — молиный.
Моль горела. Сгорела — вся.

Первые же стихи, написанные Цветаевой за рубежом, запечатлели не парадный фасад Европы, а мир нищеты и беспорядка, где можно наблюдать «жизнь без чехла». В великолепных «Заводских» и других стихах речь идет о рабочих заставах, где пахнет потом и кровью, где слышится «расправ пулемет», заглушающий «рев безработных». Речь идет о «сырости и сирости», о «чернорабочей хмури», о больницах и тюрьмах, о «голосе шахт и подвалов», о людях, обиженных и затертых жизнью, — о тех, кто прав и в своем отчаянье, и в своем «зле».

В творчестве Цветаевой все более крепнут сатирические ноты. Чего стоит одна «Хвала богатым»! В этом же ряду стоят такие сильные стихотворения, как «Поэма Заставы», «Поезд», «Полотёрская», «Ода пешему ходу» (от которой недаром отказался самый уважаемый из белоэмигрантских журналов — «Современные записки»), стихи из цикла «Стол», «Никуда не уехали...», «Читатели газет», отдельные строфы «Поэмы Горы», в которых струится поистине обжигающая «лава ненависти» к жалкому «царству моллюсков», и, конечно, целиком — такие яростно антимещанские, антибуржуазные вещи, как «Крысолов» и «Поэма Лестницы».

В «Крысолове», наряду с беспощадным разоблачением мешанской пошлости, осторожности, своекорыстной жадности, духовной скудости, подхвачена (в негативном плане, в злобно-панических воплях Бургомистра и бюргеров) блоковская тема музыки, которая взрывает старый мир и становится синонимом революции: «музыка — это банков крах, раскрепощенье фурий»; «музыка — есть — бунт...». В «Поэме Лестницы» — те же воинственно-сатирические ноты и вместе с тем — написан-

ная с громадным сочувствием, резкими красками, картина нищей, придавленной жизни людей труда («Кто работает, тот — ест»), — жизни, где всё — из последнего, где всего — в обрез: и топки, и стирки, и хлеба, и ласки. Но здесь есть и поэзия:

Над двором — узорно:
Воя — крест, вон — гроздь...
И у черной
Лестницы — карта звезд, —

потому что это *настоящая* жизнь *настоящих* людей.

В то же время в Марине Цветаевой всё более растёт и укрепляется живой интерес к тому, что происходит на покинутой родине. «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови, — писала она. — Не быть в России, забыть Россию — может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри — тот потеряет ее лишь вместе с жизнью»¹.

Но сперва это было только чувством родины, вообще — родины, той России, которую поэт знал и помнил. Среди патристических стихотворений Цветаевой есть одно удивительное — «Тоска по родине!..», где все, как и в «Хвале богатым», нужно понимать наоборот. Такие пронзительные, глубоко трагические стихи мог написать только поэт, беззаветно влюбленный в родину и лишившийся ее.

С течением времени понятие «родина» наполняется новым содержанием. Поэт начинает понимать всемирный размах русской революции («лавина из лавин»), начинает чутко прислушиваться к «новому звучанию воздуха». Тоска по России, сказавшаяся в таких хотя бы стихотворениях, как «Рассвет на рельсах», «Русской ржи от меня поклон...», «Лучина», «О, неподатливый язык...», сплетается с думой о *новой* родине, которую поэт еще не видел и не знает, — о Советском Союзе, о его жизни, культуре, поэзии, о «новоселах моей страны». Начинаются серьезные сдвиги и переоценки.

Вот очень показательный пример — заметка Цветаевой о Маяковском, появившаяся в одном из русских парижских журналов в ноябре 1928 года (Маяковский тогда был в Париже):

«28 апреля 1922 г., накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком, я встретила Маяковского.

— Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?

— Что правда — здесь.

7 ноября 1928 г. поздним вечером, выйдя из Café Voltaire, я на вопрос:

¹ «Своими путями» (Прага), 1925, № 8.

— Что же скажете о России после чтения Маяковского? — не задумываясь ответила:

— Что сила — там».

Интерес к личности и творчеству Маяковского вообще чрезвычайно показателен для широты взглядов Цветаевой. Она понимала и оценивала его как «первого нового человека нового мира», утверждала, что «без Маяковского русская революция сильно бы потеряла». Она видела в нем «первого в мире поэта масс», наиболее полного выразителя народного духа и народной судьбы, который «своими быстрыми ногами ушагал далеко за нашу современность» и заставляет думать «на век вперед»¹.

Следует добавить, что сочувственное отношение Цветаевой к Маяковскому сыграло дополнительную роль в ее конфликте с белоэмигрантскими кругами. Известно письмо Цветаевой к Маяковскому от 3 декабря 1928 года:

«Дорогой Маяковский! Знаете, чем кончилось мое приветствование Вас в „Евразии“? Изъятием меня из „Последних новостей“, единственной газеты, где меня печатали... „Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствует новую Россию...“ Вот Вам Милюков — вот Вам я — вот Вам Вы. Оцените взрывчатую силу Вашего имени...»²

Характерно, что Маяковский в 1930 году включил это письмо в экспозицию своей выставки «Двадцать лет работы».

На смерть Маяковского Цветаева откликнулась целым стихотворным циклом (или, если угодно, небольшой поэмой). Это вещь противоречивая: в ней звучат и неверные ноты; но главное и основное здесь — искреннее чувство родственной близости с Маяковским («Враг ты мой родной!»), чувство глубокого уважения к нему и к его личной драме («Много храмов разрушил, А этот — ценнее всего...») и ясное понимание его эпохального исторического значения. Отправляясь от газетной хроники тех дней («В гробу в больших стоптанных башмаках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции»), Цветаева рисует впечатляющий образ «первого бойца» за новый мир:

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал, —
Никаким обходом, ни объездом
Не доставшийся бы перевал.

¹ «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)». — «Новый Град» (Париж), 1933, №№ 6 и 7.

² В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. Изд. 3-е. М., 1956, с. 367. — Милюков был главным редактором газеты «Последние новости».

Израсходованных до сиянья
За двадцатилетний перегон, —
Гору пролетарского Синая,
На котором праводатель — он...

К 30-м годам Марина Цветаева уже совершенно ясно осознала рубеж, отделивший ее от белой эмиграции. Она записывает в черновой тетради: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я *не* эмигрант, что я по духу, т. е. по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда... Здесь преуспеет только погашенное и — странно бы ждать иного!» Сейчас она по-новому, уже совершенно иначе, нежели в разгар революции, ощущает ее присутствие в «воздухе», которым дышит поэт: «Признай, минуй, отвергни Революцию — все равно она уже в тебе — и извечно (стихия), и с русского 1918 года, который — хочешь не хочешь — был. Все старое могла оставить Революция в поэте, кроме масштаба и темпа¹. Как настоящий художник, Цветаева не могла не ощутить заразительную силу революции в собственном творчестве, ибо, как утверждал Блок, именно время внушает настоящему художнику его внутреннее, душевное, творческие ритмы. Только как личное признание можно понять убеждение Цветаевой: «Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос, — нет».

Важное значение для понимания позиции Цветаевой, которую заняла она к 30-м годам, имеет цикл «Стихи к сыну» (1932). Здесь она во весь голос говорит о Советском Союзе как о новом мире новых людей, как о стране совершенно особого склада и особой судьбы («всем краям наоборот»), неудержимо рвущейся вперед — в будущее, и в само мироздание — «на Марс». Во тьме дичающего старого мира самый звук СССР звучит для поэта как призыв к спасению и весть надежды.

Стихи эти полемически заострены против самой расхожей темы белоэмигрантской поэзии — «плача на реках Вавилонских». За годы рассеяния «святая земля», увезенная с родины, стерлась в прах — буквально и фигурально. Она не существует даже как символ. Цветаева против фетишизма понятий и слов: Русь для нее — достояние предков, Россия — не более как горестное воспоминание «отцов», которые потеряли родину и у которых нет надежды обрести ее вновь, а «детям» остается один путь — домой, на единственную родину, в СССР. Вожди и идеологи белой эмиграции более всего были озабочены воспитанием в своей молодежи чувства ненависти к новой, советской России. Цветаева же трезво смот-

¹ «Поэт и время». — «Воля России» (Париж), 1932, № 1—3.

рит на вещи: «Наша ссора — не ваша ссора» — убеждает она молодое эмигрантское поколение.

Столь же трезво смотрела Цветаева и на свое будущее. Она понимала, что ее судьба — разделить участь «отцов». Но у нее хватило мужества признать историческую правоту тех, против которых она так безрассудно восстала.

Личная драма Цветаевой переплелась с трагедией века. Она увидела звериный оскал фашизма — и успела проклясть его.

Победа гитлеризма в Германии, гибель Испанской республики, мюнхенская измена — все это вызвало в душе Цветаевой страстный протест. Близкие ей люди — муж и дочь — [...] уехали в Советский Союз. Марина Ивановна с сыном готовились к отъезду.

Последнее, что Цветаева написала в эмиграции, — цикл гневных антифашистских стихов о растоптанной Чехословакии, которую она нежно и преданно любила (эти стихи ей уже нигде было напечатать). Это поистине «плач гнева и любви», поэзия обжигающего гражданственного накала, настоящего ораторского звучания и вместе — трагического отчаянья. Поэт верит в бессмертие народа, не склонившего головы под насилием, предрекает неизбежную гибель его палачам, но сам в ужасе, закрыв глаза и зажав уши, отступает перед кровавым безумием, охватившим мир. Проклиная фашизм и перекликаясь с богоборческим исступлением Ивана Карамазова, Цветаева теряла уже последнюю надежду — спасительную веру в жизнь. Эти стихи ее — как крик живой, но истерзанной души:

О черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

На этой ноте последнего отчаянья оборвалось творчество Марины Цветаевой. Дальше осталось просто человеческое существование. И того — в обрез.

В 1939 году Цветаева восстанавливает свое советское гражданство и возвращается на родину. Тяжело дались ей семнадцать лет, проведенные на чужбине. Она имела все основания сказать: «Зола эмиграции... я вся под нею — как Геркуланум, — так и жизнь прошла».

Цветаева долго мечтала, что вернется в Россию «желанным и жданным гостем». Но так не получилось. Личные ее обстоятельства сложились плохо: муж и дочь подверглись необоснованным репрессиям. Цветаева поселилась в Москве, занялась переводами, готовила сборник избранных стихотворений. Грянула война. Превратности эвакуации забросили Цветаеву сперва в Чистополь, потом в Елабугу. Тут-то и настиг ее тот «одиначества верховный час», о котором она с таким глубоким чувством сказала в своих стихах. Измученная, потерявшая волю, 31 августа 1941 года Марина Ивановна Цветаева покончила с собой.

4

Цветаеву-поэта не спутаешь ни с кем другим. Стихи ее узнаешь безошибочно — по особому распеву, неповторимым ритмам, необщей интонации. Это, бесспорно, верный критерий подлинности и силы поэтического дарования.

Сила эта заметно пробивалась уже в самых ранних, полудетских стихах Цветаевой, еще совсем незрелых, ученических. Она проступала сквозь несколько наигранную инфантильность и густые литературные наслоения. Среди совершенно домашних стишков о «мамочке», «сестричке Асе», «фрейлин» и «мальчике Сереже», в окружении вычитанных из книг рыцарей, волшебников, принцев и контрабандистов, в мелькании «романтических имен» (от Баярда, Ундины, Байрона и Листа — до Ростана и княжны Нины Джаваха) вдруг возникало нечто свежее и непосредственное, обличавшее в авторе не только дарование, но и зачатки поэтического характера: «Я — мятежница с вихрем в крови...», «Я вся — любовь, и мягкий хлеб Дареной дружбы мне не нужен...», «Чтобы в мире было двое: я и мир!...»

Уже тогда начала сказываться особая цветаевская хватка в обращении со стихотворным словом, стремление к афористической четкости и завершенности (отсюда — излюбленный прием: куплетная форма с рефреном, подхватывающим основной мотив по смежности ассоциаций, а иногда — и по их контрасту). Подкупала также конкретность этой домашней лирики. При всей своей книжной романтичности юная Цветаева не поддавалась соблазнам того безжизненного, мнимого мно-

гозначительного декадентского жаргона, на котором по преимуществу изъяснялись тогдашние дебютанты в поэзии. У Цветаевой не было никаких «лунностей», «зменностей», «смыканья звеньев» и прочих пустопорожних отвлеченностей. Она даже высказала по этому поводу нечто вроде декларации — в предисловии к сборнику «Из двух книг» (январь 1913 года): «Записывайте точнее! Нет ничего не важного. Говорите о своей комнате: высока она или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы...»

Все это и дало повод Брюсову, Гумилеву и Волошину оценить первую книжку Цветаевой как залог будущего.

Росла Цветаева очень быстро, уверенно овладевая свободным, легким языком, богатым разговорными интонациями, и все более тщательно вылепляя образ своей лирической героини с ее золотом волос и зеленью глаз, кольцами и папиросами, слишком гордым видом, резкими речами и забвением «заповедей». Некоторые стихи, помеченные 1913—1915 гг., уже поражают удивительной энергией поэтического выражения даже самых, казалось бы, обычных тем. Таковы, к примеру, ранние цветаевские шедевры: «Идешь, на меня похожий...» или «С большою нежностью...».

Она уже научилась в эту пору рисовать целостную поэтическую картину, отбирая локальные черты пейзажа и обстановки, которые в совокупности воссоздают определенный культурно-исторический колорит. А также — человеческий характер. Так, в стихах о Кармен (1915) из подобного рода деталей (трещотки ночных сторожей, юный месяц, монахи, заговорщики, любовники и убийцы, статуя богородицы на городской площади, «запах розы и запах локона, шелест шелка вокруг колен») складывается представление не только об обстановке, в которой разворачивается драматически-любовный конфликт, но и о самих участниках конфликта:

Здесь у каждого мысль двоякая,
Здесь, ездок, торопи коня.
Мы пройдем, кошельком не звякая
И браслетами не звеня...
У фонтана присядем молча мы
Здесь, на каменное крыльцо,
Где впервые глазами волчьими
Ты нацелился мне в лицо.

В дальнейшем, в стихах 1916—1920 гг. (частично собранных в двух выпусках сборника «Вёрсты»), Цветаева вполне овладевает самобытной манерой и становится замечательным мастером русского стиха. Самая отличительная черта ее манеры — сильный и звонкий голос, так не похожий на распро-

страненные в тогдашней лирике плаксивый тон или придыхательно-элегический шепот.

Марина Цветаева хотела быть разнообразной, искала в поэзии различные пути.

Она продолжала разрабатывать и совершенствовать подхваченные в ранней юности темы и мотивы книжно-романтического происхождения. Ее увлекает французский XVIII век с его блистательно-легкомысленными героями, вроде Лозэна и Казановы, с его элегантными интригами и поэзией «великосветских авантюров». В цветаевских стихах этого плана (циклы «Плащ», «Дон Жуан», «Диккенсова ночь», «Комедьянт») много словесного блеска и соли, пафоса и иронии, остроты и своеобразного женского дендизма, соответствующих имен и аксессуаров: кавалер де Гриэ и Манон, Антуанетта и Калиостро, Коринна и Освальд, дилижансы и лондонские туманы, родовые поместья, гербы, бокалы Асти, «доблестный британский лев»...

Сюда же примыкают ранние стихотворные пьесы Цветаевой: «Червонный валет», «Метель», «Фортуна», «Приключение», «Феникс». Точнее назвать их драматическими поэмами в авантюрно-куртуазном духе; главное в них — яркий романтический колорит и игра со словом, виртуозный, эпиграмматически острый диалог:

— Посторонитесь! Обожжете кудри!

— Не беспокойтесь! Я сама — огонь.

Но постепенно изысканно-дендистские темы и мотивы теряли для Цветаевой свое очарование и в конце концов выветрились из ее творчества, ибо пришли в резкое противоречие со все более овладевавшим ею пафосом драматического переживания жизни и осознанием высокого призвания поэта:

Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных.

Ты — крылом стучавший в эту грудь,
Молодой виновник вдохновенья —
Я тебе повелеваю: — будь!
Я — не выйду из повиненья.

Да и вообще, примерно с 1916 года, когда, собственно, и началась настоящая Цветаева, в ее творчестве *господствовала* совершенно другая стихия — буйное песенное начало, воплощавшее острое чувство России — ее природы, ее истории, ее национального характера.

От русской народной песни — все качества тогдашних лучших стихов Цветаевой: открытая эмоциональность и бурная темпераментность, полная свобода поэтического дыхания,

крылатая легкость стиха, текучесть всех стиховых форм, меньше «вывести» из какого-нибудь одного слова целый рой образов, которые расходятся от него вширь — как круги по воде от брошенного камня. Отсюда же и весь ландшафт Цветаевской лирики тех лет: высокое небо и широкая степь, ветер, звезды, костры, цыганский табор, соловьиный гром, скачка, погоня, ямщицкие бубенцы, «калужский родной кумач», «рокот веков, топот подков»...

Конечно, за всем этим различима поэтическая традиция — дальняя и ближняя (ближайшая идет от Александра Блока), но у Цветаевой русская тема приобретает особый, самобытный характер.

Россия как национальная стихия раскрывается в лирике Цветаевой в различных ракурсах и аспектах — исторических и бытовых, но над всеми образными ее воплощениями стоит как бы единый знак: Россия — выражение духа бунтарства, непокорности, своевольства. Московская Русь, ее цари и царицы, ее кремлевские святые, Смутное время, Лжедмитрий и Марина, понизовая вольница Степана Разина, «нищие неги» и «нищие пиры» свободного цыганского житья и, наконец, неприкаянная кабацкая, подзаборная, каторжная Россия — все это суть образы одной стихии, все они переплетаются и взаимодействуют, образуя некое единство:

Следок твой непуган,
Вихор твой — колтун.
Скрипят под копытом
Разрыв да плакун.

Нетоптанный путь,
Непутевый огонь. —
Ох, Родина-Русь,
Неподкованный конь!

В центре этого многокрасочного и многозвучного поэтического мира стоит столь же резко выявленный в своих национальных чертах образ лирической героини — женщины с «гордым видом» и «бродячим нравом», носительницы «страстной судьбы», которой «все нипочем». Образ этот служит как бы стержнем, вокруг которого формируются и разворачиваются драматизованные лирические сюжеты Цветаевой. Героиня надевает разные личины и примеряет разные костюмы. Она и московская стрельчиха, и неукротимая боярыня Морозова, и надменная панна Марина, и таборная цыганка, и тишайшая «бездомная черница», и ворожея-чернокнижница, а чаще всего — бедовая острожная красавица, «кабацкая царица»:

Целовалась с нищим, с вором, с горбачом,
Со всей каторгой гуляла — нипочем!

Алых губ своих отказом не тружу.
Прокаженный подойди — не откажу!

В дальнейшем личины спадают — и открывается простое, без всяких декоративных украшений, женское лицо — лирический образ автора. Но стихия своевольтства и строптивости, душевного бунтарства, «дерзкой крови», не знающей удержу ни в страсти, ни в отчаянии, ни в любви, ни в ненависти, навсегда останется той эмоциональной средой, в которой живет этот образ:

Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.
Не с тем — италийским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!

Как видим, тема получила соответственное словесно-образное выражение. Устойчивые черты тогдашнего стиля Цветаевой — резкая экспрессия стихотворной речи, молниеносные темпы, плясовые и песенные «переборы», богатая звуковая инструментовка, легкая игра со словом, особого склада то лукавый, то задорный говорок, переходящий в скороговорку:

Кабы нас с тобой да судьба свела —
Ох, веселые пошли бы по земле дела!
Не один бы нам поклонился град,
Ох, мой родный, мой природный, мой безродный брат!

У нее и манера чтения была такая: «Читая стихи, напевает, последнее слово строки кончая скороговоркой»¹.

Народнопоэтические мотивы ярко окрашивают творчество Цветаевой периода «Верст» и последующих лет. Она обращается не только к песне, но и к частушке, к раёшнику, к своеобразным культовым формам «заплачек», «заговоров», «заклятий» и «ворожбы», имитирует «жестокий» мещанский романс («Стихи к Сонечке»), наконец — вслед за этим пишет большие поэмы-сказки («Царь-Девница», «Молодец»). И все это, как правило, не кажется стилизацией, то есть мертвой подделкой (как было это, скажем, у Бальмонта в книге «Жар-птица»)², но ощущается как стремление передать современным стихом не только склад, но и самый дух народной песни и сказки.

Именно — современным стихом. В лучших своих вещах, на-

¹ И. Эренбург. Портреты русских поэтов. М., 1923, с. 73.

² О Бальмонте в этой связи Цветаева писала: «Его любовь к России — влюбленность чужестранца. Национальным поэтом, при всей любви к нему, его никак не назовешь».

писанных в «народном духе», Цветаева, вживаясь во все тонкости народнопоэтической речи, усваивая ее ритмы, рифмы, эпитеты, экономную и точную образность, ничего не теряла из своего, цветаевского:

Нет сосны такой прямой
Во зеленом ельнике,
Оттого что мы с тобой —
Одноколыбельники.

Не для тысячи судеб —
Для единой рóдимся.
Ближе, чем с ладонью хлеб, —
Так с тобою сходимся.

Не унес пожар-потоп
Перстенька червонного!
Ближе, чем с ладонью лоб
В те часы бессонные...

Особенного успеха в этом роде Цветаева достигала как раз в тех случаях, когда отказывалась от внешних примет «style gusse», от всех этих *аж, аль, ровно, кабы, ох ты* и в наибольшей мере оставалась верна самой себе («Гаданье», «Полюбил богатый бедную...», «Глаза», «Бабушка», «Волк», «Не для льстивых этих риз...»).

Нельзя счесть безусловной удачей Цветаевой обе ее большие «русские» поэмы — «Царь-Девицу» и «Мóлодца» (сюжетные источники их — соответствующие сказки в сборнике Афанасьева). Они написаны эффектно, броско, в них много стихов отличной выделки, богатый словарь, виртуознейшие вихревые ритмы, но в целом они слишком многословны, громоздки, тяжеловаты. Между тем сила Цветаевой была как раз в сжатости, в предельной конденсированности стиховой речи. Примеры этому можно найти и в сказках, скажем — в «Мóлодце».

Как вскочит, брав!
Как топнет, строг!
Рукой — в рукав,
Ногой — в сапог...

Своим богатым арсеналом средств поэтической выразительности Цветаева пользовалась расточительно и всегда по-разному. Из своей власти над стихом она умела извлекать самые разнообразные и неожиданные эффекты. Возьмем, например, такое стихотворение, как «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...». Сколько в этих стихах затаенной страсти и энергии! Они — как туго натянутая пружина, которая вот-вот вы-

рвется из рук. А вот совсем другие по тону и манере стихи: «Как правая и левая рука...» — пример редкой экономии, можно сказать — скупости стихотворной речи, настоящей афористичности ее. Другой пример такого же рода — превосходное стихотворение «Красною кистью...», в котором нет ни одного необязательного, «проходного» слова, а все только самые необходимые, и каждое забито как гвоздь — по самую шляпку. Или возьмем маленькое, восьмистрочное стихотворение «Не отстать тебе...», в котором все тот же вольный, неукротимый женский характер возникает буквально из ничего — из одной интонации:

Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!

5

Но примерно в 1921 году в творчестве Марины Цветаевой обнаруживается явный перелом. Она отказывается от своей песенной манеры и начинает искать новые пути. Оговоримся сразу, что речь идет о перемене *основного* тона, поскольку и раньше (как и потом) она не была однообразной. В ее поэзии всегда сосуществовали разные пласты, разные потоки. «Меня вести можно только на контрастах, т. е. на всеприсутствии всего... — справедливо доказывала Цветаева. — Я — много поэтов, а как это во мне спелось — это уж моя тайна».

Так или иначе, в сборниках «Разлука» и «Ремесло», объединивших стихи 1921—1922 гг., Цветаева изменяет свободной и широкой напевности ради монументального и торжественного «большого стиля».

От чисто лирических форм она все более охотно обращается к сложным лирико-эпическим конструкциям, к поэме, к стихотворной трагедии. И сама лирика ее становится монументальной: отдельные стихотворения сочетаются по принципу лирической сюжетности в целостные циклы, подчиненные особым законам композиции. Наиболее характерны в этом смысле цветавские циклы, структура которых возникает не из заданной темы (как, например, в стихах о Москве, о Блоке, о Пушкине, о Чехии), но именно из лирического сюжета («Деревья», «Провода», «Стол»). Главенствующая форма речи в лирике Цветаевой, естественно, монолог, но очень часто — обращенный к некоему собеседнику, которого оспаривают либо убеждают. Кстати сказать, поэтому столь характерны для Цветаевой лирические «партии», хотя и не превращающиеся в дуэты, но подразумевающие непременно двух персонажей: Степан Разин ■

княжна, Самозванец и Марина Мнишек, Кармен и Хозе, Дон Жуан и Донна Анна, Федра и Ипполит, Ариадна и Тезей, Орфей и Эвридика, Елена и Ахиллес, Гамлет и Офелия, Зигфрид и Брунгильда.

В этом смысле нет заметной разницы между зрелой лирикой Цветаевой и такими ее поэмами, как «На красном коне», «Поэма Горы», «Поэма Конца», в которых тоже нет сюжета в строгом понимании этого слова, а движение стиха подчинено все той же *лирической* сюжетности, как способу передачи диалектики душевных состояний. Поэтому в своих лирических поэмах Цветаева меньше всего рассказывает, повествует, но занята по преимуществу драматическим диалогом с неким, как правило остающимся за сценой, собеседником.

Стих Цветаевой с течением времени как бы отвердевает, утрачивает свою летучесть. Уже в циклах «Ученик» и «Отрок» (1921) он становится торжественно-величавым, приобретает черты одического «высокого слога», уснащенного архаическим словарем и образами, почерпнутыми из библейской мифологии:

И колос взрос, и час веселый пробил,
И жерновов возжаждало зерно...

Иерихонские розы горят на скулах,
И работает грудь наподобие горна.
И влачат, и влачат этот вздох Саулов*
Палестинские отроки с кровью черной.

В таких стихах есть что-то от поэтики XVIII века, от Державина, и не случайно Цветаева признавалась в любви к этому поэту.

Легко заметить, что высокий слог в зрелых стихах Цветаевой перемешан с просторечием, книжная архаика — с разговорным жаргоном. Это было обдуманым приемом, и на свободном сочетании «высокопарности» (в старинном смысле слова) с «простотой» был основан особый эффект цветаевского стиля — та «высокая простота», когда слово самое обиходное, подчас даже вульгарное, обретает высокое звучание в ряду слов иного лексического слоя и в соответственном интонационном ключе:

Словоискатель, словесный хахаль,
Слов неприкрытый кран,
Эх, слуханул бы разок — как ахал
В ночь половецкий стан!

Прочитав в одной из статей о себе выдержку из старинного рассуждения А. С. Шишкова об умении сочетать высо-

кий слог с просторечием — так, чтобы «высокопарность приятно обнималась с простотою», Цветаева поразилась, насколько это близко отвечает духу ее исканий в области стихотворного языка.

Поиски монументальности, «высокости» привели Цветаеву к Библии и к античности. Но если в прошлом русские поэты находили в библейских и греко-римских преданиях идеал героики, величия, простоты и гармонии, Цветаева облакает в мифологические одежды свое лирическое содержание — душевную драму человека и поэта трагического XX столетия. Поэтому в античности ее привлекают по преимуществу трагедийные коллизии и конфликты, идея рока, ощущение предопределенности человеческой судьбы, темный дионисийский* мир жречества, тайн, ворожбы.

С наибольшей отчетливостью сказалось это в двух стихотворных трагедиях Цветаевой на мифологические сюжеты — «Ариадна» и «Федра» (две части незавершенной трилогии «Гнев Афродиты», или «Тезей»). Это вещи очень значительные. [...]

На трагедиях Цветаевой лежит мрачный колорит. Они говорят о злосчастных, безвыходных судьбах сильных духом, страстных людей, которые вступают в борьбу с враждебными им темными силами рока. Но борьба эта безнадежна: человек обречен на страдания, отчаянье и гибель, ибо рок, удары судьбы — это злая воля богов, перед которой человек бесправен и бессилён. Многие в этой концепции идет от ницшеанско-декадентского искажения подлинного духа античной трагедии. Но Цветаева вносит в метафизическое представление об извечном «трагическом смысле жизни» сильную ноту протеста против темных враждебных сил, играющих судьбами беззащитных людей. В этом смысле знаменателен финал «Федры». Трагедия кончается двойной катастрофой: гибнут и Федра, жертва собственных неистовых страстей, и Ипполит, жертва чужой ошибки, но виноваты и в той, и в другой катастрофе не люди, не старуха-кормилица, выведавшая и выдавшая тайну Федры, но только боги, которые «орудуют» в мире:

Ипполитовы кони и Федрин сук*¹ —
Не старухины козни, а старый стук
Рока. Горы сдвигать — людям ли?
Те орудуют. Ты? — Орудие.
Ипполитова пена и Федрин пот —
Не старухины шапши, а старый счет,

¹ В дальнейшем звездочки к стихам М. И. Цветаевой не ставятся. Пояснения к отдельным словам и фразам даются в комментариях в конце книги, под названием стихотворения. — *Сост.*

Пря заведомая, старинная.
Нет виновного. Все невинные.
И очес не жги, и волос не рви, —
Ибо Федриной роковой любви
(Бедной женщины к бедну дитятку!)
Имя — ненависть Афродитина...

Там, где мирт шумит, ее стоном полн,
Возведите им двуединый холм.
Пусть хоть там обовьет (мир бедным нм!)
Ипполитову кость — кость Федрина.

6

В стихах Марины Цветаевой образ автора перерастает в поэтический характер. Условимся о содержании самого понятия. Поэтический характер — это не обязательно личность автора, «биографически» истолкованная в его творениях (как было, скажем, с Блоком, который вышел в литературу не только стихами, но и личностью, даже обликом, как неизменный и, по существу, единственный персонаж своей лирики). В том, что написано Цветаевой, нет собственно биографического подтекста. Из ее стихов мы мало что узнаём о реальных обстоятельствах и происшествиях ее жизни. Но вместе с тем мы отчетливо представляем себе созданный ею цельный поэтический характер — некую воплощенную в слове художественную структуру, окруженную особой эмоциональной атмосферой и сообщающую единство стилю поэта:

Ах, неистовая меня волна
Подняла на гребень!..

В поэтическом характере, в таком его понимании, раскрывается не личная жизнь поэта, но тот «строй души», который просвечивает в его творениях. Решению данной художественной задачи служат все стилистические средства организации стихотворной речи.

Поэзия Цветаевой в этом смысле — пример разительный. Откроешь любую страницу — и сразу погружаешься в ее стихи — в атмосферу душевного горения, безмерности чувств, постоянного выхода из нормы и ранжира («на́ смех и на́ зло здравому смыслу»), острейших драматических конфликтов с окружающим поэта миром.

Что́ же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где начернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!

Свобода и своеволие «души, не знающей меры» — ее вечная, самая дорогая ей тема. Она дорожит и любит эту прекрасную, окрыляющую свободой:

Не разведенная чувством меры —
Вера! Аврора! Души — лазури!
Дура — душа, но какое Перу
Не уступалось — души за дурь?

В поэзии Цветаевой нет и следа покоя, умиротворенности, созерцательности. Она вся — в буре, в вихревом движении, в действии и поступке. Всякое чувство Цветаева понимала только как активное действие: «Любить — знать, любить — мочь, любить — платить по счету». И поясняла примером: «Любить море — обязывает быть рыбаком, матросом, а лучше всего — Байроном (*и* пловец, *и* певец!). Лежать возле моря... не значит *любить*» (любить — море).

Недаром же любовь (уже не к морю, а к человеку) у Цветаевой всегда «поединок роковой», всегда спор, конфликт и чаще всего — разрыв. Ее любовная лирика, как и вся ее поэзия, громогласна, широкомасштабна, гиперболична, неистова:

Где бы ты ни был — тебя настигну,
Выстрадаю — и верну назад.

Ибо с гордыни своей, как с кедра,
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут... Морские недра
Выворочу — и верну со дна!

Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы — как душу добудет Бог...

Такие стихи резко противоречили всем традициям женской любовной лирики, в частности — поэзии цветаяевской современницы Анны Ахматовой. Трудно представить себе большую противоположность — даже когда они пишут об одном и том же, например о разлуке с любимым. Где у Ахматовой камерность, строгая гармония, как правило — тихая речь, почти молитвенный шепот, там у Цветаевой — обращенность ко всему миру, резкие нарушения привычной гармонии, патетические восклицания, крик, «воплъ вспоротого нутра». Впрочем, для полного выражения обуревавших ее чувств Цветаевой не хватало даже ее громкой, захлебывающейся речи, и она горевала: «Безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств».

Цветаевой всегда было свойственно романтическое представление о творчестве как о бурном порыве, захватывающем художника: «К искусству подхода нет, ибо оно захватывает», «Состояние творчества есть состояние наваждения», «Поэта — далеко заводит речь». Поэт и дело поэта воплощались для нее сперва в образах «легкого огня» и несгорающей птицы Феникс, позже — в образе «не предугаданной календарем» беззаконной кометы, в катаклических понятиях «взрыва» и «взлома». Писать стихи — по Цветаевой — это все равно что «вскрыть жилы», из которых неостановимо и невозстановимо хлещут и «жизнь» и «стихи».

Но вихревая иступленность сочеталась у Цветаевой с упорной работой над поэтическим словом. Гениальность поэта, в ее представлении, — это одновременно и «высшая степень подверженности наитию», и «управа с этим наитием». Таким образом, дело поэта предполагает не только согласие со свободной стихией творчества, но и овладение ремеслом. Цветаева не гнушалась этого слова:

Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник, — и знаю ремесло!

Поэтому наряду с буйством и хмелем в Цветаевой жила железная дисциплина художника, умеющего работать «до седьмого пота». «Творческая воля есть терпение», — заметила она как-то, и многие ее черновики свидетельствуют об этом с полной убедительностью (см., например, варианты к стихотворению «Писала я на аспидной доске...»). Об упорном творческом труде говорит она и в стихах, составивших цикл «Стол», и в стихах, обращенных к Пушкину:

Прадеду — товарка:
В той же мастерской!
Каждая помарка —
Как своей рукой..
Пелось как — поется
И поныне — так.
Знаем, как «дается»!
Над тобой, «пустяк»,
Знаем — как потелось!..

При всем том, будучи опытным мастером изощренной формы, Цветаева видела в ней лишь средство, а не цель поэзии. Доказывая, что в поэзии важна *суть* и что только новая суть диктует поэту новую форму, она спорила с формалистами: «Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются!» Бориса Пастернака она считала лучшим русским поэтом современности — потому что он «дал не новую форму, а новую сущность, следовательно — и новую форму».

Сущность же поэзии Цветаева видела в том, что она передает «строй души» поэта. И вот он-то, этот «строй души», непременно должен быть новым, не похожим на другие. Поэту запрещается повторять то, что уже было сказано, он должен изобретать свое, открывать новые моря и материки на карте поэзии. «Не хочу служить грамплином чужим идеям и громкоговорителем чужим страстям». Поэтому так нетерпима была Цветаева к поэтической гладкописи; повторности, «общим местам», всеядному эстетству, светящемуся чужим, отраженным светом. Все это для нее — непрощаемый грех перед подлинной жизнью (стихией) и настоящим искусством (голосом стихии). Ненависть ее к эстетству, холодному украшательству, подмене «сущности» — «приметами» воистину не знает пределов: «Всему под небом есть место — и предателю, и насильнику, и убийце, — а вот эстету нет! Он не считается! Он выключен из стихии, он нуль!»

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению стиля зрелой Цветаевой как совокупности средств и приемов художественной выразительности, приходится вернуться к понятию «поэтический характер». Наличие его в творчестве поэта предполагает определенный речевой стиль, определенный экспрессивный колорит стихотворного слова. Важным оказывается уже не только *что* сказано, но и *кем* и *как* сказано, — тут-то и угадывается характер, душевный настрой, сама «индивидуальная жизненная манера» того, кто говорит¹.

Индивидуальный «строй души», желание выразить мир по своему привели Цветаеву к настойчивым, упорнейшим поискам адекватной и обязательно новой формы. В ходе поисков она одерживала большие победы и терпела тяжелые поражения.

Быть может, наиболее примечательную, наиболее своеобразную черту цветаевского стиля составляет активность самой художественной формы, внутренняя кинетическая энергия слова и образа.

Цветаева не описывает и не рассказывает, но старается как бы «перевоплотиться» в предмет, который изображает, войти в его форму. Так, она утверждала, что поэту не стоит описывать, например, мост, на котором он стоит (мосты уже

¹ В данном случае исхожу из тонких соображений, высказанных в свое время Г. О. Винокуром: «Интонация и тембр голоса, акцент и порядок слов, синтаксическая конструкция и лексическое своеобразие, тематические пристрастия и характерные приемы сюжетосложения, весь вообще *стилистический уклад* речи, т. е. все то, что отличает в ней именно *этого* говорящего среди прочих, — ведь это и суть те факты, в которых мы усматриваем следы индивидуальной жизненной манеры и которые позволяют нам смотреть на слово не только как на знак идеи, но и еще как на поступок в истории личной жизни». (Г. Винокур. Биография и культура. М., 1927, с. 80—81.)

описаны), но он должен постараться изобразить его изнутри — как бы «с точки зрения моста»: «Сам стань мостом или пусть мост станет тобой, отождествись или отождестви. Всегда — *иноскажи*. Сказать (дать вещь) — меньше всего ее *описывать*. Осина уже дана зрительно; дай ее внутренне, изнутри ствола: сердцевиною» (черновая тетрадь 1924 года; ср. мотив «Моста» в 8-й главке «Поэмы Конца»).

Это замечание, проливающее яркий свет на специфику поэтики Цветаевой, может быть проиллюстрировано многими произведениями, относящимися к зрелой поре ее творчества. Она делает соучастниками своей беды или радости, своего отчаянья или восторга все, что окружает ее в мире, — небо, горы, леса, реки, грозы, ливни:

И если гром у нас — на крышах,
Дождь — в доме, ливень — сплошь, —
Так это ты письмо мне пишешь,
Которого не шлешь.

И все вещи — тоже. Ее «письменный верный стол» одухотворен («Да, был человек возлюблен! И сей человек был — стол Сосновый...»); это — сотрудник и друг, оставшийся «живым стволом»:

Спасибо, что рос и рос
Со мною, по мере дел
Настольных — большал, ширел...

В иносказательном стихотворении «Занавес» она отождествляет себя с театральным занавесом, который «из последнего сердца» (в смысле: из последних сил) загораживает ее душу, потрясенную «штормом» внутренней трагедии. Так же изнутри, «сердцевиною» дан у Цветаевой пригородный парижский дом, населенный беднотой: у него свой «особенный взгляд», своя душа, свой характер («по-медвежьи радушен»), и он борется с нищетой и со смертью как живое существо (как сам поэт) — всеми плещущими на ветру рукавами бедняцких рубах (которые сами — как взмахи человеческих рук над разбитой, проигранной жизнью).

Еще глубже, объемнее и последовательнее этот прием применен в замечательной «Поэме Лестницы», где и сама черная лестница превратилась в действующее лицо, в отождествление мира нищеты, и все убогие вещи, окружающие человека в этом мире, одушевлены, — они, как и люди, унижены и тоже хотят «выпрямиться» и «высказаться».

За этим стоит особая философия. В той же «Поэме Лестницы» Цветаева творит некую мифологию происхождения вещей из живой материи. Виновником омертвения вещей она

считает человека, который легкодумно и опрометчиво нарушил законы природы, превращая дерево и железо в доски и гвозди:

Дерево, доверчивое к звуку
Наглых топоров и нудных пил,
С яблоком протягивало руку.
Человек — рубил.

Горы, обнаруживая руды
Скрытые (впоследствии «металл»),
Твердо устанавливали: чудо!
Человек — взрывал.

Здесь слышится отголосок характерного для позднеромантического сознания и в основе своей ложного, внеисторического неприятия «бездушной» машинной цивилизации, якобы враждебной человеку, но у Цветаевой он перекрывается сильной гуманистической и демократической нотой: весь смысл «Поэмы Лестницы» — в страстной защите бедных и голодных от господства богатых и сытых. Поэтому и природа вещей у Цветаевой разная. Вещи богатых — насильственно обездушены, и за это они мстят своим владельцам: взрываются, ломаются, уничтожают владельцев, тщетно пытающихся «застраховаться от стихий». Вещи бедных, напротив, вмещают в себя человеческие «сердца и души», они уже не «утварь», а «тварь»:

Вещи бедных — попросту — души,
Оттого так чисто горят¹.

7

В поэзии наблюдается разное отношение к слову. Есть слово — условный знак, эмблема, призванная выражать некие особые смыслы, — таким было зыбкое, колеблющееся, чаще всего ложно многозначительное слово символистов. Есть слово — стертый пятак, — им пользуются эпигоны.

Слово Цветаевой всегда свежее, незахватанное, и оно всегда — прямое, предметное, конкретное, не содержит никаких посторонних смыслов, а значит только то, что значит: вещи, значения, понятия. Но у него есть своя важная особенность: это *слово-жест*, передающее некое действие, — своего рода речевой эквивалент душевного и, если угодно, физи-

¹ В данной теме Цветаева перекликается с близким ей Рильке*, который последовательно развивал метафизическую идею постижения внутренней сущности вещи и видел задачу человека в том, чтобы вернуть вещи присущий ей смысл («душу») и тем самым поднять ее в сферу истинно ценного, духовного.

ческого жеста. Такое слово, всегда ударное, выделенное, интонационно подчеркнутое (отсюда — крайнее изобилие у Цветаевой знаков восклицания и вопроса), сильно повышает эмоциональный накал и драматическое напряжение речи.¹

Нате! Рвите! Глядите! Течет, не так ли?
Заговáвливайте чан!
Я державную рану отдам до капли!
(Зритель — бел, занавес — рдян.)

«О, неподатливый язык!» — восклицала Цветаева. Но на самом деле слово было у нее в полном подчинении. Она не изобретала новых слов, брала, как правило, обиходное слово, но умела так его обкатать, переплавить и перековать, что в нем начинали играть новые оттенки значения. Кое-что в ее языковом творчестве оказывается близким исканиям Хлебникова*. А именно — любовь к «корнесловию», стремление добраться в слове до его корневого, глубинного смысла и вывести из него целый рой родственных звучаний:

Корпусами фабричными, зычными
И отзывчивыми на зов...
Сокровенную, подъязычную
Тайну жен от мужей, и вдов
От друзей — тебе, подноготную
Тайну Евы от древа — вот:
Я не более чем животное,
Кем-то раненное в живот.

Есть поэты, воспринимающие мир посредством зренья. Их слава — в умении смотреть и закреплять увиденное в зрительных образах. Цветаева не из их числа. Она заворожена звуками. Мир открывался ей не в красках, а в звучаниях. О себе она говорила: «Пишу исключительно по слуху» и признавалась в «полном равнодушии к зрительности». Наглядное подтверждение этому — цветаевские рифмы (вернее — ассонансы), заслуживающие специального изучения. Она с неслыханной для своего времени смелостью отступала в стиховых окончаниях от графической точности, но бесконечно расширяла диапазон их звучания.

Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, —
Безошибочен певчий слух!

В прислушивании поэта к звукам Цветаева видела основу словесного творчества: «Словотворчество есть хождение по

¹ На эту сторону дела обращали особое внимание мастера сцены. «Надо уметь действовать словом, а не произносить слова. Слово должно становиться действием», — говорил К. С. Станиславский.

следу слуха народного и природного, хождение по слуху. Все же остальное — не подлинное искусство, а литература» («Искусство при свете совести»). Отсюда понятным становится, почему в поэзии Цветаевой такую громадную роль играли приемы звуковой организации стиха, его инструментовка.

В иных случаях эти приемы звучат слишком навязчиво («В рокота гитар рокочи, гортань!»), приобретают характер весьма изощренных, но нарочитых «фонетических обнажений» — как, например, в стихотворении «Психея» (1920), которое все родилось из созвучий: «Пунш и полночь. Пунш и Пушкин». Но в подавляющем большинстве стихи Цветаевой инструментованы сколь щедро, столь и тонко:

Бузина цельный сад залила!
Бузина зелена, зелена!
Зеленее, чем плесень на чане.
Зелена — значит, лето в начале!
Синева — до скончания дней!
Бузина моих глаз зеленей!

Цветаевой нравилось сталкивать сходно звучащие слова — так, чтобы из этого столкновения проступало бы их внутреннее родство и возникали бы дополнительные смысловые связи. «Дождь. — Что прежде всего встает в дружественности созвучий? — писала она. — Даждь. — А за „даждь” — так естественно: Бог. Даждь Бог — чего? — дождя! В самом имени славянского солнца уже просьба о дожде»¹.

Цветаева широко пользовалась «дружественностью созвучий», но не жертвовала звуку смыслом. «Стихи — созвучие *смыслов*», — доказывала она. Лишь поэтические «пономари» способны отвлекаться от прямого содержания слова-понятия: «Пономарь — что ему слово? *Вещь* и *нищ* — связь? Нет, разлад» («Поэма Лестницы»). Цветаева же была занята как раз выявлением глубоко запрятанных в языке родственных связей слов. Она любила нагнетать, нанизывать одно на другое слова, сходно звучащие либо вызывающие сходные представления, — так, что одно слово мгновенно вызывает другое, на первый слух неожиданное, но оказывающееся близким по смыслу: «Как живется вам — хлопочется — Ежится? Встается — как?..» — или: «Ни расовой розни, ни Гусовой казни, Ни детских болезней, ни детских боязней...».

В результате стихотворная речь Цветаевой превращается в целостную, не поддающуюся расчленению, чисто словесную структуру, в которой вещи и понятия взаимодействуют по аналогиям, рождающимся из родственности звучаний и смыслов: «Блаженны длинноты, Широты забвений и зон! Прост-

¹ «Световой ливень». — «Эпопея» (Берлин), 1922, № 3, с. 25.

ранством, как нотой, В тебя удаляясь, как стон — В тебе удлиняясь, Как эхо в соборную грудь, В тебя ударяясь: Не видь и не слышь и не будь...» («Заочность»). В другом случае («Надгробие»), прислушиваясь к звукам («Как страстное пенье сквозь косное зданье»), Цветаева щедро варьирует понятие глухоты, заглушенности. «Беззвучная чаша забвенья» немедленно рождает «безглазую, безгубую, безмясую» память, а «перина» вызывает за собой (по ассоциации) «вату», вата — «снег», — и все это интегрируется в образе, который формирует стихотворение в целом:

Снегами — годами — пудами бездушья
Удар — заглушённый...

Главным средством организации стихотворной речи был для Цветаевой *ритм*. Это — сама суть, сама душа ее поэзии. Ритм предстает в ее творчестве в своем прямом назначении: он служит внутренней формой стихотворной речи, создает движение стиха, резко, часто до неузнаваемости, обновляет стихотворный размер.

«Непобедимые ритмы» Цветаевой (по определению Андрея Белого) бесконечно разнообразны. В этой области она выступила и осталась смелым новатором, подчас впадавшим в крайности и излишества, но в конечном счете обогатившим русскую поэзию XX века множеством счастливых находок. Она безоглядно ломала инерцию старых, привычных для уха ритмов, разрушала ту гладкую, плавную мелодию поэтической речи, которую часто, читая стихи, воспринимаешь автоматически, как что-то давно и хорошо знакомое и само собой подразумевающееся. Не то у Цветаевой. Ее ритмика все время настораживает внимание. Наиболее органическая для нее стихотворная форма — страстный и потому сбивчивый, нервный монолог. Соответственно и самый стих ее по большей части прерывист, неровен, изобилует внезапными ускорениями и замедлениями, паузами и резкими переборами. О цветаевском стихе можно сказать словами, которыми она сама охарактеризовала безусловно близкую ей ритмику Маяковского: это — как «физическое сердцебиение — удары сердца — застоявшегося коня или связанного человека».

Насколько в этом отношении Цветаева близка к Маяковскому, настолько же далека она от символистов с их гипертрофированным вниманием к «музыкальности» стиха, к гармонически упорядоченной мелодии, шаманско-заклинательному потоку слабо расчлененной, «льющейся» речи. «Я не верю стихам, которые льются. Рвутся — да!» — восклицала Цветаева. И она умела «рвать» стих, безжалостно дробить его на части, — пожалуй, как ни один русский поэт. Единица ее речи — не фраза, даже не слово, а *слог*. Помогая читателю

войти в ее ритмы, почувствовать их пружину, она последовательно применяла в своих книгах двойной принцип членения стиховой речи: *словоразделение* (через тире) и *слогоразделение* (через дефис). Читая стихи Цветаевой, необходимо это иметь в виду.

Очень значительную роль в системе выразительных средств Цветаевой играет пауза. Пауза — это тоже полноценный элемент ритма. Обычно в стихах она приходится на конец строки, и это стало привычным испокон веку. У Цветаевой пауза, как правило, смещена, сплошь и рядом приходится на середину строки или на начало следующей. Поэтому стремительный стих Цветаевой (главным образом в ее поздних вещах) как бы «спотыкается» на бесчисленных «анжабеманах» (*enjambements*), то есть «переносах», отмечающих несовпадение метрических и синтаксических членений стиховой речи. Цветаева пользовалась «анжабеманами» с преизбыточной щедростью (другого такого примера в русской поэзии нет). У нее обычные такие «переносы» не только из строки в строку, но и в другую строфу.

Конечно, это никоим образом нельзя рассматривать как следствие «неумения» строить стиховую фразу. Цветаева могла великолепно писать (и писала) без всяких «анжабеманов», но широко пользовалась ими — потому что все ее «записания» и «преткновения» диктовались синтаксисом. Метрика у Цветаевой подчинена интонации, а следовательно — синтаксису. Именно это обстоятельство и создавало в ряде случаев излишнюю затруденность стиха.

Двадцать лет свободы —
Всем. Огня и дома —
Всем. Игры, науки —
Всем. Труда — любому,
Лишь бы были руки.

Здесь синтаксис и интонация стирают рифму; а если читать эти стихи, останавливаясь на звуковых окончаниях, улетучивается смысл. Таковы явные издержки, встречающиеся в работе поэта-новатора. Но дело, разумеется, не в подобных издержках, а в самом принципе — в стремлении говорить цельно и точно, не жертвуя стиху смыслом. Коль скоро мысль не вмещается в строку, а ее необходимо «досказать», она переплескивается в следующую. Более того: Цветаева зачастую просто обрывает речь буквально на полуслове, оставляет стих не полным, забывая о рифме. Мысль уже оформлена, образ создан — и заканчивать стих ради полноты размера и ради рифмы поэт считает излишним:

Не возьмешь мою душу живу!
Так на полном скаку погонь —

Пригибающийся — и жилу
Перекусывающий — конь
Аравийский

Вообще усложненность многих стихотворений и поэм Цветаевой, подчас сильно затрудняющая их восприятие, была вызвана, сколь это ни парадоксально, стремлением к точности и определенности¹. Она настойчиво старалась выработать четкие стихотворные «формулы», которые бы выражали ее мысль наиболее сжато. К примеру, мысль такова: похвалы, расточаемые по адресу поэта его поклонниками, символически уподоблены лавровому венку; но от этого венка челу поэта тяжело, как от каменных глыб. У Цветаевой все это вмещено в две кратчайшие и виртуозно озвученные строки:

Глыбами — лбу
Лавры похвал.

Она всегда хотела добиться максимума выразительности при минимуме средств. В этих целях Цветаева предельно сжимала, уплотняла свою речь и жертвовала всем, чем только могла, — эпитетами, прилагательными, предложениями и прочими «поясняющими» языковыми элементами; строила так называемые неполные предложения, обходясь без глагольно-причастных форм: «И тогда — благодетельным покрывалом Долу, знаменем прошумя» (опущено: «падаю» или «опускаюсь»), «Рукою правою — мы жили левой», «...ни пеной, ни пемзой — той Африки» и т. п. Она так торопится в своей речи, что ей некогда исчислять свойства предмета и тратить время на метафоры. Сплавливая воедино глагол или наречие с существительным, она создает сложно-составные слова вроде «обпротеть-охлест-Бог», требующие быстрого, слитного произношения. И вот как это получалось в стихах:

Спорый Бог,
Скорый Бог,
Шпоры в бок — Бог!
.
.
.
.
.
.
.
Беглых и босых — Бог,

¹ Цветаевой вообще хотелось быть безупречно точной. Это видно хотя бы из следующего примера. В стихах об Офелии у нее были такие мастерски инструментованные строки:

Как знали и звали... как сладко веяли
Азалии, далии над Офелией...
Как пряли и ткали ей ризы бальные
Азалии, далии и ветви миндальные...

Она выбросила их (не без сожаления), пометив в рукописи: «Не пригодились, ибо ни азалии, ни далии не пахнут, следовательно, не веют».

Простоволосых — Бог,
Взлет, всплеск, всхлест, бхлест-Бог,
Сам черт на веслах — Бог.

В этих поисках сжатости и скорости было что-то судорожное, и нередко они приводили к серьезным художественным просчетам. Запутанный, «дикий» синтаксис, опущенные и подразумеваемые глаголы и тому подобные умолчания, свойственные, впрочем, живой разговорной речи, особенно взволнованной (характерен в этом смысле диалог в «Поэме Конца»), — все это зачастую создавало такую усложненность стихотворного языка, которую сама Цветаева очень верно определила (в применении к лирике Пастернака) как «темноту сжатости». Она билась над четкими стиховыми «формулами», но, случалось, невольно превращала их в ребусы, разгадывание которых требует известного напряжения. «Темнота сжатости» бесспорно повредила даже таким значительным произведениям, как «Крысолов» и «Поэма Лестницы».

Никогда не впадала Цветаева в бессмыслицу, в футуристическую заумь, в голое формалистическое шукарьство. Даже в самых усложненных ее вещах, относящихся преимущественно к периоду 1923.—1927 гг. (потом, в 30-е годы, язык ее опять становится заметно проще, яснее), нет характерной для формалистов и эстетов неподвижности, окаменелости, приема «как такового», то есть испробованного ради него самого. Затрудненная поэтическая манера была в данном случае *органической* формой тех мучительных усилий, с которыми поэт взволнованно и сбивчиво выражал мир своих чувств и переживаний, свое сложное, противоречивое отношение к окружавшей его действительности.

Нельзя же, в самом деле, представить себе, что на какое-то время Цветаева ни с того ни с сего разучилась писать просто. Она писала сложно — потому что так хотела. Уменья писать просто она не утратила. В «Федре», например, в целом отличающейся чрезмерной усложненностью стихотворного языка, встречаются и такие — легчайшие — стихи (диалог Федры и Кормилицы):

Ни весла, ни берега!
Разом отнесло!
На утесе дерево
Высокое росло.
Ввериться? Довериться?
Лавр-орех-миндаль!
На хорошем деревце
Повеситься не жалы!

Кроме того (и это — обстоятельство важное!), герметичность цветаевской манеры приобретала дополнительное — пси-

хологическое — обоснование. Потеряв родину, почву, читателя, оставшись один на один с самим собой, со своим смятием, со своей трагедией, поэт ушел в свою скорлупу. Условно-поэтический жаргон, на котором беспечно чирикали эпигоны, задававшие тон в белоэмигрантской поэзии, вызывал у Цветаевой отвращение и ненависть (как все слежавшееся, стершееся от употребления). И тут она хотела быть «противу всех», не *одной из*, а *над* и *вне*. Она как бы заявляла: мой удел — круглое одиночество, и говорю я так — необщедоступно, сложно, по-вашему — косноязычно, — потому, что внутренне не могу иначе, потому, что так хочу говорить о своем мучительном и трагическом. [...]

Иные даже замечательные стихи Цветаевой на беглый или поверхностный взгляд могут показаться косноязычными. Но это было «высокое косноязычье», свойственное многим большим поэтам, от Гёте до Маяковского.

Марина Цветаева и в самом деле поэт не из легких. Читать ее стихи и поэмы между делом, не читать, а почитать, как почитывают (и тут же забывают) легонькие «стишки», нельзя. В Цветаеву необходимо углубиться, ее поэзия требует от читателя встречной работы мысли. Нужно применить известные усилия, для того чтобы войти в творческий мир поэта¹.

Нельзя не признать, что иногда усилия эти остаются вознагражденными, но в большинстве случаев они позволяют увидеть обдуманную гармонию этого мира глубоких мыслей и смелых исканий. Читая Цветаеву, вспоминаешь высказанное некогда справедливое суждение: «Искусство — суровый властитель. Порой приходится долго ждать, пока оно сонзволит заговорить с тобой».

8

Марина Цветаева — большой поэт, и вклад ее в культуру русского стиха XX века значителен². [...]

Судорожные и вместе с тем стремительные ритмы Цве-

¹ Сама Цветаева именно так смотрела на «сотворчество» писателя и читателя: «Что есть чтение, как не разгадыванье, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками, пределами слов... Чтение — прежде всего сотворчество... Устал от моей вещи, значит — хорошо читал и — хорошее читал. Усталость читателя — усталость не опустошительная, а творческая. Сотворческая. Делает честь читателю и мне». («Поэт о критике». — «Благонамеренный» (Брюссель), 1926, № 2).

² Здесь, пожалуй, кстати сказать, что в свете того, что было сделано Цветаевой, сильно меркнет «новаторство» иных молодых поэтов наших дней. Выясняется вторичность их находок. Как справедливо заметил А. Твардовский, оказывается, «что то, чем они шеголяют сегодня, уже давно есть, было на свете, и было в первый раз и много лучше». (Отзыв об «Избранном» М. Цветаевой. — «Новый мир», 1962, № 1.)

таевой — это ритмы XX века, эпохи величайших социальных катаклизмов и грандиозных революционных битв. Она сама видела в «боевом темпе» своих стихов «косвенное воздействие времени», иначе — революции, поскольку революция составляла главное содержание времени. Но это было именно *косвенное* воздействие. Поэзия Цветаевой — не о революции (если оставить в стороне ее антиреволюционные стихи, не пережившие своего дня), но она синхронна революции.

В конце своего пути Цветаева, как видно по всему, поняла, что большая правда века была внесена в мир русской пролетарской революцией, но у нее уже не хватило жизненных сил полноценно, во всю меру своего таланта воплотить это понимание в творчестве.

Понять же, в чем правда века, Цветаева смогла потому, что она по природе своей, по самой сути своего человеческого и поэтического характера не декадент (хотя, конечно, испытала влияние декадентской культуры). С этим понятием в наших представлениях о литературе XX века до сих пор царит изрядная неразбериха. Слово «декадент», утратив свое конкретное содержание, стало просто кличкой, которой безразборчиво награждают и Федора Сологуба и Марину Цветаеву, хотя трудно найти более разных поэтов. Законченные декаденты прятались от реальной жизни, отрешивались от всех общественных связей, а Цветаева порывалась навстречу большой, всеобщей человеческой жизни (не вина ее, а беда, что встреча не состоялась). Они тщились залить «бунтующее море» действительной жизни «елеем» жалкой и нелепой лжи, а она бесстрашно вскрывала язвы жизни, издевалась, бичевала, проклинала. Они любовались и хвалились своей «особостью», а она свое «круглое одиночество» переживала как проклятие судьбы и, хотя по-человечески тосковала по тихой пристани («Тише, хвала!», «Сад», «Куст» и многое другое), понимала, что жить одиночеством нельзя. [...]

Цветаева почти до самого конца не разлюбила жизни. Несмотря ни на что, жизнь оставалась для нее «распахнутой радостью». В «Крысолове», который недаром назван «*лирической сатирой*», возникает образ светлого и прекрасного, истинно человеческого мира. Пошлому «Гаммельну» противостоят высокогорные «Гималаи», гнилому мещанскому болоту — сказочно волшебный Индостан, с которым связано романтически возвышенное представление о жизни счастливой, легкой, полной чудесных перемен. И через десять лет после «Крысолова» Цветаева пишет небольшую, но столь значительную в ее творчестве поэму «Автобус», в которой так много молодого «восторга души» — души измученной, ободранной, но вопреки всему жаждущей света, тепла и простой человеческой радости на лоне матери-земли:

Отошла январским оловом
Жизнь с ее обидами.
Господи, как было молодо,
Зелено, невиданно!

Из непреодолимой любви к жизни выросал гуманизм Цветаевой. [...] Поэт обязан «в *свою* боль включать всю чужую». Поэтому, обращаясь к своему идейному противнику, Цветаева признавалась:

Есть у меня моих икон
Ценней — сокровище.
Послушай: есть другой закон,
Законы — кроющийся.

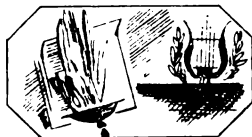
Пред ним — все клонятся клинки,
Все меркнут яхонты:
Закон протянутой руки,
Души распаханной.

«Еще проще» (говорит Цветаева) не различать своей боли от чужой. Отсюда — ноты всепрощения даже в ее политических стихах времени гражданской войны. Она готова равно осуждать и «красных» и «белых» за творимое ими кровопролитие. Смерть же — всех равняет, для нее нет ни своих, ни чужих:

Все рядком лежат —
Не развестъ межой.
Поглядеть: солдат!
Где свой, где чужой?

Белым был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал:
Смерть побелила.

[...] Не приходится, конечно, ожидать, что сильная, но сложная поэзия Марины Цветаевой станет всеобщим достоянием. Но лучшему из того, что она написала, «настал черед» — потому что настоящее в искусстве не умирает.





СТИХОТВОРЕНИЯ

1908—1915

Книги в красном переплете

Из рая детского житья
Вы мне привет прощальный шлете,
Неизменившие друзья
В потертом, красном переплете.

Чуть легкий выучен урок,
Бегу тотчас же к вам, бывало.
— Уж поздно! — Мама, десять строк!..
Но, к счастью, мама забывала.

Дрожат на люстрах огоньки...
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана, Кюи
Я узнавала судьбы Тома.

Темнеет... В воздухе свежо...
Том в счастье с Бэки полон веры.
Вот с факелом Индеец Джо
Блуждает в сумраке пещеры...

Кладбище... Вещий крик совы...
(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки
Приемыш чопорной вдовы,
Как Диоген, живущий в бочке.

Светлее, солнца тронный зал,
Над стройным мальчиком — корона...
Вдруг — нищий! Боже! Он сказал:
«Позвольте, я наследник трона!»

Ушел во тьму, кто в ней возник,
Британии печальны судьбы...
— О, почему среди красных книг
Опять за лампой не уснуть бы?

О, золотые времена,
Где взор смелей и сердце чище!
О, золотые имена:
Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий!
<1908—1910>¹

В Париже

Домá до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.

Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас.
Везде, везде всё пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз.

Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана,
Как там, в покинутой Москве.

Париж в ночи мне чужд и жалок,
Дороже сердцу прежний бред!
Иду домой, там грусть фиалок
И чей-то ласковый привет.

Там чей-то взор печально-братский,
Там нежный профиль на стене.
Ростан, и мученик-Рейхштадтский,
И Сара — все придут во сне!

¹ Даты, заключенные в угловые скобки, являются предположительными. — Сост.

В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальше смех, и тени ближе,
И боль, как прежде, глубока.

Июнь 1909

Париж

* * *

Бежит тропинка с бугорка,
Как бы под детскими ногами,
Все так же сонными лугами
Лениво движется Ока;

Колокола звонят в тени,
Спешат удары за ударом,
И всё поют о добром, старом,
О детском времени они.

О, дни, где утро было рай,
И полдень рай, и все закаты!
Где были шпагами лопаты
И замком царственным сарай.

Куда ушли, в какую даль вы?
Что между нами пролегло?
Все так же сонно-тяжело
Качаются на клумбах мальвы...

<1911—1912>

Старуха

Слово странное — старуха!
Смысл неясен, звук угрюм,
Как для розового уха
Темной раковины шум.

В нем — непонятое всеми,
Кто — мгновения экран.
В этом слове дышит время.
В раковине — океан.

<1911—1912>

Домики старой Москвы

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Всё исчезаете вы,

Точно дворцы ледяные
По мановенью жезла.
Где потолки расписные,
До потолков зеркала?

Где клавишина аккорды,
Темные шторы в цветах,
Великолепные морды
На вековых воротах,

Кудри, склоненные к пальцам,
Взгляды портретов в упор...
Странно постукивать пальцем
О деревянный забор!

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды, —
Грузные, в шесть этажей.

Домовладельцы — их право!
И погибаете вы,
Томных прабабушек слава,
Домики старой Москвы.

<1911—1912>

* * *

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя...

Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь прилиwała к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже *была*, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед, —
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стои угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

3 мая 1913
Коктебель

* * *

Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растроченной даром,

И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох...
И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох.

О, летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале...
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы — если б знали —

Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.

17 мая 1913

* * *

Мальчиком, бегущим резво,
Я предстала Вам.
Вы посменвались трезво
Злым моим словам:

«Шалость — жизнь мне, имя — шалости!
Смейся, кто не глуп!»
И не видели усталость
Побледневших губ.

Вас притягивали луны
Двух огромных глаз.
Слишком розовой и юной
Я была для Вас!

Тающая легче снега,
Я была — как сталь.
Мячик, прыгнувший с разбега
Прямо на рояль,

Скрип песка под зубом или
Стали по стеклу...
Только Вы не уловили
Грозную стрелу

Легких слов моих и нежность
Гнева напоказ...
Каменную безнадежность
Всех моих проказ!

19 мая 1913

* * *

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фиимам,
Моим стихам о юности и смерти
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Май 1913
Коктебель

* * *

Я сейчас лежу ничком
— Взбѣшенная! — на постели.
Если бы вы захотели
Быть моим учеником,

Я бы стала в тот же миг
— Слышите, мой ученик? —

В золоте и серебре
Саламандра и Ундина.
Мы бы сели на ковре
У горящего камина.

Ночь, огонь и лунный лик...
— Слышите, мой ученик? —

И безудержно — мой конь
Любит бешеную скачку! —
Я метала бы в огонь
Прошрое — за пачкой пачку:

Старых роз и старых книг.
— Слышите, мой ученик? —

А когда бы улеглась
Эта пепельная груда, —
Господи, какое чудо
Я бы сделала из вас!

Юношей воскрес старик!
— Слышите, мой ученик? —

А когда бы вы опять
Бросились в капкан науки,
Я осталась бы стоять,
Заломив от счастья руки,

Чувствуя, что ты — велик!
— Слышите, мой ученик?

1 июня 1913

* * *

Идите же! — мой голос нем,
И тщетны все слова.
Я знаю, что ни перед кем
Не буду я права.

Я знаю: в этой битве пасть
Не мне, прелестный трус!
Но, милый юноша, за власть
Я в мире не борюсь.

И не оспаривает вас
Высокородный стих.
Вы можете — из-за других —
Моих не видеть глаз,

Не слепнуть на моем огне,
Моих не чуют сил...
(Какого демона во мне
Ты в вечность упустил!)

Но помните, что будет суд,
Разящий, как стрела,
Когда над головой блеснут
Два пламенных крыла!

11 июля 1913

Встреча с Пушкиным

Я поднимаюсь по белой дороге,
Пыльной, звенящей, крутой.
Не устают мои легкие ноги
Выситься над высотой.

Слева — крутая спина Аю-Дага,
Синяя бездна — окрест.
Я вспоминаю курчавого мага
Этих лирических мест.

Вижу его на дороге и в гроте ..
Смуглую руку у лба... —
Точно стеклянная, на повороте
Продребезжала арба... —

Запах — из детства — какого-то дыма
Или каких-то племен...

Очарование прежнего Крыма
Пушкинских милых времен.

Пушкин! — Ты знал бы по первому слову,
Кто у тебя на пути!
И просиял бы, и *под руку* в гору
Не предложил мне идти...

Не опираясь на смуглую руку,
Я говорила б, идя,
Как глубоко презираю науку
И отвергаю вождя,

Как я люблю имена и знамёна,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны, —
Каждого встречного пса! —

Полуулыбки в ответ на вопросы,
И молодых королей...
Как я люблю огонек папиросы
В бархатной чаше аллей,

Марионеток и звук тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: *Марина*,
Байрона и болеро,

Ладанки, карты, флаконы и свечи,
Запах кочевий и шуб,
Лживые, в душу идущие, речи
Очаровательных губ.

Эти слова: *никогда* и *навек*,
За колесом — колею...
Смуглые руки и синие реки,
Ах, — Мариулу твою!

Треск барабана — мундир властелина —
Окна дворцов и карет,
Рощи в сияющей пасти камина,
Красные звезды ракет...

Вечное сердце свое и служенье
Только ему, Королю!
Сердце свое и свое отраженье
В зеркале... — Как я люблю...

Кончено... — Я бы уж не говорила,
Я посмотрела бы вниз...
Вы бы молчали, так грустно, так мило
Тонкий обняв кипарис.

Мы помолчали бы оба — не так ли? —
Глядя, как где-то у ног,
В милой какой-нибудь маленькой сакле
Первый блеснул огонек.

И — потому, что от худшей печали
Шаг — и не больше! — к игре,
Мы рассмеялись бы и побежали
За руку вниз по горе.

1 октября 1913

* * *

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности Земли.

Застынет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь, с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё — как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой mine
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой,

Виолончель, и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
— Меня, такой живой и настоящей,
На ласковой земле!

К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей
меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованием веры
И с просьбой о любви.

И день, и ночь, и письменно и устно:
За правду *да* и *нет*,
За то, что мне так часто — слишком грустно
И только двадцать лет.

За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.

8 декабря 1913

Генералам двенадцатого года

Сергею

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса,

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце оставляли след, —
Очаровательные франты
Минувших лет!

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери, — вчера
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера!

Вам все вершины были малы
И мягок самый черствый хлеб,
О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,

Я видела, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик.

И Вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...

О, как, мне кажется, могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало — троё!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы всё могли!

Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острее —
И весело переходили
В небытие.

26 декабря 1913
Феодосия

* * *

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких мои руки.

Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуй,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромн ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у сáмого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.

14 февраля 1914

Феодосия

С. Э.

Я с вызовом ношу его кольцо!
— Да, в Вечности — жена, не на бумаге! —
Чрезмерно узкое его лицо
Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями раскинутых бровей —
Две бездны.

В его лице я рыцарству верна,
— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

3 июня 1914

Коктебель

* * *

Не думаю, не жалуясь, не спорю.
Не сплю.
Не рвусь ни к солнцу, ни к луне, ни к морю,
Ни к кораблю.

Не чувствую, как в этих стенах жарко,
Как зелено в саду.
Давно желанного и жданного подарка
Не жду.

Не радуют ни утро, ни трамвая
Звнящий бег.
Живу, не видя дня, позабывая
Число и век.

На, кажется, надрезанном канате
Я — маленький плясун.
Я — тень от чьей-то тени. Я — лунатик
Двух темных лун.

13 июля 1914

Бабушке

Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы...
Юная бабушка! — Кто целовал
Ваши надменные губы?

Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица —
Локоны, в виде спирали.

Темный, прямой и взыскательный взгляд,
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, кто Вы?

Сколько возможностей Вы унесли,
И невозможностей — сколько? —
В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя поляка!

День был невинен, и ветер был свеж,
Темные звезды погасли.
— Бабушка! — Этот жестокий мятеж
В сердце моем — не от Вас ли?..

4 сентября 1914

* * *

П. Э.

Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы все-таки мой.

Смеетесь! — В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой — так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.

Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.

Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала —
Домой!

Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира Вы мёртвы,
Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, — чую Вас всюду,
— Что ленты от Ваших венков! —
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков.

Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
— Письмо в бесконечность.
— Письмо в беспредельность. —
Письмо в пустоту.

4 октября 1914

* * *

Сегодня таяло, сегодня
Я простояла у окна.
Ум — отрезвленной, грудь свободней,
Опять умиротворена.

Не знаю, почему. Должно быть,
Устала попросту душа
И как-то не хотелось трогать
Мятежного карандаша.

Так простояла я — в тумане —
Далекая добру и злу,
Тихонько пальцем барабана
По чуть звенящему стеклу.

Душой не лучше и не хуже,
Чем первый встречный: этот вот, —
Чем перламутровые лужи,
Где расплескался небосвод.

Чем пролетающая птица
И попросту бегущий пес.
И даже нищая певичка
Меня не довела до слез.

Забвенья милое искусство
Душой усвоено уже.
Какое-то большое чувство
Сегодня таяло в душе.

24 октября 1914

Подруга

1

Вам одеваться было лень
И было лень вставать из кресел.
— А каждый Ваш грядущий день
Моим весельем был бы весел!

Особенно смущало Вас
Идти так поздно в ночь и холод.
— А каждый Ваш грядущий час
Моим весельем был бы молод!

Вы это сделали без зла,
Невинно и непоправимо.
— Я Вашей юностью была,
Которая проходит мимо.

25 октября 1914

2

Сини подмосковные холмы,
 В воздухе чуть теплом — пыль и деготь.
 Сплю весь день, весь день смеюсь, —
должно быть,
 Выздоровливаю от зимы.

Я иду домой возможно тише.
 Ненаписанных стихов — не жалы!
 Стук колес и жареный миндаль
 Мне дороже всех четверостиший.

Голова до прелести пуста,
 Оттого что сердце — слишком полно!
 Дни мои, как маленькие волны,
 На которые гляжу с моста.

Чьи-то взгляды слишком уж нежны
 В нежном воздухе, едва нагретом...
 — Я уже заболеваю летом,
 Еле выздоровев от зимы.

13 марта 1915

3

Хочу у зеркала, где муть
 И сон туманящий,
 Я выпытать — куда Вам путь
 И где пристанище.

Я вижу: мачта корабля,
 И Вы — на палубе...
 Вы — в дыме поезда... Поля
 В вечерней жалобе...

Вечерние поля в росе,
 Над ними — вороны...
 — Благословляю Вас на все
 Четыре стороны!

3 мая 1915

* * *

Мне нравится, что Вы больны не мной,
 Мне нравится, что я больна не Вами,
 Что никогда тяжелый шар земной
 Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочтите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем, ни ночью — всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: Аллилуйя!

Спасибо Вам, и сердцем и рукой,
За то, что Вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами, —
За то, что Вы больны — увы! — не мной,
За то, что я больна — увы! — не Вами!

3 мая 1915

* * *

Какой-нибудь предок мой был — скрипач,
Наездник и вор при этом.
Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром?

Не он ли, смуглый, крадет с арбы
Рукой моей — абрикосы,
Винovníк страстной моей судьбы,
Курчавый и горбоносый?

Дивясь на пахаря за сохой,
Вертел между губ — шиповник.
Плохой товарищ он был — лихой
И ласковый был любовник!

Любитель трубки, луны и бус
И всех молодых соседок...
Еще мне думается, что — трус
Был мой желтоглазый предок.

Что, душу чёрту продав за грош,
Он в полночь не шел кладбищем.
Еще мне думается, что нож
Носил он за голенищем,

Что не однажды из-за угла
Он прыгал — как кошка, гибкий...
И почему-то я поняла,
Что он *не* играл на скрипке!

И было все ему нипочем,
Как снег прошлогодний — летом!
Таким мой предок был скрипачом.
Я стала — таким поэтом.

23 июня 1915

* * *

Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
Видно, пока надо мной не пропоют литию,
Буду грешить — как грешу — как грешила:
со страстью!
Господом данными мне чувствами —
всеми пятью!

Други! Сообщники! Вы, чьи наущения — жгучи!
Вы, сопреступники! — Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, —
Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!

26 сентября 1915

* * *

Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем — поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет выюга,
И под землю скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

3 октября 1915

* * *

Два солнца стынут, — о Господи, пощади! —
Одно — на небе, другое — в моей груди.

Как эти солнца, — прошу ли себе сама? —
Как эти солнца сводили меня с ума!

И оба стынут — не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

5 октября 1915

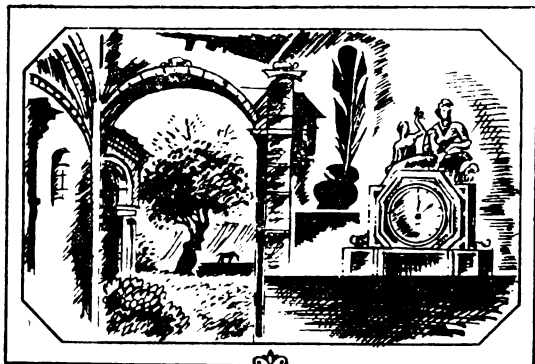
* * *

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь — уж рвешься прочь.
Я лоб уронила в руки
И думаю, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

Октябрь 1915





1916¹

* * *

Летят они, — написанные наспех,
Горячие от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век.

И слышу я, что где-то в мире — грозы,
Что амазонок копыта блещут вновь...
А я — пера не удержу! Две розы
Сердечную мне высосали кровь.

Январь 1916

Москва

* * *

Никто ничего не отнял —
Мне сладостно, что мы врозь!
Целую Вас через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас:
— Лети, молодой орел!

¹ В раздел входят и циклы стихов, завершённые позже, но начатые в 1916 г.

Ты солнце стерпел, не шурясь, —
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.

12 февраля 1916

* * *

Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Позвякивая карбованцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Чьи руки бережные трогали
Твои ресницы, красота,
Когда, и как, и кем, и много ли
Целованы твои уста —

Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол сию мечту.
В тебе божественного мальчика —
Десятилетнего я чту.

Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...

Мальчишескую боль высвистывая
И сердце зажимая в горсти...
— Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник — прости!

18 февраля 1916

* * *

Откуда такая нежность?
Не первые — эти кудри

Разглаживаю, и губы
Знавала — темней твоих.

Всходили и гасли звезды
(Откуда такая нежность?),
Всходили и гасли очи
У самых моих очей.

Еще не такие песни
Я слушала ночью темной
(Откуда такая нежность?) —
На самой груди певца.

Откуда такая нежность?
И что с нею делать, отрок
Лукавый, певец захожий,
С ресницами — нет длинней?

18 февраля 1916

* * *

Четвертый год.
Глаза — как лед.
Брови — уже роковые
Сегодня впервые
С кремлевских высот
Наблюдаешь ты
Ледоход.

Льдины, льдины
И купола.
Звон золотой,
Серебряный звон.
Руки — скрещены,
Рот — нем.
Брови сдвинув — Наполеон! —
Ты созерцаешь — Кремль.

— Мама, куда — лед идет?
— Вперед, лебеденок!
Мимо дворцов, церквей, ворот —
Вперед, лебеденок!
Синий
Взор — озабочен:
— Ты меня любишь, Марина?
— Очень!
— Навсегда?
— Да.

Скоро — закат,
Скоро — начал:
Тебе — в детскую, мне —
Письма читать дерзкие,
Кусать рот.

А лед
Всё
Идет.

24 марта 1916

Стихи о Москве¹

1

Облака — вокруг,
Купола — вокруг.
Надо всей Москвой —
Сколько хватит рук! —
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!

В дивном граде сем,
В мирном граде сем,
Где и мертвой мне
Будет радостно, —
Царевать тебе, горевать тебе,
Принимать венец,
О мой первенец!

Ты постом — говей,
Не сурьми бровей,
И все сорок — чти —
Сороков церковей.
Исходи пешком — молодым шажком! —
Все привольное
Семихолмие.

Будет твой черед:
Тоже — дочери
Передашь Москву
С нежной горечью.

¹ Стихотворные циклы, составленные самой М. И. Цветаевой, — «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Подруга» (цикл, помещенный впереди, 1914 года) и др. — печатаются в нашем сборнике, как правило, не полностью. При этом нумерация стихов внутри цикла сохраняется в соответствии с однотомником и двухтомником, указанными на обороте титула. — *Сост.*

Мне же — вольный сон, колокольный звон,
Зори ранние
На Ваганькове.

31 марта 1916

2

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По цёрковке — все сорок сороков
И реющих над ними голубков;

И Спасские — с цветами — воротá,
Где шапка православного снята;

Часовню звездную — приют от зол —
Где вытертый — от поцелуев — пол;

Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянная Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил...
— Ты не раскаешься, что ты меня любил.

31 марта 1916

4

Настанет день, — печальный, говорят! —
Отцарствуют, отплачут, отгорят, —
Остужены чужими пятаками, —
Мои глаза, подвижные, как пламя.
И — двойника нащупавший двойник —
Сквозь легкое лицо проступит — лик.

О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!

А издали — заввижу ли и вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.

На ваши поцелуи, о живые,
Я ничего не возражу — впервые.
Меня окутал с головы до пят
Благообразия прекрасный плат.
Ничто меня уже не вгонит в краску.
Святая у меня сегодня Пасха.

По улицам оставленной Москвы
Поеду — я, и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, —
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.

И ничего не надобно отныне
Новопреставленной боярыне Марине.

11 апреля 1916

5

Над городом, отвергнутым Петром,
Перекатился колокольный гром.

Гремучий опрокинулся прибой
Над женщиной, отвергнутой тобой.

Царю Петру и Вам, о царь, хвала!
Но выше вас, царь: колокола.

Пока они гремят из синевы —
Неоспоримо первенство Москвы.

— И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!

28 мая 1916

8

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!

Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем — нож.
Издалекá-далече —
Ты все же позовешь.

На каторжные клейма,
На всякую болеть —
Младенец Пантелёймон
У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.

И льется аллилуйя
На смуглые поля.
— Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

8 июля 1916

Александров

9

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доньше
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

16 августа 1916

Бессонница

1

Обвела мне глаза кольцом
Теневым — бессонница.
Оплела мне глаза бессонница
Теневым венцом.

То-то же! По ночам
Не молись — идолам!
Я твою тайну выдала,
Идолопоклонница.

Мало — тебе — дня,
Солнечного огня!

Пару моих колец
Носи, бледноликая!
Кликала — и накликала
Теневой венец.

Мало — меня — звала?
Мало — со мной — спала?

Ляжешь, легка лицом.
Люди поклонятся.
Буду тебе чтецом
Я, бессонница:

— Спи, успокоена,
Спи, удостоена,
Спи, увенчана,
Женщина.

Чтобы — спалось — легче,
Буду — тебе — певчим:

— Спи, подруженька
Неугомонная,
Спи, жемчужинка,
Спи, бессонная.

И кому ни писали писем,
И кому с тобой ни клялись мы...
Спи себе.

Вот и разлучены
Неразлучные.
Вот я выпущены из рук
Твои рученьки.
Вот ты и отмучилась,
Милая мученица.

Сон — свят.
Все — спят.
Венец — снят.

8 апреля 1916

2

Руки люблю
Целовать, и люблю
Имена раздавать,
И еще — раскрывать
Двери!
— Настежь — в темную ночь!

Голову сжав,
Слушать, как тяжкий шаг
Где-то легчает,
Как ветер качает
Сонный, бессонный
Лес.

Ах, ночь!
Где-то бегут ключи,
Ко сну — клонит.
Сплю почти.
Где-то в ночи
Человек тонет.

27 мая 1916

3

В огромном городе моем — ночь.
Из дома сонного иду — прочь.
И люди думают: жена, дочь, —
А я запомнила одно: ночь.

Июльский ветер мне метет — путь,
И где-то музыка в окне — чуть.
Ах, нынче ветру до зари — дуть
Сквозь стенки тонкие груди — в грудь,

Есть черный тополь, и в окне — свет,
И звон на башне, и в руке — цвет,
И шаг вот этот — никому — вслед,
И тень вот эта, а меня — нет.

Огни — как нити золотых бус,
Ночного листика во рту — вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам — снюсь.

17 июля 1916

Москва

4

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, — ничьим.
В медленных жилах еще занывают стрелы —
И улыбаешься людям, как серафим.

После бессонной ночи слабеют руки
И глубоко равнодушен и враг, и друг.
Целая радуга — в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, — и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.

19 июля 1916

9

Кто спит по ночам? Никто не спит!
Ребенок в люльке своей кричит,
Старик над смертью своей сидит,
Кто молод — с милою говорит,
Ей в губы дышит, в глаза глядит.

Заснешь — проснешься ли здесь опять?
Успеем, успеем, успеем спать!

А зоркий сторож из дома в дом
Проходит с розовым фонарем,
И дробным рокотом над подушкой
Рокочет ярая колотушка:

— Не спи! крепись! говорю добром!
А то — вечный сон! а то — вечный дом!

12 декабря 1916

10

Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может — пьют вино,
Может — так сидят.
Или просто — рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.

Крик разлук и встреч —
Ты, окно в ночи!
Может — сотни свеч,
Может — три свечи...
Нет и нет уму
Моему — покоя.
И в моем дому
Завелось такое.

Помолись, дружок, за бессонный дом,
За окно с огнем!

23 декабря 1916

Стихи к Блоку

1

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ.
Имя твое — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком шелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко шелкающий курок.

Имя твое, — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век.
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим — сон глубок.

15 апреля 1916

3

Ты проходишь на запад солнца,
Ты увидишь вечерний свет.
Ты проходишь на запад солнца,
И метель замечает след.

Мимо окон моих — бесстрастный —
Ты пройдешь в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души!

Я на душу твою — не зарюсы!
Нерушима твоя стезя.
В руку, бледную от лобзаний,
Не вобью своего гвоздя.

И по имени не окликну,
И руками не потянусь.
Восковому, святому лику
Только издали поклонюсь.

И, под медленным снегом стоя,
Опущусь на колени в снег
И во имя твое святое
Поцелую вечерний снег —

Там, где поступью величавой
Ты прошел в снеговой тиши,
Свете тихий — святая славы —
Вседержитель моей души.

2 мая 1916

4

Зверю — берлога,
Страннику — дорога,
Мертвому — дроги.
Каждому — свое.

Женщине — лукавить,
Царю — править,
Мне — славить
Имя твое.

2 мая 1916

5

У меня в Москве — купола горят.
У меня в Москве — колокола звонят,
И гробницы, в ряд, у меня стоят, —
В них царицы спят и цари.

И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Легче дышится — чем на всей земле!
И не знаешь ты, что зарей в Кремле
• Я молюсь тебе — до зари.

И проходишь ты над своей Невой
О ту пору, как над рекой-Москвой
Я стою с опущенной головой,
И слипаются фонари.

Всей бессонницей я тебя люблю,
Всей бессонницей я тебе внемлю —
О ту пору, как по всему Кремлю
Просыпаются звонари.

Но моя река — да с твоей рекой,
Но моя рука — да с твоей рукой
Не сойдутся, Радость моя, доколь
Не догонит заря — зари.

7 мая 1916

6

Думали — человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек.
— Плачьте о мертвом ангеле!

Он на закате дня
Пел красоту вечернюю.
Три восковых огня
Треплются, суеверные.

Шли от него лучи —
Жаркие струны по снегу.

Три восковых свечи —
Солнцу-то! Светоносному!

О, поглядите — как
Веки ввалились темные!
О, поглядите — как
Крылья его поломаны!

Черный читает чтец,
Топчутся люди праздные...
— Мертвый лежит певец
И Воскресенье празднует.

9 мая 1916

11

Други его — не тревожьте его!
Слуги его — не тревожьте его!
Было так ясно на лике его:
Царство мое не от мира сего.

Вещие вьюги кружили вдоль жил,
Плечи сутулые гнулись от крыл,
В певчую прорезь, в запекшийся пыл —
Лебедем душу свою упустил!

Падай же, падай же, тяжкая медь!
Крылья извели право: лететь!
Губы, кричавшие слово: ответы! —
Знают, что этого нет — умереть!

Зори пьют, море пьет, — в полную сыть
Бражничают. — Панихид не служить!
У навсегда повелевшего: быть! —
Хлеба достанет его накормить!

15 августа 1921

13

Не проломанное ребро —
Переломленное крыло.

Не расстрельщиками навывлет
Грудь простреленная. Не вынуть

Этой пули. Не чинят крыл.
Изуродованный ходил.

Цепок, цепок венец из терний!
Что усопшему — трепет черни,

Женской лести лебязий пух...
Проходил, одинок и глух,

Замораживая закаты
Пустотою безглазых статуй.

Лишь одно еще в нем жило:
Переломленное крыло.

Между 15 и 25 августа 1921

14

Без зова, без слова —
Как кровельщик падает с крыш.
А может быть, снова
Пришел — в колыбели лежишь?

Горишь и не меркнешь,
Светильник немногих недель...
Какая из смертных
Качает твою колыбель?

Блаженная тяжесть!
Прозоческий певчий камыш!
О, кто мне расскажет,
В какой колыбели лежишь?

«Прокрамет не продан!»
Лишь с ревностью этой в уме
Великим обходом
Пойду по российской земле.

Полночные страны
Пройду из конца и в конец.
Где рот — его — рана,
Очей синеватый свинец?

Схватить его! Крепче!
Любить и любить его лишь!
О, кто мне нашепчет,
В какой колыбели лежишь?

Жемчужные зерна,
Кисейная сонная сень.
Не лавром, а тёрном —
Чепца острозубая тень.

Не полог, а птица
Раскрыла два белых крыла!
— И снова родиться,
Чтоб снова метель замела?!

Рвануть его! Выше!
Держать! Не отдать его лишь!
О, кто мне надышит,
В какой колыбели лежишь?

А может быть, ложен
Мой подвиг, и даром — труды.
Как в землю положен,
Быть может, — проспишь до грубы.

Огромную впалость
Висков твоих — вижу опять.
Такую усталость —
Ее и трубой не поднять!

Державная пажить,
Надежная, ржавая тишь.
Мне сторож покажет,
В какой колыбели лежишь.

22 ноября 1921

Ахматовой

1

О Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь.
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

И мы шарахаемся, и глухое: ох! —
Стотысячное — тебе присягает, — Анна
Ахматова! — Это имя — огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами — то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...

— И я дарю тебе свой колокольный град,
Ахматова — и сердце свое в придачу.

19 июня 1916

4

Имя ребенка — Лев,
Матери — Анна.
В имени его — гнев,
В материнском — тишь.
Волосом он рыж,
— Голова тюльпана! —
Что ж, осанна
Маленькому царю.

Дай ему Бог — вздох
И улыбку матери,
Взгляд — искателя
Жемчугов.
Бог, внимательней
За ним присматривай:
Царский сын — гадательней
Остальных сынов.

6

Не отстать тебе. Я — острожник.
Ты — конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте порожней
• Подорожная нам дана.

Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!

26 июня 1916

* * *

Руки даны мне — протягивать каждому обе, —
Не удержать ни одной, губы — давать имена,
Очи — не видеть, высокие брови над ними —
Нежно дивиться любви и — нежней — нелюбви.

А этот колокол там, что кремлевских тяжеле,
Безостановочно ходит и ходит в груди, —

Это — кто знает? — не знаю, — быть может, —
должно быть —
Мне загоститься не дать на российской земли!

2 июля 1916

* * *

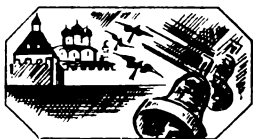
Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес,
Оттого что я на земле стою — лишь одной ногой,
Оттого что я о тебе спою — как никто другой.

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,
У всех золотых знамен, у всех мечей,
Я ключи закину и псов прогоню с крыльца —
Оттого что в земной ночи я вернее пса.

Я тебя отвоюю у всех других — у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я — ничьей женой,
И в последнем споре возьму тебя — замолчи! —
У того, с которым Иаков стоял в ночи.

Но пока тебе не скрещу на груди персты, —
О, проклятие! — у тебя остаешься — ты:
Два крыла твои, нацеленные в эфир, —
Оттого что мир — твоя колыбель, и могила — мир!

15 августа 1916





1917 — АПРЕЛЬ 1922

* * *

Мировое началось во мгле кочевье:
Это бродят по ночной земле — деревья,
Это бродят золотым вином — гроздья,
Это странствуют из дома в дом — звезды,
Это реки начинают путь — вспять!
И мне хочется к тебе на грудь — спать.

14 января 1917

Дон-Жуан

1

На заре морозной
Под шестой березой,
За углом у церкви,
Ждите, Дон-Жуан!

Но, увы, клянусь Вам
Женихом и жизнью,
Что в моей отчизне
Негде целовать!

Нет у нас фонтанов,
И замерз колодец,
А у богородиц —
Строгие глаза.

И чтобы не слышать
Пустяков — красоткам,
Есть у нас презвонкий
Колокольный звон.

Так вот и жила бы,
Да боюсь — состарюсь,
Да и Вам, красавец,
Край мой не к лицу.

Ах, в дохе медвежьей
И узнать Вас трудно, —
Если бы не губы
Ваши, Дон-Жуан!

19 февраля 1917

5

И была у Дон-Жуана — шпага,
И была у Дон-Жуана — Донна Анна.
Вот и всё, что люди мне сказали
О прекрасном, о несчастном Дон-Жуане.

Но сегодня я была умна:
Ровно в полночь вышла на дорогу,
Кто-то шел со мною в ногу,
Называя имена.

И белел в тумане — посох странный...
— Не было у Дон-Жуана — Донны Анны!

14 мая 1917

* * *

И в заточенье зимних комнат
И сонного Кремля —
Я буду помнить, буду помнить
Просторные поля.

И легкий воздух деревенский,
И полдень, и покой, —
И дань моей гордыне женской
Твоей слезы мужской.

27 июля 1917

* * *

Я помню первый день, младенческое зверство,
Истомы и глотка божественную муть,
Всю беззаботность рук, всю бессердечность сердца,
Что камнем падало — и ястребом — на грудь.

И вот — теперь — дрожа от жалости и жара,
Одно: завывать, как волк, одно: к ногам припасть,
Потупиться — понять — что сладострастьем кара —
Жестокая любовь и каторжная страсть.

4 сентября 1917

* * *

И вот, навьючив на верблюжий горб
На добрый — стопудовую заботу,
Отправимся — верблюд смирен и горд —
Справлять неисправимую работу.

Под темной тяжестью верблюжьих тел —
Мечтать о Ниле, радоваться луже,
Как господин и как Господь велел —
Нести свой крест по-божьи, по-верблюжьим.

И будут в зареве пустынных зорь
Горбы — болеть, купцы — гадать: откуда,
Какая это вдруг напала хворь
На доброго, покорного верблюда?

Но ни единым взором не моля —
Вперед, вперед, с сожженными губами —
Пока Обетованная земля
Большим горбом не встанет над горбами.

14 сентября 1917

* * *

Новый год я встретила одна.
Я, богатая, была бедна,
Я, крылатая, была проклятой.
Где-то было много-много сжатых
Рук — и много старого вина.

А крылатая была — проклятой!
А единая была — одна!
Как луна — одна, в глазу окна.

31 декабря 1917

Психея

1

Не самозванка — я пришла домой,
И не служанка — мне не надо хлеба.
Я — страсть твоя, воскресный отдых твой,
Твой день седьмой, твоё седьмое небо.

Там, на Земле, мне подавали грош
И жерновов навешали на шею.
— Возлюбленный! Ужель не узнаешь?
Я ласточка твоя — Психея!

2

На тебе, ласковый мой, лохмотья,
Бывшие некогда нежной плотью.
Всё истрепала, изорвала, —
Только осталось, что два крыла.

Одень меня в своё великолепье,
Помчуй и спаси.
А бедные истлевшие отрепья, —
Ты в ризницу снеси.

13 мая 1918

* * *

В черном небе — слова начертаны,
И ослепли глаза прекрасные...
И не страшно нам ложе смертное,
И не сладко нам ложе страстное.

В поте — пишуший, в поте — пашущий!
Нам знакомо иное рвение:
Легкий огонь, над кудрями пляшущий, —
Дуновение — вдохновения!

14 мая 1918

* * *

«Простите меня, мои горы!
Простите меня, мои реки!
Простите меня, мои нивы!
Простите меня, мои травы!»

Мать — крест надевала солдату,
Мать с сыном прощалась навеки...
И снова из сгорбленной хаты:
«Простите меня, мои реки!»

14 мая 1918

* * *

Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
Господню милость — и Господень суд,
Благой закон — и каменный закон.

И пыльный пурпур свой, где столько дыр...
И пыльный посох свой, где все лучи!
Еще, Господь, благословляю — мир
В чужом дому — и хлеб в чужой печи.

21 мая 1918

* * *

Полюбил богатый — бедную,
Полюбил ученый — глупую,
Полюбил румяный — бледную,
Полюбил хороший — вредную:
Золотой — полушку медную.

— Где, купец, твоё роскошество?
«Во дырявом во лукошечке!»

— Где, гордец, твои учености?
«Под подушкой у девчоночки!»

— Где, красавец, щеки алые?
«За ночь черную — растаяли».

— Крест серебряный с цепочкою?
«У девчонки под сапожками!»

Не люби, богатый — бедную,
Не люби, ученый — глупую,
Не люби, румяный — бледную,
Не люби, хороший — вредную:
Золотой — полушку медную!

Между 21 и 26 мая 1918

* * *

Белье на речке полощу,
Два цветика своих ращу.

Ударит колокол — крещусь,
Посадят голодом — пощусь.

Душа и волосы — как шелк.
Дороже жизни — добрый толк.

Я свято соблюдаю долг.
— Но я люблю Вас — вор и волк!

Между 26 мая и 4 июня 1918

* * *

Умирая, не скажу: *была*.
И не жаль, и не ищу виновных.
Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных.

Ты — крылом стучавший в эту грудь,
Молодой виновник вдохновенья —
Я тебе повелеваю: — будь!
Я — не выйду из повиненья.

30 июня 1918

* * *

Руки, которые не нужны
Милому, служат — Миру.
Доблестным званьем Мирской Жены
Нас увенчала — Лира.

Много незваных на царский пир, —
Надо им спеть на ужин!
Милый не вечен, но вечен — Мир.
Не понапрасну служим.

6 июля 1918

* * *

Я — страница твоему перу.
Всё приму. Я — белая страница.
Я — хранитель твоему добру:
Возвращу, и возвращу сторицей.

Я — деревня, черная земля.
Ты мне — луч и дождевая влага.
Ты — Господь и Господин, а я —
Чернозем — и белая бумага!

10 июля 1918

* * *

Как правая и левая рука —
Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.

Но вихрь встает — и бездна пролегла
От правого — до левого крыла!

10 июля 1918

* * *

Рыцарь ангелоподобный —
Долг! — Небесный часовой!
Белый памятник надгробный
На моей груди живой.

За моей спиной крылатой
Вырастающий ключарь,
Еженощный соглядатай,
Ежеутренний звонарь. . .

Страсть, и юность, и гордыня —
Всё сдалось без мятежа,
Оттого что ты рабыне
Первый молвил: — Госпожа!

14 июля 1918

* * *

Доблесть и девственность! Сей союз
Древен и дивен, как смерть и слава.

Красною кровью своей клянусь
И головою своей кудрявой —

Ноши не будет у этих плеч,
Кроме божественной ноши — Мира!
Нежную руку кладу на меч:
На лебединую шею Леры.

27 июля 1918

* * *

Пусть не помнят юные
О согбенной старости.
Пусть не помнят старые
О блаженной юности.

Всё уносят волны.
Море — не твое.
На людские головы
Лейся, забытьё!

Пешеход морщинистый,
Не любуйся парусом!
Ах, не надо юностью
Любоваться — старости!

Кто в песок, кто — в школу.
Каждому — свое.
На людские головы
Лейся, забытьё!

Не учишь у старости,
Юность златорунная!
Старость — дело темное,
Темное, безумное.

...На людские головы
Лейся, забытьё!

27 июля 1918

* * *

Клонится, клонится лоб тяжелый,
Колосом клонится, ждет жнеца.
Друг! Равнодушие — дурная школа!
Ожесточает оно сердца.

Жнец — милосерден: сожнет и свяжет,
Поле опять прорастет травой...
А равнодушного — Бог накажет!
Страшно ступать по душе живой.

Друг! Неизжитая нежность — душит.
Хоть на алтын полюби — приму!
Друг равнодушный! — Так страшно слушать
Черную полночь в пустом доме!

Июль 1918

* * *

Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота — ненужная в семье,
А на венцы и на апофеозы —
Один ответ: — Откуда мне сие?

Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты
Закон звезды и формула цветка.

14 августа 1918

* * *

Если душа родилась крылатой —
Что ей хоромы и что ей хаты!
Что Чингисхан ей и что — Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца — неразрывно-слитых
Голод голодных — и сытость сытых!

18 августа 1918

Але

1

Не знаю, где ты и где я.
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!

И так хорошо нам вдвоем —
Бездомным, бессонным и сирым...

Две птицы: чуть встали — поем,
Две странницы: кормимся миром.

2

И бродим с тобой по церквам
Великим — и малым, приходским.
И бродим с тобой по домам
Убогим — и знатым, господским.

Когда-то сказала: — Купи! —
Сверкнув на кремлевские башни.
Кремль — твой от рождения. — Спи,
Мой первенец светлый и страшный.

3

И как под землю трава
Дружится с рудою железной, —
Всё видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.

— Сивилла! Зачем моему
Ребенку — такая судьбина?
Ведь русская доля — ему...
И век ей: Россия, рябина...

24 августа 1918

* * *

Что другим не нужно — несите мне!
Всё должно сгореть на моем огне!
Я и жизнь маню, я и смерть маню
В легкий дар моему огню.

Пламень любит — легкие вещества:
Прошлогодний хворост — венки — слова.
Пламень — пышет с подобной пищи!
Вы ж восстанете — пепла чище!

Птица-Феникс я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко горю — и горю дотла!
И да будет вам ночь — светла!

Ледяной костер — огневой фонтан!
Высоко несу свой высокий стан,

Высоко несу свой высокий сан —
Собеседницы и Наследницы!

2 сентября 1918

Глаза

Привычные к степям — глаза,
Привычные к слезам — глаза,
Зеленые — соленые —
Крестьянские глаза!

Была бы бабою простой —
Всегда б платили за постой —
Всё эти же — веселые —
Зеленые глаза.

Была бы бабою простой —
От солнца б застилась рукой,
Качала бы — молчала бы, —
Потупивши глаза.

Шел мимо паренек с лотком. . .
Спят под монашеским платком
Смиренные — степенные —
Крестьянские глаза.

Привычные к степям — глаза,
Привычные к слезам — глаза. . .
Что видели — не выдадут
Крестьянские глаза!

9 сентября 1918

* * *

Не смущаю, не пою
Женскою отравою.
Руку верную даю —
Пишущую, правую.

Той, которою крешу
На ночь — ненаглядную.
Той, которою пишу
То, что Богом задано.

Левая — она дерзка,
Льстивая, лукавая.

Вот тебе моя рука —
Праведная, правая!
10 октября 1918

* * *

Чтобы помнил не часочек, не годок —
Подарю тебе, дружочек, гребешок.

Чтобы помнили подружек мил-дружки —
Есть на свете золотые гребешки.

Чтоб дружочку не пилось без меня —
Гребень, гребень мой, расческа моя!

Нет на свете той расчески чудней:
Струны — зубья у расчески моей.

Чуть притронешься — пойдет трескотня
Про меня одну, да всё про меня.

Чтоб дружочку не спалось без меня —
Гребень, гребень мой, расческа моя!

Чтобы чудился в жару и в поту
От меня ему вершочек — с версту,

Чтоб ко мне ему все вёрсты — с вершок,
Есть на свете золотой гребешок.

Чтоб дружочку не жилось без меня —
Семиструнная расческа моя!

2 ноября 1918

* * *

Я счастлива жить образцово и просто:
Как солнце — как маятник — как календарь.
Быть светской пустыннолицей стройного роста,
Премудрой — как всякая божия тварь.

Знагь: Дух — мой сподвижник и Дух — мой
взагагый!

Входить без доклада, как луч и как взгляд
Жить так, как пишу: образцово и сжато, —
Как Бог повелел и друзья не велят.

22 ноября 1918

Комедьянт

2

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.
— Ах, Вы похожи на улыбку Вашу!
Сказать еще? — Златого утра краше!
Сказать еще? Один во всей Вселенной!
Самой Любви младой военнопленный,
Рукой Челлини ваянная чаша.

Друг, разрешите мне на лад старинный
Сказать любовь, нежнейшую на свете.
Я Вас люблю. — В камине воет ветер.
Облокотясь — уставясь в жар каминный —
Я Вас люблю. Моя любовь невинна.
Я говорю, как маленькие деги.

Друг! Все пройдет! — Виски в ладонях сжаты, —
Жизнь разожмет! — Младой военнопленный,
Любовь отпустит Вас, но — вдохновенный —
Всем пророкочет голос мой крылатый —
О том, что жили на Земле когда-то
Вы — столь забывчивый, сколь незабвенный!

25 ноября 1918

3

Ваш нежный рот — сплошное целованье...
— И это всё, и я совсем как нищий.
Кто я теперь? — Единая? — Нет, тыща!
Завоеватель? — Нет, завоеванье!

Любовь ли это — или любованье,
Пера причуда — или первопричина,
Томленье ли по ангельскому чину —
Иль чуточку притворства — по призванью...

— Души печаль, очей очарованье,
Пера ли росчерк — ах! — не всё равно ли,
Как назовут сие уста — доколе
Ваш нежный рот — сплошное целованье!

Конец ноября 1918

* * *

Когда-нибудь, прелестное создание,
Я стану для тебя воспоминаньем,

Там, в памяти твоей голубоокой,
Затерянным — так далеко-далёко.

Забудешь ты мой профиль горбоносый,
И лоб в апофеозе папиросы,

И вечный смех мой, коим всех морочу,
И сотню — на руке моей рабочей —

Серебряных перстней, — чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту. . .

Как в страшный год, возвышены Бедою,
Ты — маленькой была, я — молодою.

Ноябрь 1919

* * *

Маленький домашний дух,
Мой домашний гений!
Вот она, разлука двух
Сродных вдохновений!

Жалко мне, когда в печи
Жар, — а ты не видишь!
В дверь — звезда в моей ночи! —
Не взойдешь, не выйдешь!

Плагица твои висят,
Точно плод запретный.
На окне чердачном — сад
Расцветает — тшетно.

Голуби в окно стучат, —
Скучно с голубями!
Мне ветра привет кричат, —
Бог с ними, с ветрами!

Не сказать ветрам седым,
Стаям голубиным —
Чудодейственным твоим
Голосом: — Марина!

Ноябрь 1919

* * *

У первой бабки — четыре сына,
Четыре сына — одна лучина,

Кожух овчинный, мешок пеньки, —
Четыре сына — да две руки!

Как ни навалишь им чашку — чисто!
Чай, не барчата! — Семинаристы!

А у другой — по иному трахту! —
У той тоскует в ногах вся шляхта.

И вот — смеется у камелька:
«Сто богомольцев — одна рука!»

И зацелованными руками
Чудит над клавишами, шелками. . .

Обеим бабкам я вышла внучка:
Чернорабочий — и белоручка!

Январь 1920

* * *

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
Зá ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

Первая половина апреля 1920

* * *

Мой путь не лежит мимо дому — твоего.
Мой путь не лежит мимо дому — ничего.

А всё же с пути сбиваюсь
(Особо — весной!),
А всё же по людям маюсь,
Как пес под луной.

Желанная всюду гостя:
Всем спать не даю!
Я с дедом играю в кости,
А с внуком — пою.

Ко мне не ревнуют жены:
Я — голос и взгляд.
И мне ни один влюбленный
Не вывел палат.

Смешно от щедрот незваных
Мне ваших, купцы!
Сама воздвигаю за ночь
Мосты и дворцы.

(А что говорю — не слушай!
Всё мелет — бабье!)
Сама поутру разрушу
Творенье свое.

Хоромы — как сноп соломы — ничего!
Мой путь не лежит мимо дому — твоего.

27 апреля 1920

* * *

Пахнуло Англией — и морем —
И доблестью. — Суров и статен.
— Так, связываясь с новым горем,
Смеюсь, как юнга на канате

Смеется в час великой бури,
Наедине с Господним гневом,
В блаженной, обезьяньей дури
Пляша над пенящимся зевом.

Упорны эти руки, — прочен
Канат, — привык к морской метели!

И сердце доблестно, — а впрочем,
Не всем же умирать в постели!

И вот, весь холод тьмы беззвездной
Вдохнув — на самой мачте — с краю —
Над разверзающейся бездной
— Смеясь! — ресницы опускаю...

27 апреля 1920

* * *

Да, друг невиданный, неслыханный
С тобой. — Фонарик потуши!
Я знаю все ходы и выходы
В тюремной крепости души.

Вся стража — розами увенчана:
Слепая, шалая толпа!
— Всех ослепила — ибо женщина,
Всё вижу — ибо я слепа.

Закрой глаза и не оспаривай
Руки в руке. — Упал засов. —
Нет — то не туча и не зарево!
То конь мой, ждущий седоков!

Мужайся: я твой щит и мужество!
Я — страсть твоя, как в оны дни!
А если голова закружится,
На небо звездное взгляни!

Апрель 1920

* * *

Нет, легче жизнь отдать, чем час
Сего блаженного тумана! —
Ты мне велишь — единственный приказ! —
И засыпать, и просыпаться — рано.

Пожалуй, что и снов нельзя
Мне видеть, как глаза закрою,
— Не проще ли тогда — глаза
Закрывать мне собственной рукою?

Но я боюсь, что все ж не будут спать
Глаза в гробу — мертвецким сном законным.

Оставь меня. И отпусти опять:
Совенка — в ночь, бессонную — к бессонным.

14 мая 1920

* * *

На бренность бедную мою
Взираешь, слов не расточая.
Ты — каменный, а я пою,
Ты — памятник, а я летаю.

Я знаю, что нежнейший май
Пред оком Вечности — ничтожен.
Но птица я — и не пеняй,
Что легкий мне закон положен.

16 мая 1920

* * *

Сказавший всем страстям: прости —
Прости и ты.
Обиды наглоталась всласть.
Как хлещущий библейский стих
Читаю я в глазах твоих:
«Дурная страсть!»

В руках, тебе несущих есть,
Читаешь — лесть.
И смех мой — ревность всех сердец! —
Как прокажённых бубенец —
Гремит тебе.

И по тому, как в руки вдруг
Кирку берешь — чтоб рук
Не взять (не те же ли цветы?),
Так ясно мне — до тьмы в очах! —
Что не было в твоих стадах
Черней — овцы.

Есть остров — благостью Отца, —
Где мне не надо бубенца,
Где черный пух —
Вдоль каждой изгороди. — Да. —
Есть в мире — черные стада.
Другой пастух.

17 мая 1920

* * *

Да, вздоков обо мне — край непочатый!
А может быть — мне легче быть проклятой!
А может быть — цыганские заплаты —
Смиренные — мои

Не меньше, чем несмешанное золото,
Чем белизной пылающие латы
Пред ликом судии.

Долг плясуна — не дрогнуть вдоль каната,
Долг плясуна — забыть, что знал когда-то —
Иное вещество,

Чем воздух — под ногой своей крылатой!
Оставь его. Он — как и ты — глашатай
Господа своего.

17 мая 1920

* * *

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной — не черни
Галчонка — белизной.

А впрочем — что ж, коли не лень!
Но, всех перелюбя,
Быть может, я в тот черный день
Очнусь — белей тебя!

17 мая 1920

* * *

С. Э.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —

И на стволах, которым сотни зим. . .
И, наконец, — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! —
Расписывалась — радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала имя...

Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

Пригвождена...

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем,
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите все мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!

И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

19 мая 1920

* * *

И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется — возмездье
За то, что каждый раз,

Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.

Что самодержцем Вас признав на веру, —
Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос,
Без Вас мне не был пуст!

Что по ночам, в торжественных туманах,
Искала я у нежных уст румяных —
Рифм только, а не уст.

Возмездие за то, что злейшим судьям
Была — как снег, что здесь, под левой грудью —
Вечный апофеоз!

Что с глазу на глаз с молодым Востоком
Искала я на лбу своем высоком
Зорь только, а не роз!

20 мая 1920

* * *

Восхищенной и восхищённой,
Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.

И оттого, что целый день
Сны проплывают пред глазами,
Уж ночью мне ложиться — лень.
И вот, тоскующая тень,
Стою над спящими друзьями:

Между 21 и 30 мая 1920

* * *

Кто создан из камня, кто создан из глины, —
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя — Марина,
Я — брэнная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти —
Тем гроб и надгробные плиты...
— В купели морской крещена — и в полете
Своем — непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети
Пробьется мое своеволие.
Меня — видишь кудри беспутные эти? —
Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!

Да здравствует пена — веселая пена —
Высокая пена морская!

23 мая 1920

* * *

— Хоровод, хоровод,
Чего ножки бьешь?
— Мореход, мореход,
Чего вдаль плывешь?

Пляшу — пол горячий!
Боюсь, обожгусь!
— Отчего я не плачу?
Оттого, что смеюсь!

Наш моряк, моряк —
Морячок морской!
А тоска — червяк,
Червячок простой.

Поплыл за удачей,
Привез — нитку бус.
— Отчего я не плачу?
Оттого, что смеюсь!

Глубоки моря!
Ворочайся вспять!
Зачем рыбам — зря
Красоту швырять?

Бог дал — я растрочу!
Крест медный — весь груз!
— Отчего я не плачу?
Оттого, что смеюсь!

Между 25 мая и 13 июня 1920

* * *

Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, —
Все жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.

О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?»

И слезы ей — вода, и кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей Земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, —
Жизнь выпала — копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»

Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать», — отвечают.

Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот, что *ты*, милый, сделал — мне.
Мой милый, что тебе — я сделала?

Всё ведаю — не прекословы!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.

Самó — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое...
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый, что тебе я сделала!

14 июня 1920

* * *

Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.

Не с тем — италийским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!

Другие всей плотью по плоти плутают,
Из уст пересоших — дыханье глотают...
А я — руки настезь! — застыла — столбняк!
Чтоб выдул мне душу — российский сквозняк!

Другие — о, нежные, цепкие пути!
Нет, с нами Эол обращается круто.
— Небось, не растаешь! Одна, мол, семья! —
Как будто и вправду — не женщина я!

2 августа 1920

* * *

Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!

Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть Чужому ужин —
Жилье свое спалю!

Взглянул — так и знакомый,
Взошел — так и живи!
Просты наши законы:
Написаны в крови.

Луну заманим с неба,
В ладонь, — коли мила!
Ну а ушел — как не был,
И я — как не была.

Гляжу на след ножевой:
Успеет ли зажить
До первого чужого,
Который скажет: «**И**ть».

Август 1920

* * *

Есть в стане моем — офицерская прямоть,
Есть в ребрах моих — офицерская честь.

На всякую муку иду не упрямясь:
Терпенье солдатское есть!

Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг.
Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.

А зорю заслышу — Отец ты мой родный! —
Хоть райские — штурмом — врата!
Как будто нарочно для сумки походной —
Раскинутых плеч широта.

Всё может — какой инвалид ошалелый
Над люлькой мне песенку спел...
И что-то от этого дня уцелело:
Я слово беру — на прицел!

И так мое сердце над Рэ-Сэ-Фэ-Сэ-Ром
Скрежещет — корми — не корми! —
Как будто сама я была офицером
В Октябрьские смертные дни.

Сентябрь 1920

В о л к

Было дружбой, стало службой.
Бог с тобою, брат мой волк!
Подыхает наша дружба:
Я тебе не дар, а долг!

Заедай верстою вёрсту,
Отсылай версту к версте!
Перегладила по шёрстке —
Стосковался по тоске!

Не взвожу тебя в злодеи, —
Не твоя вина — мой грех:
Ненасытностью своею
Перекармливаю всех!

Чем на вас с кремнем-огнивом
В лес ходить — как Бог судил, —
К одному бабё ревниво:
Чтобы лап не остудил.

Удержать — перстом не двину.
Перст — не шест, а лес велик.

Уноси свои седины,
Бог с тобою, брат мой клык!

Прощевай, седая шкура!
И во сне не вспомяну!
Новая найдется дура —
Верить в волчью седину.

Октябрь 1920

* * *

Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух — не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле! — Неба дочи
С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Прорезь зари — и ответной улыбки прорез...
— Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Декабрь 1920

Р о л а н д о в Р о г

Как нежный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве...

За князем — род, за серафимом — сонм,
За каждым — тысячи таких, как он,

Чтоб, пошатнувшись, — на живую стену
Упал и знал, что — тысячи на смену!

Солдат — полком, бес — легионом горд,
За воров — сброд, а за шутком — всё горб.

Так, наконец, усталая держаться
Сознанием: перст — и назначением: драться,

Под свист глупца и мещанина смех —
Одна из всех — за всех — противу всех! —

Стою и шлю, закаменев от взлёту,
Сей громкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

Март 1921

М а я к о в с к о м у

Превыше крестов и труб,
Крещённый в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ —
Здорóво в веках, Владимир!

Он — возчик, и он же — конь,
Он — прихоть, и он же — право.
Вздыхнул, поплевал в ладонь:
— Держись, ломовая слава!

Певец площадных чудес —
Здорóво, гордец чумазый,
Что камнем — тяжеловес
Избрал, не прельстясь алмазом.

Здорóво, бульжный гром!
Зевнул, козырнул — и снова
Оглоблей гребет — крылом
Архангела ломового.

18 сентября 1921

Молодость

1

Молодость моя! Моя чужая
Молодость! Мой сапожок непарный!
Воспаленные глаза сужая,
Так листок срывают календарный.

Ничего из всей твоей добычи
Не взяла задумчивая Муза.
Молодость моя! — Назад не кличу.
Ты была мне ношей и обузой.

Ты в ночи начесывала гребнем,
Ты в ночи оттачивала стрелы.
Щедростью твоей давясь, как щепнем,
За чужие я грехи терпела.

Скипетр тебе вернув до срока —
Что уже душе до яств и брашна? —
Молодость моя! Моя морока —
Молодость! Мой лоскуток кумашный!

18 ноября 1921

2

Скоро уж из ласточек — в колдуньи!
Молодость! Простимся накануне.
Постоим с тобою на ветру.
Смуглая моя! Утешь сестру!

Полыхни малиновою юбкой,
Молодость моя! Моя голубка
Смуглая! Раззор мой души!
Молодость моя! Утешь, спляши!

Полосни лазоревою шалью,
Шалая моя! Пошалевали
Досыта с тобой! — Спляши, ошпары!
Золотце мое — прощай, янтары!

Неспроста руки твоей касаюсь,
Как с любовником, с тобой прощаюсь.
Вырванная из грудных глубин —
Молодость моя! — Иди к другим!

20 ноября 1921.

* * *

Слёзы — на лице моей облезлой!
Глыбой — чересплечные ремни!
Громче паровозного железа,
Громче левогрудой стукотни —

Дребезг подымается над щепнем,
Скрежетом по рощам, по лесам,
Точно кто вгрызающимся гребнем
Разом — по семи моим сердцам!

Родины моей широкоскулой
Матерный, бурлацкий перегар.
Или же — вдоль насыпи сутулой
Шёпоты и топоты татар.

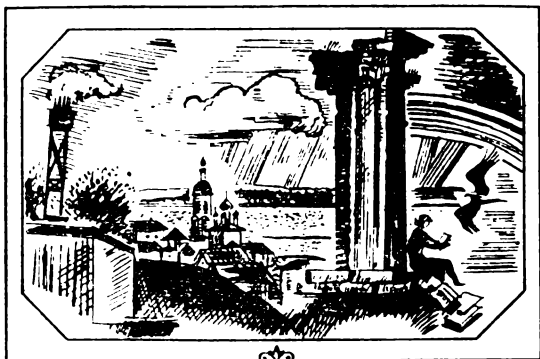
Или мужичонка, на круг должный,
За косу красу — да о косяк?
(Может, людоедица с Поволжья
Склабом — о ребяческий костяк?)

Аль Степан всплясал, Руси кормилец?
Или же за кровь мою, за труд —
Сорок звонарей моих взбесились —
И боярыню свою поют...

Сокол — перерезанные путы!
Шибче от кровавой колени!
— То над родиной моею лютой
Истрадавшиеся соловьи.

10 февраля 1922





МАЙ 1922—1925

* * *

Лютая юдоль,
Дольняя любовь.
Руки: свет и соль.
Губы: смоль и кровь.

Левогрудый гром
Лбом подслушан был.
Так — о камень лбом —
Кто тебя любил?

Бог с замыслами! Бог с вымыслами!
Вот: жаворонком, вот: жимолостью,
Вот: пригоршнями — вся выплескута,
С моими дикостями — и тихостями,
С моими радугами заплаканными,
С подкрадываньями, заборматованьями...

Милая ты жизни!
Жадная еще!
Ты запомни вжим
В правое плечо.

Щебеты во тьмах...
С птицами встаю!
Мой веселый вмах
В летопись твою.

*2 июня 1922
Берлин*

* * *

Есть час на те слова.
Из слуховых глушизн
Высокие права
Выстукивает жизнь.

Быть может — от плеча,
Протиснутого лбом.
Быть может — от луча,
Невидимого днем.

В напрасную струну
Прах — взмах на простыню.
Дань страху своему
И праху своему.

Жарких самоуправств
Час — и тишайших просьб.
Час безземельных братств.
Час мировых сиротств.

11 июня 1922

Берлин

Земные приметы

1

Так, в скудном труженичестве дней,
Так, в трудной судорожности к ней,
Забудешь дружественный хорей
Подруги мужественной своей.

Ее суровости горький дар,
И легкой робостью скрытый жар,
И тот беспроволочный удар,
Которому имя — даль.

Все древности, кроме: *дай и мой*,
Все ревности, кроме той, земной,
Все верности, — но и в смертный бой
Неверующим Фомой.

Мой неженка! Сединой отцов:
Сей беженки не бери под кров!
Да здравствует левогрудый ков
Немудрствующих концов!

Но, может, в щебетах и в счетах
От вечных женственностей устав —
И вспомнишь руку мою без прав
И мужественный рукав.

Уста, не требующие смет,
Права, не следующие вслед,
Глаза, не ведающие век,
Исследующие: свет.

15 июня 1922

4

Руки — и в круг
Перепродаж и переуступок!
Только бы губ,
Только бы рук мне не перепутать!

Этих вот всех
Суетностей, от которых сна нет.
Руки воздев,
Друг, заклинаю свою же память!

Чтобы в стихах
(Свалочной яме моих высочеств!)
Ты не зачах,
Ты не усох наподобье прочих.

Чтобы в груди
(В тысячегрудой моей могиле
Братской!) — дожди
Тысячелетий тебя не мыли...

Тело меж тел,
— Ты, что мне пропадом был двухзвёздным!..—
Чтоб не истлел
С надписью: не опознан.

9 июля 1922

* * *

Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! — Живейшая из жен:
Жизнь. Обеими руками
В твой невыспавшийся сон.

Дай! (На языке двуостром:
На! — Двуострота змеи!)

Всю меня в простоволосой.
Радости моей прими!

Льни! — Сегодня день на шхуне,
— Льни! — на лыжах! — Льни — льняной!
Я сегодня в новой шкуре:
Вызолоченной, седьмой!

— Мой! — и о каких наградах
Рай — когда в руках, у рта —
Жизнь: распахнутая радость
Поздороваться с утра!

25 июня 1922

* * *

В пустынной хрámине
Троилась — ладаном.
Зерном и пламенем
На темя падала...

В ночные клёкоты
Вступала — ровнею.
— Я буду крохотной
Твоей жаровнею:

Домашней утварью:
Тоску раскуривать,
Ночную скуку гнать,
Земные руки греть!

С груди безжалостной
Богов — пусть сброшена!
Любовь досталась мне
Любáя: большая!

С такими путами!
С такими льготами! —
Пол-жизни? — Всю тебе!
По-локоть? — Вот она!

За то, что требуешь,
За то, что мучаешь,
За то, что бедные
Земные руки есть...

Тщета! — Не выверить
По амфибрахиям!

В груди пошире лишь
Глаза распахивай,

Гляди: не Логосом
Пришла, не Вечностью:
Пустоголовостью
Твоей щебечущей

К груди...
— Не властвовать!
Без слов и на слово —
Любить... Распластаннейшей
В мире — ласточкой!

26 июня 1922

Берлин

Сивилла — младенцу

К груди моей,
Младенец, льни:
Рождение — паденье в дни.

С заоблачных нигдешних скал,
Младенец мой,
Как низко пал!
Ты духом был — ты прахом стал.

Плачь, маленький, о них и нас:
Рождение — паденье в час!

Плачь, маленький, и впредь, и вновь:
Рождение — паденье в кровь,

И в прах,
И в час...

Где зарева его чудес?
Плачь, маленький: рождение в вес!

Где залежи его щедрот?
Плачь, маленький: рождение в счет,

И в кровь,
И в пот...

Но встанешь! То, что в мире смертью
Названо, — паденье в твердь.

Но ўзришы! То, что в мире — век
Смежение — рождение в свет.

Из днесь —
В навек.

Смерть, маленький, не спать, а встать,
Не спать, а вспять.

Вплавь, маленький! Уже ступень
Оставлена...
— Восстанье в день.

17 мая 1923

Берегись...

Но тесна вдвоем
Даже радость утр.
Оттолкнувшись лбом
И подавшись внутрь

(Ибо странник — Дух,
И идет один),
До начальных глин
Потупляя слух —

Над источником
Слушай-слушай, Адам,
Что проточные
Жилы рек — берегам:

— Ты и путь и цель,
Ты и след и дом.
Никаких земель
Не открыть вдвоем.

В горний лагерь лбов
Ты и мост и взрыв.
(Самовластен — Бог
И меж всех ревнив.)

Над источником
Слушай-слушай, Адам,
Что проточные
Жилы рек — берегам:

— Берегись слуги,
Дабы в отчий дом
В гордый час трубы
Не предстать рабом.

Берегись жены,
Дабы, сбросив прах,
В голый час трубы
Не предстать в перстнях.

Над источником
Слушай-слушай, Адам,
Что проточные
Жилы рек — берегам:

— Берегись! Не строй
На родстве высот.
(Ибо крепче — той
В нашем сердце — тот.)

Говорю, не льстись
На орла, — скорбит
Об упавшем ввысь
По сей день — Давид!

Над источником
Слушай-слушай, Адам,
Что проточные
Жилы рек — берегам:

— Берегись могил:
Голодней блудниц!
Мертвый был и сгнил:
Берегись гробниц!

От вчерашних правд
В доме — смрад и хлам.
Даже самый прах
Подари ветрам!

Над источником
Слушай-слушай, Адам,
Что проточные
Жилы рек — берегам:
— Берегись...

8 августа 1922

Деревья

2

Когда обидой — опилась
Душа разгневанная,
Когда семижды зареклась
Сражаться с демонами —

Не с теми, ливнями огней
В бездну нисхлѣстнутыми:
С земными низостями дней,
С людскими косянками, —

Деревья! К вам иду! Спаситесь
От рева рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано!

Дуб богоборческий! В бой
Всем корнем шествующий!
Ивы-провидицы мои!
Березы-девушечки!

Вяз — яростный Авессалом!
На пытке вздыбленная
Сосна! — ты, уст моих псалом:
Горечь рябиновая...

К вам! В живоплещущую ртуть
Листвы — пусть рушащейся!
Впервые руки распахнуты!
Забросить рукописи!

Зеленых отсветов рой...
Как в руки — плещущие...
Простоволосые мои,
Мои трепещущие!

8 сентября 1922

9

Каким наитием,
Какими истинами,
О чем шумите вы,
Разливы лиственные?

Какой неистойой
Сивиллы таинствами —
О чем шумите вы,
О чем беспамятствуете?

Что в вашем веянье?
Но знаю — лечите
Обиду Времени
Прохладой Вечности.

Но юным гением
Восстав — порочите
Ложь лицезрения
Перстом заочности.

Чтоб вновь, как некогда,
Земля — казалась нам.
Чтобы *под веками*
Свершались замыслы.

Чтобы монетами
Чудес — не чваниться!
Чтобы *под веками*
Свершались таинства!

И прочь от прочности!
И прочь от срочности!
В поток! — В пророчества
Речами косвенными...

Листва ли — листьями?
Сивилла ль — выстонала?
... Лавины листовенные,
Руины листовенные...

9 мая 1923

* * *

Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
— Не жалейте! всё сбылось,
Всё в груди слилось и спелось.

Спелось — как вся даль слилась
В стонущей трубе окраины.
Господи! Душа сбылась:
Умысел твой самый тайный.

Несгорающую соль
Дум моих — ужели пепел
Фениксов отдам за смоль
Временных великолепий?

Да и ты посеребрел,
Спутник мой! К громам и дымам,
К молодым сединам *дел* —
Дум моих причти седины:

Горделивый златоцвет,
Роскошью своей не чванствуй:
Молодым сединам *бед*
Лавр пристал — и дуб гражданский.

Между 17 и 23 сентября 1922

Заводские

Стоят в чернорабочей хмури
Закóпченные корпуса.
Над копотью взмечают кудри
Растроганные небеса.

В надышанную сирость чайной
Картуз засаленный бредет.
Последняя труба окраины
О праведности вопиет.

Труба! Труба! Лбов искаженных
Последнее: «Еще мы тут!»
Какая на смерть осужденность
В той жалобе последних труб!

Как в вашу бархатную сытость
Вгрызается их жалкий вой!
Какая заживо-зарытость
И выведенность на убой!

А Бог? — По самый лоб закурен,
Не вступится! — Напрасно ждем!
Над койками больниц и тюрем
Он гвоздиками пригвожден.

Истерзанности! — Живое мясо!
И было так и будет до
Скончания.

— Всем песням насыпь,
И всех отчаяний гнездо:

Завод! завод! Ибо зовется
Заводом этот чёрный взлет.
К отчаянью трубы заводской
Прислушайтесь — ибо зовет

Завод. И никакой посредник
Уж не послужит вам тогда,
Когда над городом последним
Взревет последняя труба.

23 сентября 1922

Хвала богатым

И засим, упредив заране,
Что меж мной и тобою — мили!
Что себя причисляю к рвани,
Что честно мое место в мире:

Под колесами всех излишеств:
Стол уродов, калек, горбатых...
И засим, с колокольной крыши
Объявляю: *люблю* богатым!

За их корень, гнилой и шаткий,
С колыбели растящий рану,
За растерянную повадку
Из кармана и вновь к карману.

За тишайшую просьбу уст их,
Исполняемую, как окрик,
И за то, что их в рай не впустят,
И за то, что в глаза не смотрят.

За их тайны — всегда с нарочным!
За их страсти — всегда с рассыльным!
За навязанные им ночи
(И целуют и пьют насильно!),

И за то, что в учётах, в скуках,
В позолотах, в зевотах, в ватах,
Вот меня, наглеца, не купят, —
Подтверждаю: *люблю* богатым!

А еще, несмотря на бритость,
Сытость, питость (моргну — и трачу!),
За какую-то — вдруг — побитость,
За какой-то их взгляд собачий,

Сомневающийся...

— Не стержень
ли к нулям? Не шалют ли гири?
И за то, что меж всех отверженств
Нет — такого сиротства в мире!

Есть такая дурная басня:
Как верблюды в иглу пролезли.
... За их взгляд, изумленный насмерть,
Извиняющийся в болезни,

Как в банкротстве... «Ссудил бы... Рад бы —
Да...»

За тихое, с уст зажатых:
«По каратам считал я — брат был...»
— Присягаю: *люблю* богатых!

30 сентября 1922

Рассвет на рельсах

Покамест **день** не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю.

Из сырости — и свай,
Из сырости — и серости.
Покамест **день** не встал
И не вмешался стрелочник.

Туман еще щадит,
Еще в холсты **запахнутый**
Спит ломовой гранит,
Полей не видно шахматных...

Из сырости — и стай...
Еще вестями шальными
Лжет вороная сталь —
Еще Москва за шпалами!

Так, под упорством **глаз** —
Владением бесплотнейшим —
Какая разлилась
Россия — в три полотнища!

И — шире раскручу:
Невидимыми рельсами
По сырости пушу
Вагоны с погорельцами:

С пропавшими навек
Для Бога и людей!
(Знак: сорок человек
И восемь лошадей.)

Так, посредине шпал,
Где даль шлагбаумом выросла,
Из сырости и шпал,
Из сырости — и сирости,

Покамест день не встал
С его страстями стравленными —
Во всю горизонталь
Россию восстанавливаю!

Без низости, без лжи:
Даль — да две рельсы синие...
Эй, вот она! — Держи!
По линиям, по линиям...

12 октября 1922

* * *

В сиром воздухе загробном —
Перелетный рейс...
Сирой проволоки вздрогн,
Повороты рельс...

Точно жизнь мою угнали
По стальной версте —
В сиром мороке — две дали...
(Поклонись Москвел)

Точно жизнь мою убили.
Из последних жил
В сиром мороке в две жилы
Истекает жизнь.

28 октября 1922

О ф е л и я — в з а щ и т у к о р о л е в ы

Принц Гамлет! Довольно червивую залежь
Тревожить... На розы взгляни!
Подумай о той, что — единого дня лишь —
Считает последние дни.

Принц Гамлет! Довольно царицыны недра
Порочить... Не девственным — суд
Над страстью. Тяжеле виновная — Федра:
О ней и поныне поют.

И будут! — А Вы с Вашей примесью мела
И тлена... С костями злословь,
Принц Гамлет! Не Вашего разума дело —
Судить воспаленную кровь.

Но если... Тогда берегитесь!.. Сквозь плиты —
Ввысь — в опочивальню — и всласть!
Своей королеве встаю на защиту
Я, Ваша бессмертная страсть.

28 февраля 1923

Провода

1

Вереницею певчих свай,
Подпирающих Эмпирей,
Посылаю тебе свой пай
Праха дальнего.

По аллее

Вздохов — проволокой к столбу —
Телеграфное: лю-ю-блю...

Умоляю... (печатный бланк
Не вместит! Проводами проше!)
Это — свай, на них Атлант
Опустил скаковую площадь
Небожителей...

Вдоль свай

Телеграфное: про-о-щай...

Слышишь? Это последний срыв
Глотки сорванной: про-о-стите...
Это — снасти над морем нив,
Атлантический путь тихий:

Выше, выше — и сли-лись
В Ариаднино: ве-ер-нись,

Обернись!.. Даровых больниц
Заунывное: не выйду!
Это — проводами стальных
Проводов — голоса Аида

Удаляющиеся... Даль
Заклинающее: жа-аль...

Пожалейте! (В сем хоре — сей
Различаешь?) В предсмертном крике
Упирающихся страстей —
Дуновение Эвридики:

Через насыпи — и — рвы
Эвридикино: у-у-вы,

Не у —

17 марта 1923

2

Чтоб высказать тебе... Да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные... Сердце — шире!
Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира!

«Все плакали, и если кровь болит...
Все плакали, и если в розах — змеи...»
Но был один — у Федры — Ипполит!
Плач Ариадны — об одном Тезее!

Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо *небывших!*

Какие чайня — когда насквозь
Тобой пропитанный — весь воздух свылся!
Раз Наксосом мне — собственная кость!
Раз собственная кровь под кожей — Стиксом!

Тщета! во мне она! Везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дня! И дата
Жет календарная...

Как ты — Разрыв,
Не Ариадна я и не...

— Утрата!

О, по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого — незрячей!)
Я проводы вверяю проводам,
И в телеграфный столб упершись — плачу.

18 марта 1923

7

В час, когда мой милый брат
 Миновал последний вяз
 (Взмахов, выстроенных в ряд),
 Были слезы — больше глаз.

В час, когда мой милый друг
 Огибал последний мыс
 (Вздохов мысленных: вернись!),
 Были взмахи — больше рук.

Точно руки — вслед — от плеч!
 Точно губы вслед — заклысты!
 Звуки растеряла речь,
 Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость...
 — Господи, взгляни на нас! —
 Были слезы больше глаз
 Человеческих и звезд
 Атлантических...

26 марта 1923

8

Терпеливо, как щепень бьют,
 Терпеливо, как смерти ждут,
 Терпеливо, как вести зреют,
 Терпеливо, как месть лелеют —

Буду ждать тебя (пальцы в жгут —
 Так Монархини ждет наложник)
 Терпеливо, как рифмы ждут,
 Терпеливо, как руки гложут.

Буду ждать тебя (в землю — взгляд,
 Зубы в губы. Столбняк. Булыжник).
 Терпеливо, как негу длят,
 Терпеливо, как бисер нижут.

Скрип полозьев, ответный скрип
 Двери: рокот ветров таежных.
 Высочайший пришел рескрипт:
 — Смена царства и въезд вельможе.

И домой:
 В неземной —
 Да мой.

27 марта 1923

Весна наводит сон. Успем.
Хоть врозь, а все ж сдается: всё
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.

Всевидящий, он знает, чью
Ладонь — и в чью, кого — и с кем.
Кому печаль мою вручу,
Кому печаль мою повем

Предвечную (дитя, отца
Не знающее и конца
Не чающее!). О, печаль
Плачущих без плеча!

О том, что памятью с перста
Спадет, и камешком с моста...
О том, что заняты места,
О том, что наняты сердца

Служить — безвыездно — навек,
И жить — пожизненно — без нег!
О заживо — чуть встав! чем свет! —
В архив, в Элизиум калек.

О том, что тише ты и я
Травы, руды, беды, воды...
О том, что выстрочит швёя:
Рабы — рабы — рабы — рабы.

5 апреля 1923

Поэт

1

Поэт — издалика заводит речь.
Поэта — далеко заводит речь.

Планетами, приметами... окольных
Притч рытвинами... Между *да* и *нет*
Он, даже разлетевшись с колокольни,
Крюк выморочит... Ибо путь комет —

Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности — вот связь его! Кверх лбом —

Отчаяться! Поэтовы затмения
Не предугаданы календарем.

Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто *спрашивает* с парты,
Кто Канта наголову бьет,

Кто в каменном гробу Бастилий
Как дерево в своей красе...
Тот, чьи следы — всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают...
— ибо путь комет —

Поэтов путь: жжя, а не согревая,
Рвя, а не возвращая — взрыв и взлом, —
Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

8 апреля 1923

2

Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоем.
(Не числящимся в ваших справочниках,
Им свалочная яма — дом.)

Есть в мире полые, затолканные,
Немотствующие: — навоз,
Гвоздь — вашему подолу шелковому!
Грязь брезгует из-под колес!

Есть в мире мнимые — невидимые:
(Знак: лепрозориумов крап!),
Есть в мире Иовы, что Иову
Завидовали бы — когда б:

Поэты мы — и в рифму с париями,
Но, выступив из берегов,
Мы Бога у богинь оспариваем
И девственницу у богов!

22 апреля 1923

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
 В мире, где каждый и отч и зряч,
 Где по анафемам, как по насыпям,
 Страсти! Где насморком
 Назван — плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом
 Певчей! — Как провод! загар! Сибири!
 По наважденьям своим — как по мосту!
 С их невесомостью
 В мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
 В мире, где наичернейший — сер!
 Где вдохновенье хранят, как в термосе!
 С этой безмерностью
 В мире мер?!
 22 апреля 1923

Поэма заставы

А покамест пустыня славы
 Не засыпет мои уста,
 Буду петь мосты и заставы,
 Буду петь простые места.

А покамест еще в тенетах
 Не увязла — людских кривизн,
 Буду брать — труднейшую ноту,
 Буду петь — последнюю жизнь!

Жалобу труб,
 Рай огородов.
 Заступ и зуб.
 Чуб безбородых.

День без числа.
 Вербачахла.
 Жизнь без чехла:
 Кровью запахло!

Потных и плотных,
 Потных и тощих:
 — Ну да на площадь?! —
 Как на полотнах —

Как на полотнах
Только — и в одах:
Рев безработных,
Рев безбородых.

Ад? — Да,
Но и сад — для
Баб и солдат,
Старых собак,
Малых ребят...

«Рай — с драками?
Без — раковин
От устриц?
Без люстры?
С заплатами?!»

— Зря плакали:
У всякого —
Свой.

Здесь страсти поджары и ржавы:
Держав динамит!
Здесь часто бывают пожары:
Застава горит!

Здесь ненависть оптом и скопом:
Расправ пулемет!
Здесь часто бывают потопы:
Застава плывет!

Здесь плачут, здесь звоном и воем
Рассветная тишь.
Здесь отрочества под конвоем
Щебечут: шалишь!

Здесь платят! Здесь — Богом и Чёртом,
Горбом и торбóй!
Здесь молодости, как над мертвым,
Поют над собой.

Здесь матери, дитя заспав...
— Мосты, пески, кресты застав! —
Здесь, младшую купцу пропив,
Отцы...
— Кусты, кресты крапив...

На дне она, где ил.
— Но я ее —
любил??

5 июня 1923

Мореплаватель

Закачай меня, звездный челн!
Голова устала от волн!

Слишком долго причалить тщусь,—
Голова устала от чувств:

Гимнов — лавров — героев — гидр, —
Голова устала от игр!

Положите меж трав и хвой, —
Голова устала от войн...

12 июня 1923

Свиданье

На назначенное свиданье
Опоздаю. Весну в придачу
Захвативши — приду седая.
Ты его высоко назначил!

Буду годы идти — не дрогнул
Вкус Офелии к горькой руте!
Через горы идти — и стогны,
Через души идти — и руки.

Землю долго прожить! Грущоба —
Кровь! и каждая капля — заводь.
Но всегда стороной ручьевой —
Лик Офелии в горьких травах.

Той, что, страсти хлебнув, лишь ила
Нахлебалась! — Снопом на щепень!
Я тебя высоко любила:
Я тебя схоронила в небе!

18 июня 1923

* * *

Рано еще — не быть!
Рано еще — не жечь!

Нежности! Жестокий бич
Потусторонних встреч.

Как глубоко ни льни —
Небо — бездонный чан!
О, для такой любви
Рано еще — без ран!

Ревностью жизнь жива!
Кровь вожделеет течь
В землю. Отдаст вдова
Право свое — на меч?

Ревностью жизнь жива!
Благословен ущерб
Сердцу! Отдаст трава
Право свое — на серп?

Тайная жажда трав...
Каждый росток: «сломи»...
До лоскута раздав,
Раны еще — мои!

И пока общий шов
— Льюсь! — не наложишь Сам —
Рано еще для льдов
Потусторонних стран!

19 июня 1923

Луна — лунатику

Оплетавшие — останутся.
Дальше — высь.
В час последнего беспамятства
Не очнись.

У лунатика и гения
Нет друзей.
В час последнего прозрения
Не прозрей.

Я — глаза твои. Совиное
Око крыш.
Будут звать тебя по имени —
Не расслышь.

Я — душа твоя: Урания —
В боги — дверь.

В час последнего слияния
Нé проверь!

20 июня 1923

З а н а в е с

Водопадами занавеса, как пеной —
Хвоей — пламенем — прошумя.
Нету тайны у занавеса — от сцены.
(Сцена — ты, занавес — я.)

Сновидёнными зарослями (в высоком
Зале — оторопь разлилась)
Я скрываю героя в борьбе с Роком,
Место действия — и — час.

Водопадными радугами, обвалом
Лавра (вверился же! знал!)
Я тебя загораживаю от зала,
(Завораживаю зал!)

Тайна занавеса! Сновидённым лесом
Сонных снадобий, трав, зёрн...
(За уже содрогающейся завесой
Ход трагедии — как — шторм!)

Ложи, в слезы! В набат, ярус!
Срок, исполнься! Герой, будь!
Ходит занавес — как — парус,
Ходит занавес — как — грудь.

Из последнего сердца тебя, о недра,
Загораживаю. — Взрыв!
Над ужá-ленною — Федрой
Взвился занавес — как — гриф.

Нате! Рвите! Глядите! Течёт, не так ли?
Заготовливайте — чан!
Я державную рану отдам до капли!
(Зритель — бел, занавес — рлян.)

И тогда — сострадательным покрывалом —
Долу, знаменем прошумя.
Нету тайны у занавеса — от зала.
(Зала — жизнь, занавес — я.)

23 июня 1923

Строительница струн — приструню
И эту. Обожди
Расстраиваться! (В сем июне
Ты плачешь, ты — дожди!)

И если гром у нас — на крышах,
Дождь — в доме, ливень — сплошь, —
Так это ты письмо мне пишешь,
Которого не шлешь.

Ты дробью голосов ручьевых
Мозг бороздишь, как стих.
(Вместительнейший из почтовых
Ящиков — не вместит!)

Ты, лбом обозревая дали,
Вдруг по хлебам — как цеп
Серебряный... (Прервать нельзя ли?
Дитя! Загубишь хлеб!)

3 июля 1923

Рельсы

В некой разлинованности нотной
Нежась наподобие простынь —
Железнодорожные полотна,
Рельсовая режущая синь!

Пушкинское: сколько их, куда их
Гонит! (Миновало — не поют!)
Это уезжают-покидают,
Это остывают-отстают.

Это — остаются. Боль, как нота
Высящаяся... Поверх любви
Высящаяся... Женою Лота
Насыпью застывшие столбы...

Час, когда отчаяньем, как свахой,
Простыни разостланы. — Твоя! —
И обезголосившая Сафо
Плачет, как последняя швея.

Плач безропотности! Плач болотной
Цапли... Водоросли — плач! Глубок

Железнодорожные полотна
Ножницами режущий гудок.

Растекись напрасною зарею,
Красное, напрасное пятно!
... Молодые женщины порою
Льстятся на такое полотно.

10 июля 1923

Ч а с д у ш и

В глубокий час души, ,
В глубокий — нóчи...
(Гигантский шаг души,
Души в нóчи.)

В тот час, душа, верши
Миры, где хочешь
Царить, — чертог души,
Душа, верши.

Ржавь губы, пороши
Ресницы — снегом.
(Атлантский вздох души,
Души — в нóчи...)

В тот час, душа, мрачи
Глаза, где Вегой
Взойдешь... Сладчайший плод,
Душа, горчи.

Горчи и омрачай:
Расти: верши.

8 августа 1923

П и с ь м о

Так писем не ждут,
Так ждут — письмá.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри — словцо,
И счастье.— И это — всё.

Так счастья не ждут,
Так ждут — конца:

Солдатский салют
И в грудь — свинца
Три дольки. В глазах краснó.
И только. — И это — всё.

Не счастья — стара!
Цвет — ветер сдул!
Квадрата двора
И черных дул.

(Квадрата письма:
Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!

Квадрата письма.

11 августа 1923

* * *

Как бы дым твоих ни горек
Труб, глотать его — всё нега!
Оттого что ночью — город —
Опрокинутое небо.

Как бы дел твоих презренных
День ни гол, — в ночи ты — шах!
Звезды страсть свела — на землю!
Картою созвездий — прах.

Гектором иль Бонапартом
Звать тебя? Москва иль Троя?
Звездной и военной картой
Город лег...
Любовь? — Пустое!

Минет? Нищеты надземной
Ставленник, в ночи я — шах!
Небо сведено на землю:
Картою созвездий — прах
Рассыпается...

30 августа 1923

Пражский рыцарь

Блédно-лицый
Страж над плеском века —
Рыцарь, рыцарь,
Стерегающий реку.

(О, найду ль в ней
Мир от губ и рук?!)
Ка-ра-ульный
На посту разлук.

Клятвы, кольца...
Да, но камнем в реку —
Нас-то — сколько
За четыре века!

В воду пропуск
Вольный. Розам — цветы!
Бросил — брошусь!
Вот тебе и мечь!

Не устанем
Мы — доколе страсть есть! —
Мстить мостами.
Широко расправьтесь,

Крылья! В тину,
В пену — как в парчу!
Мбсто-вины
Нынче не плачу!

— «С рокового мосту
Вниз — отважься!»
Я тебе по росту,
Рыцарь пражский.

Сласть ли, грусть ли
В ней — тебе видней.
Рыцарь, стерегуший
Реку — дней.

27 сентября 1923

П о е з д

Не штык — так клык, так-сугроб, так шквал, —
В Бессмертье что час — то поезд!
Пришла и знала одно: вокзал,
Раскладываться не стоит.

На всех, на всё — равнодушьем глаз,
Которым конец — исконность.
О, как естественно — в третий класс
Из душности дамских комнат!

Где от котлет разогретых, щек
Остывших... — Нельзя ли дальше,
Душа? Хотя бы в фонарный сток —
От этой фатальной фальши:

Папильоток, пеленок,
Щипцов каленых,
Волос паленых,
Чепцов, клеенок.
О-де-ко-лонов
Семейных, швейных
Счастлих (kleinwenig!)¹.
Взят ли кофейник? ..
Сушек, подушек, матрон, нянь,
Душности бонн, бань.

Не хочу в этом коробе женских тел
Ждать смертного часа!
Я хочу, чтобы поезд и пил и пел:
Смерть — тоже *вне* класса!

В удаль, в одурь, в гармошку, в насад, в тщету!
— Эти нехристи й льнут же! —
Чтоб какой-нибудь странник: «*На тем свету...*»
Не дождавшись, скажу: лучше! ..

Площадка. — И шпалы. — И крайний куст
В руке. — Отпускаю. — Поздно
Держаться. — Шпалы. — От стóльких уст
Устала. — Гляжу на звезды.

Так через радугу всех планет
Пропавших — считал-то кто их? —
Гляжу и вижу одно: конец.
Раскаиваться не стоит.

6 октября 1923

* * *

Древняя тщета течет по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!

К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу — иль еще куда-нибудь

¹ немножко, чуточку (нем.).

Дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела

Вон — хочу! (В час тупящихся везд
Разве выступаем — из одежд?)

...За потустороннюю границу:
К Стиксу!..

7 октября 1923

* * *

Брожу — не дом же плотничать,
Расположась на росстани!
Так, вопреки полотнищам
Пространств, треклятым простыням

Разлук, с минутным баловнем
Крадясь ночными тайнами,
Тебя под всеми ржавыми
Фонарными кронштайнами —

Краём плаща... За стойками —
Краём стекла... (Хоть краешком
Стекла!) Мертвец настойчивый,
В очах — зачем качаешься?

По набережным — клятв озноб,
По загородам — рифм обвал.
Сжимают ли — «я б жарче сгрѣб»,
Внимают ли — «я б чище внял».

Всѣ ты один, во всех местах,
Во всех местах, на всех мостах.
Моими вздохами — снастят!
Моими клятвами — мостят!

Такая власть над сбивчивым
Числом у лиры любящей,
Что на тебя, небывший мой,
Оглядываюсь — в будущее!

16 октября 1923

* * *

Ты, меня любивший фальшью
Истины — и правдой лжи,
Ты, меня любивший — дальше
Некуда! — За рубежи!

Ты, меня любивший дольше
Времени. — Десницы взмах! —
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

12 декабря 1923

Двое

1

Есть рифмы в мире сём:
Разъединишь — и дрогнет.
Гомер, ты был слепцом.
Ночь — на буграх надбровных,

Ночь — твой рапсодов плащ,
Ночь — на очах — завесой.
Разъединил ли б зрящ
Елену с Ахиллесом?

Елена. Ахиллес.
Звук назови созвучней.
Да, хаосу вразрез
Построен на созвучьях

Мир, и, разъединен,
Мстит (на согласьях строен!)
Неверностями жен
Мстит — и горящей Троей!

Рапсод, ты был слепцом:
Клад рассорил, как рухлядь.
Есть рифмы — в мире том
Подобренные. Рухнет

Сей — разведешь. Чтó нужд
В рифме? Елена, старься!
...Ахеи лучший муж!
Сладостнейшая Спарты!

Лишь шорохом древес
Миртовых, сном кифары:
«Елена: Ахиллес:
Разрозненная пара».

30 июня 1924

2

Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сём.
Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой,
Брачное дело решив мечом.

В братственной ненависти союзной
— Буйволами! — на скалу — скала.
С брачного ложа ушел, неузнан,
И неопознанною — спала.

Порозны! — даже на ложе брачном —
Порозны! — даже сцепясь в кулак —
Порозны! — на языке двузначном —
Поздно и порознь — вот наш брак!

Но и постарше еще обида
Есть: амазонку подмяв, как лев, —
Так разминулися: сын Фетиды
С дочерью Аресовой: Ахиллес

С Пенфезилеей.

О, вспомни — снизу
Взгляд ее! сбитого седока
Взгляд! не с Олимпа уже — из жижи
Взгляд ее, — все ж еще свысока!

Что ж из того, что отсель одна в нем
Ревность: женою урвать у тьмы.
Не суждено, чтобы равный — с равным...
.....

Так разминовываемся — мы.

3

В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю — один
Мне равносилен.

В мире, где столь
Многого хошем,
Знаю — один
Мне равномощен.

В мире, где всё —
Плесень и плюш.
Знаю: один
Ты — равносуш

Мне.

3 июля 1924

Попытка ревности

Как живется Вам с другою? —
Проще ведь? — Удар весла! —
Линией береговую
Скоро ль память отошла

Обо мне, плавучем острове
(По небу — не по водам!)?
Души, души! — быть вам сестрами,
Не любовницами — вам!

Как живется Вам с *простою*
Женщиною? *Без* божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),

Как живется Вам — хлопчется —
Ежится? Встается — как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?

«Судорог да перебоев —
Хватит! Дом себе найму».
Как живется Вам с любою —
Избранному моему!

Свойственнее и съедобнее —
Снедь? Присстся — не пеняй...
Как живется Вам с подобием —
Вам, поправшему Синай!

Как живется Вам с чужою,
Здешнею? Ребром — любя?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?

Как живется Вам — здоровится —
Можется? Поется — как?

С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?

Как живется Вам с товаром
Рыночным? Оброк — крутой?
После мраморов Каррары
Как живется Вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог — и начисто разбит!)
Как живется Вам с стотысячной —
Вам, познавшему Лилит!

Рыночную новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется Вам с земною
Женщиною, без шестых

Чувств?
Ну, за голову; счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли?
Так же ли, как мне с другим?

19 ноября 1924

С о н

Врылась, забылась — и вот как с тысяче-
футовой лестницы без перил.
С хищностью следователя и сыщика
Всё мои тайны — сон перерыл.

Сопки — казалось бы, прочно замерли, —
Не доверяйте смертям страстей!
Зорко — как следователь по камере
Сердца — расхаживает Морфей.

Вы! Собирательное убожество!
Не обрывающиеся с крыш!
Знали бы, как, на перинах лёжачи,
Преображаешься и паришь!

Рухаешь! Как скорлупою треснувшей —
Жизнь с ее грузом мужей и жен.
Зорко — как летчик над вражьей местностью
Спящую — над душою сон.

Тело, что все свои двери заперло —
Тщетно! — Уж ядра поют вдоль жил.
С точностью сбирра и оператора
Всё мои раны — сон перерыл!

Вскрыта! Ни шёлки в райке, под куполом,
Где бы укрыться от вещей глаз
Собственных. Духовником подкупленным
Всё мои тайны — сон перетряс!

24 ноября 1924

Приметы

Точно гору несла в подоле —
Всего тела боль!
Я любовь узнаю по боли
Всего тела вдоль.

Точно поле во мне разъяли
Для любой грозы.
Я любовь узнаю по дали
Всех и вся вблизи.

Точно нóру во мне прорыли
До основ, где смоль.
Я любовь узнаю по жиле,
Всего тела вдоль

Стонущей. Сквозняком как гривой
Овеаясь, гуни:
Я любовь узнаю по срыву
Самых верных струн

Горловых, — горловых ущелий
Ржавь, живая соль.
Я любовь узнаю по щели,
Нет! — по трели
Всего тела вдоль!

29 ноября 1924

Жизни

1

Не возьмешь моего румянца —
Сильного — как разливы рек!
Ты — охотник, но я не дамся,
Ты — погоня, но я есмь бег.

Не возьмешь мою душу живу!
Тáк, на полном скаку погонь —
Пригибающийся — и жилу
Перекусывающий конь

Аравийский.

25 декабря 1924

2

Не возьмешь мою душу живу,
Не дающуюся, как пух.
Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, —
Безошибочен певчий слух!

Не задумана старожилom!
Отпусти к берегам чужим!
Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром.
Жизнь: держи его! жизнь: нажм.

Жестокí у ножных костяшек
Кольца, в кость проникает ржа!
Жизнь: ножи, на которых пляшет
Любящая.

— Заждалась ножа!

28 декабря 1924

Крестины

Воды не перетеплil
В чану, зазнобил — как надобно —
Тот поп, что меня крестил.
В ковше плоскодонном свадебном

Вина не пересластил —
Душа да не шутит брашнами! —
Тот поп, что меня крестил
На трудное дело брачное:

Тот поп, что меня венчал.
(Ожжась, поняла танцовщица,
Что сок твоего, Анчар,
Плода в плоскодонном ковшике

Вкусила...)

— На вечный пыл

В печи смоляной поэтовой

Крестил — кто меня крестил
Водю неподогретою

Речною, — на свыше сил
Дела, не вершимы женами, —
Крестил — кто меня крестил
Бедю неподслащенною:

Беспримесным тем вином.
Когда поперхнусь — напомните!
Каким опалюсь огнем?
Всё страсти водою комнатной

Мне кажутся. Трижды прав
Тот поп, что меня обкарнывал.
Каких убоюсь отрав?
Всё яды — водою отварною

Мне чудятся. Чтó мне Рок
С его родовыми страхами —
Раз собственные, вдоль щек,
Мне слезы — водою сахарной!

А ты, что меня крестил
Водю исступленной Савловой
(Так Савл, занеся костыль,
Забывчивых останавливал), —

Молись, чтоб тебя простил —
Бог.

1 января 1925

* * *

Жив, а не умер
Демон во мне!
В теле — как в трюме,
В себе — как в тюрьме.

Мир — это стены.
Выход — топор.
(«Мир — это сцена», —
Лепечет актер.)

И не слукавил,
Шут колченогий.
В теле — как в славе,
В теле — как в тоге.

Многие лета!
Жив — дорожи!
(Только поэты
В кості — как во лжи!)

Нет, не гулять нам,
Певчая братья,
В теле, как в ватном
Отчем халате.

Лучшего стоим.
Чахнем в тепле.
В теле — как в стойле,
В себе — как в котле.

Бренных не копим
Великолепий.
В теле — как в топи,
В теле — как в склепе,

В теле — как в крайней
Ссылке. — Зачах!
В теле — как в тайне,
В висках — как в тисках

Маски железной.

5 января 1925

* * *

Существования котловиною
Задавленная, в столбняке глушизи,
Погребенная заживо под лавиною
Дней — как каторгу избываю жизнь.

Гробовое, глухое мое зимовье.
Смерти: инея на уста-краснѣ —
Никакого иного себе здоровья
Не желаю от Бога и от весны.

11 января 1925

* * *

Что, Муза моя? Жива ли еще?
Так узник стучит к товарищу
В слух, в ямку, перстом продолбленную.
— Что, Муза моя? Надолго ли ей?

Соседки, сердцами спутанные.
Тюремное перестукиванье,

Что, Муза моя? Жива ли еще?
Глазами, не зная желаящими,
Усмешкою правду кроющими,
Соседскими, справа-коечными:

— Что, братец? Часочек выиграли?
Больничное перемигиванье.

Эх, дело мое! Эх, марлевое!
Так небо боев над армиями,
Зарницами вкось исчёрканное,
Ресничное пересвёркиванье.

В воронке дымка рассеянного —
Солдатское пересмеиванье.

Ну, Муза моя! Хоть рифму еще!
Щекой — Илионом вспыхнувшей
К щеке: «Не крушись! Расковывает
Смерть — узы мои! До скорого ведь?»

Предсмертного ложа свадебного —
Последнее перетрагиванье.

15 января 1925

* * *

Не колесо громовбе —
Взглядами перекинулись двое.

Не Вавилон обрушен —
Силою переведались души.

Не ураган на Тихом —
Стрелами перекинулись скифы.

16 января 1925

* * *

В седину — висок,
В колею — солдат,
— Небо! — морем в тебя окрашиваюсь.
Как на каждый слог —

Что на тайный взгляд —
Оборачиваюсь,
Охорашиваюсь.
В перестрелку — скиф,
В христопляску — хлыст,
— More! — небом в тебя отваживаюсь.
Как на каждый стих —
Что на тайный свист
Останавливаюсь,
Настораживаюсь.

В каждой строчке: стой!
В каждой точке — клад.
— Око! — светом в тебя расслаиваюсь,
Расхожусь. Тоской
На гитарный лад
Перестраиваюсь,
Перекраиваюсь.

Не в пуху — в пере
Лебедином — брак!
Браки разные есть, разные есть!
Как на знак тире —
Что на тайный знак
Брови вздрагивают —
Заподазриваешь?

Не в чаю спитом
Славы — дух мой креп.
И казна моя — немалая есть!
Под твоим перстом —
Что Господень хлеб,
Перемальваюсь,
Переламываюсь.

22 января 1925

* * *

Дней сползающие слизи,
...Строк подённая швея...
Что до собственной мне жизни?
Не моя, раз не твоя.

И до бед мне мало дела
Собственных... — Еда? Спатьё?
Что до смертного мне тела?
Не мое, раз не твое.

Январь 1925

* * *

Б. Пастернаку

Рас-стояние: вёрсты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели,
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: вёрсты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий...
Не рассурили — рассорили,
Расслоили...

Стена да ров.
Расселили нас, как орлов-

Заговорщиков: вёрсты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.

Который уж — ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!

24 марта 1925

* * *

Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба за́стится...
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на́ сердце...

Ты, в погудке дождей и бед —
То ж, что Гомер в гексаметре.
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты.

7 мая 1925

Вшеноры





1926—1936

* * *

Тише, хвала!
Дверью не хлопать,
Слава!

Стола
Угол — и локоть.

Сутолочь, стоп!
Сердце, уймись!
Локоть — и лоб.
Локоть — и мысль.

Юность — любить,
Старость — погреться:
Некогда — *быть*,
Некуда деться.

Хоть бы закут —
Только без прочих!
Краны — текут,
Стулья — грохочут,

Рты говорят:
Кашей во рту
Благодарят
«За красоту».

Знали бы вы,
Ближний и дальний,

Как головы
Собственной жаль мне —

Бога в орде!
Степь — каземат —
Рай — это где
He говорят!

Юбочник — скот,
Лавочник — частность!
Богом мне — тот
Будет, кто даст мне

— Не временей!
Дни сочтены! —
Для тишины —
Четыре стены.

26 января 1926
Париж

«Памяти Сергея Есенина»

... И не жалость — мало жил,
И не горечь — мало дал, —
Много жил — кто в *наши* жил
Дни, всё дал — кто песню дал.

Январь 1926

Разговор с Гением

Глыбами — лбу
Лавры похвал.
«Петь не могу!»
— «Будешь!» — «Пропал,

(На толокно
Переводи!)
Как молоко,
Звук из груди.

Пусто. Сухá.
В полную веснь —
Чувство сукá».
— «Старая песнь!

Брось, не морочь!»
«Лучше мне впредь —

Камень толочь!»
— «Тут-то и петь!»

«Что я, снегирь,
Чтоб день-деньской
Петь?»
— «Не моги,
Пташка, а пой!»

Нáзло врагу!»
«Коли двух строк
Свесть не могу?»
— «Кто когда — *мог?!*» —

«Пытка!» — «Терпи!»
«Скошенный луг —
Глотка!» — «Хрипи:
Тоже ведь — звук!»

«Львов, а не жён
Дело». — «*Детей:*
Распотрошён —
Пел же — Орфей!»

«Так и в гробу?»
— «И под доской».
«*Петь* не могу!»
— «*Это* воспой!»

4 июня 1928
Медон

Н а я д а

Проходи стороной,
Тело вольное, рыбе!
Между мной и волной,
Между грудью и зыбью —

Третье, злостная грань
Дружбе гордой и голой:
Стопудовая дань
Пустяковине: полу.

Узнаю тебя, клин,
Как тебя ни зови:
В море — ткань, в поле — тын,
Вечный третий в любви!

Мало — злобе людской
Права каменных камер?
Мало — деве морской
Моря трепетной ткани?

Океана-Отца
Неизбывных достатков —
Пены — чудо-чепца?
Вала — чудо-палатки?

Узнаю тебя, гад,
Как тебя ни зови:
В море — ткань, в горе — взгляд, —
Вечный третий в любви!

Как приму тебя, бой,
Мне даваемый глубиью,
Раз меж мной и волной,
Между грудью — и грудью...

— Нереида! — Волна!
Ничего нам не надо,
Что не я, не она,
Не волна, не наяда!

Узнаю тебя, гроб,
Как тебя ни зови:
В вере — храм, в храме — поп, —
Вечный третий в любви!

Хлебопёк, кочегар, —
Брак без третьего между!
Прячут жир (горе бар!),
Чистым — нету одежды!

Черноморских чубов:
— Братцы, голые топай! —
Голым в хлядь и в любовь,
Как бойцы Перекопа —

В бой...

Матросских сосков
Рябь. — «Товарищ, живи!»
...В пулю — шлем, в бурю — кров:
Вечный третий в любви!

Побережья бродяг,
Клятвы без аналогов!
Как вступлю в тебя, брак,
Раз меж мною — и мною ж —

Что? Да нос на тени,
Соглядатай извечный —
(Свой же). Всё, что бы ни —
Что? Да всё, если нечто!

Узнаю тебя, бис,
Как тебя ни зови:
Нынче — нос, завтра — мыс,—
Вечный третий в любви!

Горделивая мать
Над цветущим отростком,
Торопись умирать!
Завтра — третий вотрется!

Узнаю тебя, смерть,
Как тебя ни зови:
В сыне — рост, в сливе — червь:
Вечный третий в любви.

1 августа 1928

Понтайяк

Плач матери по новобранцу

Уж вы, батальоны —
Эскадроны!
Сынок порожённый,
Бе-ре-жёный!

Уж ты по младенцу-
Новобранцу —
Слеза деревенска,
Океанска!

В который раз вспóрот
Живот — мало!
Сколько б вас, Егорок,
Ни рожала, —

Мало! *Мои* сучья!
Крóвь чья? Сóль чья?
Мало! Мала куча:
Больше! Больше!

Хоша б целый город
Склала — живы!
Сколько б вас, Егорок,
Ни ложила —

В землю. Большеротый,
Башка — вербой
Вьется. Людям — сотый,
А мне — первый!

Теки, мои соки,
Брега — через!
Сосцы пересохла —
Очам — черед!

Ревя, долговласа,
По армейцу!
Млецом отлилася —
Слезой лейся!

1928

Л у ч и н а

До Эйфелевой — рукою
Податы! Подавай и лезь.
Но каждый из нас — такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что кушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?»

Июнь 1931

Стихи к Пушкину

1

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен,
Пушкин — в роли монумента?
Гостя каменного? — он,

Скалозубый, нагловзорый
Пушкин — в роли Командора?

Критик — ноя, нытик — вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство — моря
Позабыли — о пранит

Бьющегося? Тот, соленый
Пушкин — в роли лексикона?

Две ноги свои — погреться —
Вытянувший и на стол
Вспрыгнувший при самодержце
Африканский самовол —

Наших прадедов умора —
Пушкин — в роли гувернера?

Черного не перекрасить
В белого — неисправим!
Недурён российский классик,
Небо Африки — своим

Звавший, невяское — проклятым.
— Пушкин — в роли русопята?

Ох, брадатые авгуры!
Задал, задал бы вам бал
Тот, кто царскую цензуру
Только с дурой рифмовал,

А «Европы вестник» — с...
Пушкин — в роли гробокопа?

К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и *смуглее*
До сих пор на свете всем,

Всех живучей и живее!
Пушкин — в роли мавзолея?

То-то к пушкинским избушкам
Лепитесь, что сами — хлам!
Как из душа! Как из пушки —
Пушкиным — по соловьям

Слѳва, соколѳм полета!
— Пушкин — в роли пулемета!

Уши лопнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фронт!»
А куда девали пѳкло
Губ, куда девали — бунт

Пушкинский? уст окаянство?
Пушкин — в меру пушкипьянца!

Томики поставив в шкафчик —
Посмешаете ж его,
Беженство свое смешавши
С белым бешенством его!

Белокровье мозга, морга
Синь — с оскалом негра, горло
Кажущим...

Поскакал бы, Всадник Медный,
Он со всех копыт — назад.
Трусоват был Ваня бедный,
Ну, а он — не трусоват.

Сей, глядевший во все страны —
В роли собственной Татьяны?

Что вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеим

Низостию двуединой
Золота и середины?

«Пушкин — тога, Пушкин — схима,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань

Площадную — попугай.

— Пушкин? Очень испугали!

1931

2

Петр и Пушкин

Не флотом, не потом, не задом
В заплатах, не Шведом у ног,
Не ростом — из всякого ряду,
Не сносом — всего, чему, срок, —

Не лотом, не ботом, не пивом.
Немецким сквозь кнастеров дым,
И даже и не Петро-дивом.
Своим (Петро-делом своим!).

И бóльшего было бы мало
(Бог дал, человек не обузь!),
Когда б не привез Ганнибала-
Арапа на белую Русь.

Сего афричонка в науку
Взяв, всем россиянам носы
Утер и наставил, — от внука-
то *негрского* — свет на Руси!

Уж он бы вертлявого — в струнку
Не стал бы! — «На волю? Изволь!
Такой же ты камерный юнкер, —
Как я — машкерадный король!»

Поняв, что ни пеной, ни пемзой —
Той Африки, — царь-грамотей
Решил бы: «Отныне я — цензор
Твоих африканских страстей».

И дав бы ему по загривку
Курчавому (стричь — не остричь!):
— Иди-ка, сынок, на побывку
В свою африканскую дичь!

Плыви — ни об чем не печалься!
Чай, есть в паруса кому дуть!
Соскучишься — так ворочайся,
А нет — хошь и дверь позабудь!

Приказ: ледяные туманы
Покинув — за пядию пядь
Обследовать жаркие страны
И виршами нам описать. —

И мимо наставленной свиты,
Отставленной — прямо на склад,
Гигант, отпустивши пияту,
Помчал — по земле или *над?*

Сей, не по снегам смуглолицый
Российским — снегов Измаил!
Уж он бы заморскую птицу
Архивами не заморил!

Сей, не по кровям торопливый
Славянским, сей *тоже* — метис!
Уж ты б у него по архивам
Отечественным не закис!

Уж он бы с тобою — поладил!
За непринужденный поклон
Разжалованный — Николаем,
Пожалованный бы — Петром!

Уж он бы жандармского сыска
Не крыл бы «отечеством чувств»!
Уж он бы тебе — василиска
Взгляд! — не замораживал уст.

Уж он бы полтавских не комкал
Концов, не тупил бы пера.
За что недостойным потомком —
Подонком — опенком Петра

Был сослан в румынскую область,
Да ею б — пожалован был
Сим — так ненавидевшим робость
Мужскую, — что сына убил

Сробевшего. — «Эта мякина —
Я? — Вот и роди! и расти!» .
Был *негр* ему истинным сыном,
Так истинным правнуком — ты

Останешься. Заговор равных.
И вот, не спросясь повитух,
Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух.

И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд, коим поныне светла . . .
Последний — посмертный — бессмертный
Подарок России — Петра.

2 июля 1931

3

Станок

Вся его наука —
Мощь. Светло — гляжу.
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.

Прадеду — товарка:
В той же мастерской!

Каждая помарка —
Как своей рукой.

Вольному — под стопки?
Мне, в котле чудес
Сём — открытой скобки
Ведающей — вес,

Мнящейся описки —
Смысл, короче — всё.
Ибо нету сыска
Пуще, чем родство!

Пелось как — поется
И поныне — так.
Знаем, как «дается»!
Над тобой, «пустяк»,

Знаем — как потелось!
От тебя, мазок,
Знаю — как хотелось
В лес — на бал — в возок...

И как — спать хотелось!
Над цветком любви —
Знаю, как скрипелось
Негрскими зубьями!

Перья на востроты —
Знаю, как чинил!
Пальцы не просохли
От его чернил!

А зато — меж талых
Свеч, картежных сеч —
Знаю — как стрясалось!
От зеркал, от плеч

Голых, от бокалов
Битых на полу —
Знаю, как бежалось
К голому столу!

В битву без злодейства:
Самого — с самим!
— Пушкиным не бейте!
Ибо бью вас — им!

1931

Преодоление
Косности русской —
Пушкинский гений?
Пушкинский мускул

На кашалотей
Туше судьбы —
Мускул полета,
Бега,
Борьбы.

С утренней негой
Бившийся — бодро!
Ровного бега,
Долгого хода —
Мускул. Побегов
Мускул степных,
Шлюпки, что к берегу
Тщится сквозь вихрь.

Не онедужен
Русскою кровью —
О, не верблюжья
И не воловья
Жила (усердство
Из-под ремня!) —
Конского сердца
Мышца — моя!

Больше балласту —
Краше осанка!
Мускул гимнаста
И арестанта,
Что на канате
Собственных жил
Из каземата —
Соколом взмыл!

Пушкин, с монарших
Рук руководством
Бившийся так же
Насмерть — как бьется

(Мощь — прибывала,
Сила — росла)
С мускулом вала
Мускул весла.

Кто-то, на фуру
Несший: «Атлета
Мускулатура,
А не поэта!»

То — серафима
Сила — была:
Несокрушимый
Мускул — крыла.

10 июля 1931

Поэт и царь

1 (5)

Потусторонним
Залом царей.
— А непреклонный
Мраморный сей?

Столь величавый
В золоте барм.
— Пушкинской славы
Жалкий жандарм.

Автора — хаял,
Рукопись — стриг.
Польского края
Зверский мясник.

Зорче взгляди! :
Не забывай:
Певцоубийца
Царь Николай
Первый.

2 (6)

Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили:
То зубы царёвы над мертвым певцом
Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям —
Нет места. В изглавы, в изножья,
И справа, и слева — ручищи по швам —
Жандармские груди и рожки.

Не диво ли — и на тишайшем из лож
Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почет сей, почетно — да слишком!

Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,
Монарх о поэте печется!
Почетно — почетно — почетно — архи-
Почетно, — почетно — до чёрту!

Кого ж это так — точно воры ворá
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —
Умнейшего мужа России.

19 июля 1931

Медон

Ода пешему ходу

1

В век сплошных скоропадских,
Роковых скоростей —
Слава стойкому братству
Пешехожих ступней!

Всеутёсно, всерошно,
Пряником, без дорог,
Обивающих мощно
Лишь природы — порог,

Дерзко попранный веком.
(В век турбин и динам
Только жить, что калекам!)
... Но и мстящей же вам

За рекламные клейма
На вскормившую грудь.
— Нет, безногое племя,
Даль — ногами добудь!

Слава толстым подметкам,
Сапогам на гвоздях,
Ходокам, скороходкам —
Божествам в сапогах!

Если есть в мире — ода
Богу сил, Богу гор —

Это взгляд пешехода
На застрявший мотор.

Сей ухмыл в пол-аршина,
Просто — шире лица:
Пешехода на шину
Взгляд — что лопается!

Поглядите на чванством
Распираемый торс!
Паразиты пространства,
Алкоголики верст —

Что сквозь пыльную тучу
Рукоплещущих толп
Расшибаются.
— Случай?
— Дури собственной — столб.

3

Дармоедством пресытись,
С шины — спешится внук.
Пешеходы! Держитесь —
Ног, как праотцы — фук.

Где предел для резины —
Там простор для ноги.
Не хватает бензину?
Вздоху — хватит в груди!

Как поток жаждет прага,
Так восторг жаждет — трат.
Ничему, кроме шага,
Не учите ребят!

По ручьям, по моренам,
Дальше — нет! Дальше — стой!
Чтобы Альпы — коленом
Знал, саванны — ступней.

Я костями, други, лягу —
За раскрытие школ!
Чтоб от первого шага
До последнего — шел

Внук мой! отпрыск мой! мускул,
Посрамивший Аид!

Чтобы в царстве моллюсков —
На своих на двоих!

26 августа 1931 — 30 марта 1933

Медон

Д о м

Из-под нахмуренных бровей
Дом — будто юности моей
День, будто молодость моя
Меня встречает: — Здравствуй, я!

Так самочувственно-знаком
Лоб, прячущийся под плащом
Плюща, срастающийся с ним,
Смущающийся быть большим.

Недаром я — грузи! вези! —
В непросыхающей грязи
Мне предоставленных трущоб
Фронтоном чувствовала лоб.

Аполлонический подъем
Музейного фронтона — лбом

Своим. От улицы вдали
Я за стихами кончу дни —
Как за ветвями бузины.

Глаза — без всякого тепла:
То зелень старого стекла,
Сто лет глядящегося в сад,
Пустующий — сто пятьдесят.

Стекла, дремучего, как сон,
Окна, единственный закон
Которого: гостей не ждать,
Прохожего не отражать.

Не сдавшиеся злобе дня
Глаза, оставшиеся — да! —
Зерцалами самих себя.

Из-под нахмуренных бровей —
О, зелень юности моей!
Та — риз моих, та — бус моих,
Та — глаз моих, та — слез моих...

Меж обступающих громад —
Дом — пережиток, дом — магнат,
Скрывающийся среди лип.
Девический дагерротип
Души моей . . .

6 сентября 1931

Медон

* * *

— Не нужен твой стих —
Как бабушкин сон.
— А мы для *иных*
Сновидим времен.

— Докучен твой стих —
Как дедушкин вздох.
— А мы для *иных*
Дозорим эпох.

— В пять лет — целый свет —
Вот сон наш каков!
— Ваш — на пять лишь лет,
Мой — на пять веков.

— Иди, куда дни!
— Дни *мимо* идут . . .

А быть или нет
Стихам на Руси —
Потоки спроси,
Потомков спроси.

14 сентября 1931

Стихи к сыну

1

Ни к городу и ни к селу —
Езжай, мой сын, в свою страну. —
В край — всем краям наоборот!
Куда *назад* идти — *вперед*
Идти, — особенно — тебе,
Руси не видывавшее

Дитя мое... Мое? Ее —
Дитя! То самое былье,
Которым порастает быль.
Землицу, стершуюся в пыль, —
Ужель ребенку в колыбель
Нести в трясущихся горстях:
«Русь — это прах, чти — этот прах!»

От неиспытанных утрат —
Иди — куда глаза глядят!
Всех стран — глаза, со всей земли —
Глаза, — и синие твои
Глаза, в которые гляжусь:
В глаза, глядящие на Русь.

Да не поклонимся словам!
Русь — прадедам, Россия — нам,
Вам — просветители пещер —
Призывное: СССР, —
Не менее во тьме небес
Призывное, чем: SOS.

Нас родина не позовет!
Езжай, мой сын, домой — вперед —
В *свой* край, в *свой* век, в *свой* час, — от нас —
В Россию — вас, в Россию — масс,
В *наш*-час — страну! в *сей*-час — страну!
В на-Март — страну! в без-нас — страну!

Январь 1932

2

Наша совесть — не ваша совесть!
Полно! — Вольно! — О всем забыв,
Дети, сами пишите повесть
Дней своих и страстей своих.

Соляное семейство Лота —
Вот семейственный ваш альбом!
Дети! Сами сводите счета
С выдаваемым за Содом —

Градом. С братом своим не дравшись —
Дело чисто твое, кудряш!
Ваш край, *ваш* век, *ваш* день, *ваш* час,
Наш грех, *наш* крест, *наш* спор, *наш* —

Гнев. В сиротские пелеринки
Облаченные отродясь —
Перестаньте справлять поминки
По Эдему, в котором вас

Не было! по плодам — и видом
Не видали! Поймите: слеп —
Вас ведущий на панихиду
По народу, который хлеб

Ест и вам его даст, — как скоро
Из Мёдона — да на Кубань.
Наша ссора — не ваша ссора!
Дети! Сами творите брань
Дней своих.
Январь 1932

3

Не быть тебе нулем
Из молодых — да вредным!
Ни медным королем,
Ни по́просту — спортсмедным

Лбом, ни слепцом путей,
Коптителем кают,
Ни парой челюстей,
Которые жуют,

В сём полагая цель.
Ибо — в любую щель —
Я с моим ветром буйным!
Не быть тебе буржуем.

Ни галльским петухом,
Хвост заложившим в банке,
Ни томным женихом
Седой американки, —

Нет, ни одним из тех,
Дописанных, как лист,
Которым — только смех
Остался, только свист

Достался от отцов!
С той стороны весов
Я — с черноземным грузом!
Не быть тебе французом.

Но так же — ни одним
Из нас — досадных внукам!
Кем будешь — Бог один...
Не будешь кем — порукой —

Я, что в тебя — всю Русь
Вкачала — как насосом!
Бог видит — побожусь! —
Не будешь ты отбросом

Страны своей.

22 января 1932

Родина

О неподатливый язык!
Чего бы попросту — мужик,
Пойми, певал и до меня:
— Россия, родина моя!

Но и с калужского холма
Мне открывалась она —
Даль, — тридевятая земля!
Чужбина, родина моя!

Даль, прирожденная, как боль,
Настолько родина и столь —
Рок, что повсюду, через всю
Даль — всю ее с собой несую!

Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись
Домой!»

Со всех — до горних звёзд —
Меня снимающая мест!

Недаром, голубей воды,
Я далью обдавала лбы.

Ты! Сей руки своей лишусь —
Хоть двух! Губами подпишусь
На плахе: распрь моих земля —
Гордыня, родина моя!

12 мая 1932

Над вороным утесом —
Белой зари рукав.
Ногу — уже с заносом
Бега — с трудом вкопав

В землю, смеясь, что первой
Встала, в зари венце, —
Макс, мне было так *верно*
Ждать на твоём крыльце!

Позже, отвесным полднем,
Под колокольцы коз,
С всхолмья да на всхолмье,
С глыбы да на утес,

По трехсаженным креслам, —
Тропам иных эпох! —
Макс, мне было так *лестно*
Лезть за тобою — Бог

Знает куда. Да, виды
Видящим — путь скалист.
С глыбы на пирамиду,
С рыбы — на обелиск...

Ну, а потом на плоской
Вышке — орлы вокруг —
Макс, мне было так *просто*
Есть у тебя из фук,

Божьих или медвежьих,
Опережавших «дай»,
Рук неизменно-бережных,
За воспаленный край

Раны умевших братья
В веры сплошном луче.
Макс, мне было так *братски*
Спать на твоём плече!

Горы... Себе на горе
Видится мне одно
Место: с него — два моря
Были видны по дно

Бездны... Два моря сразу.
Дщери иной поры,

Кто вам свои два глаза
Преподнесет с горы?

Только теперь, в подполье,
Вижу, — когда потух
Свет — до чего мне *вольно*
Было в объёме двух

Рук твоих. В первых встречных
Царстве — и сам суди,
Макс, до чего мне *вечно*
Было в твоей груди!

Пусть ни единой травки, —
Площе, чем на столе, —
Макс, мне будет так *мягко*
Спать на твоей скале.

28 октября 1932

Кламар

* * *

Никуда не уехали — ты да я —
Обернулись прорезами — все моря!
Совладельцам пятерки рваной —
Океаны не по карману!

Нищеты вековечная сухомьять!
Снова лето, как корку, всухую мять!
Обернулось нам море — мелью:
Наше лето — другие съели!

С жиру лопающиеся: жир — их «лоск»,
Что не только что масло едят, а мозг
Наш — в поэмах, в сонатах, в сводах:
Людоеды в парижских модах!

Нами лакомящиеся: франк — за вход.
О, урод, как водой туалетной — рот
Сполоснувший — бессмертной песней!
Будьте прокляты вы — за весь мой

Стыд: вам руку жать, когда зуд в горсти, —
Пятью пальцами — да от всех пяти
Чувств — на память о чувствах добрых —
Через всё вам лицо — автограф!

1932 — лето 1935

Фавьер

Стол

1

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам.

Мой письменный выючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грёз —
Спасибо — что нес и нес.

Строжайшее из зеркал!
Спасибо за то, что стал
(Соблазнам мирским порог)
Всем радостям поперек,

Всем низостям — наотрез!
Дубовый противовес
Льву ненависти, слону
Обиды — всему, всему.

Мой заживо смертный тес!
Спасибо, что рос и рос
Со мною, по мере дел
Настольных — большал, ширел,

Так ширился, до широт —
Таких, что, раскрывши рот,
Схватясь за столовый кант...
— Меня заливал, как шtrand!

К себе пригвоздив чуть свет —
Спасибо за то, что — вслед
Срывался! На всех путях
Меня настигал, как шах —

Беглянку.
— Назад, на стул!
Спасибо за то, что блюл
И гнул. У невечных благ
Меня отбивал — как маг —

Сомнамбулу.
Бить рубцы,
Стол, выстроивший в столбцы

Горящие: жил багрец!
Деяний моих столбец!

Столп столпника, уст затвор —
Ты был мне престол, простор —
Тем был мне, что морю толп
Еврейских — горящий столп!

Так будь же благословен —
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, — как пила
В грудь ввевшийся — край стола!

Июль 1933

4

Обидел и обошел?
Спасибо за то, что — стол
Дал, стойкий, врагам на страх —
Стол — на четырех ногах

Упорства. Скорей — скалу
Своротись! И лоб — к столу
Подстатный, и локоть *под* —
Чтоб лоб свой держать, как свод.

— А прочего дал в обрез?
А прочный — во весь мой *вес*,
Просторный — во весь мой бег,
Стол — вечный — на весь мой век!

Спасибо тебе, Столяр,
За доску — во весь мой дар,
За ножки — прочней химер
Парижских, за вещь — в размер.

5

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать — столом,
Остался — живым стволом!

С листвы молодой ипррой
Над бровью, с живой корой,
С слезами *живой* смолы,
С корнями до дна земли!

17 июля 1933

Квиты: вами я объедена,
 Мною — живописаны.
 Вас положат — на обеденный,
 А меня — на письменный.

Оттого что, йотой счастлива,
 Яств иных не ведала.
 Оттого что слишком часто вы,
 Долго вы обедали.

Всяк на выбранном заранее —
 Много до рождения! —
 Месте своего деяния,
 Своего радения:

Вы — с отрыжками, я — с книжками,
 С трюфелем, я — с грифелем,
 Вы — с оливками; я — с рифмами,
 С пикулем, я — с дактилем.

В головах — свечами смертными —
 Спаржа толстоногая.
 Полосатая десертная
 Скатерть вам — дорогою!

Табачку пыхнем гаванского
 Слева вам — и справа вам.
 Полотняная голландская
 Скатерть вам — да саваном!

А чтоб скатертью не тратиться —
 В яму, место низкое,
 Вытряхнут вас всех со скатерти:
 С крошками, с огрызками.

Каплуном-то вместо голубя
 — Порх! — душа — при вскрытии.
 А меня положат — голуую:
 Два крыла прикрытием.

1933

* * *

Вскрыла жилы: неостановимо,
 Невосстановимо хлещет жизнь.
 Подставляйте миски и тарелки!
 Всякая тарелка будет — мелкой,

Миска — плоской.
Через край — и мимо —
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

6 января 1934

Куст

1

Что нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня
Которую — голову прячу

В него же (седей — день от дня!).
Сей мощи, и плещи, и гуши —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей!

А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,

Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустий!
Что, полная чаша куста,
Находишь на сем — месте пусте?

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?

А вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу, —
Да разве я *тó* говорю,
Что знала, пока не раскрыла

Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки...
И снова, во всей полноте
Знать буду, как только умолкну.

А мне от куста — не шуми
 Минуточку, мир человеческий! —
 А мне от куста — тишины:
 Той, — между молчаньем и речью,

Той, — можешь — ничем, можешь — **всем**
 Назвать: глубока, неизбывна.
 Невнятности! наших поэм
 Посмертных — невнятицы дивной.

Невнятицы старых садов,
 Невнятицы музыки новой,
 Невнятицы первых слогов,
 Невнятицы Фауста Второго.

Той — *до* всего, *после* всего.
 Гул множеств, идущих на форум.
 Ну — шума ушного того,
 Всё соединилось в котором.

Как будто бы все кувшины
 Востока — на лобное всхолмье.
 Такой от куста тишины,
 Полнее не выразишь: полной.

Около 20 августа 1934

* * *

Уединение: уйди
 В себя, как прадеды в феоды.
 Уединение: в груди
 Ищи и находи свободу.

Чтоб ни души, чтоб ни ноги —
 На свете нет такого саду
 Уединению. В груди
 Ищи и находи прохладу.

Кто победил на площади —
 Про то не думай и не ведай.
 В уединении груди —
 Справляй и погребай победу.

Уединение в груди.
Уединение: уйди,
Жизнь!

Сентябрь 1934

С а д

За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет.

На старость лет,
На старость бед:
Рабочих — лет,
Горбатых — лет...

На старость лет
Собачьих — клад:
Горячих лет —
Прохладный сад...

Для беглеца
Мне сад пошли:
Без ни — лица,
Без ни — души!

Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!

Без ни-ушка
Мне сад пошли:
Без *ни-душкá!*
Без ни-души!

Скажи: — Довольно мýки — нá
Сад, одинокий, как сама.
(Но около и сам не стань!)
Сад, одинокий, как я сам.

Такой мне сад на старость лет..
— Тот сад? А может быть — тот свет? —
На старость лет моих пошли —
На отпущение души.

1 октября 1934

Челюскинцы

Челюскинцы! Звук —
Как сжатые челюсти.
Мороз из них прет,
Медведь из них шерится.

И впрямь челюстями
— На славу всемирную —
Из льдин челюстей
Товарищей вырвали!

На льдине (не то,
Что — чёрт его! — Нобиле!)
Родили — дитё,
И псов не угробили —

На льдине!
Эол
Доносит по кабелю:
— На льдов произвол
Ни пса не оставили!

И спасши — мечта
Для младшего возраста! —
И псов, и дитя
Умчали по воздуху.

— «Европа, глядишь?
Так льды у нас колются!»
Щекастый малыш,
Спеленутый — полюсом!

А рядом — сердит
На грóмы виктории —
Второй уже Шмидт
В российской истории:

Седыми бровями
Стесненная ласковость...
Сегодня — смеюсь!
Сегодня — да здравствует

Советский Союз!
За вас каждым мускулом
Держусь — и горжусь:
Челюскинцы — русские!

3 октября 1934

* * *

Рябину
Рубили
Зорькою.
Рябина —
Судьбина
Горькая.
Рябина —
Седыми
Спусками...
Рябина!
Судьбина
Русская.

1934

* * *

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где — совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц ошетиливаться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тшусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично, на каком
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн
Глотателем, доильцем сплетен...)
Двадцатого столетья — он,
А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне всё — равны, мне всё — равно,
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты — как рукой сняло:
Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей — поперек!
Родимого пятна *не* сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина...

1934

Надгробие

1

«Иду на несколько минут...»
В работе (хаосом зовут
Бездельники) оставив стол,
Отставив стул — куда ушел?

Опрашиваю весь Париж.
Ведь в сказках лишь да в красках лишь
Возносятся на небеса!
Твоя душа — куда ушла?

В шкафу — двустворчатом, как храм, —
Гляди: все книги по местам.
В строке — все буквы налицо.
Твое лицо — куда ушло?

Твое лицо,
Твое тепло,
Твое плечо —
Куда ушло?

3 января 1935

За то, что некогда, юн и смел,
 Не дал мне заживо сгнуть меж тел
 Бездушных, замертво пасть меж стен, —
 Не дам тебе — умереть совсем!

За то, что за руку, свеж и чист,
 На волю вывел, весенний лист —
 Вязанками приносил мне в дом! —
 Не дам тебе — порастить быльем!

За то, что первых моих седин
 Сыновней гордостью встретил — чин,
 Ребячьей радостью встретил — страх, —
 Не дам тебе — поседеть в сердцах!

7—8 января 1935

* * *

Есть счастливицы и счастливицы,
 Петь *не* могущие. Им —
 Слезы лить! Как сладко вылиться
 Горю — ливнем проливным!

Чтоб под камнем что-то дрогнуло. —
 Мне ж — призвание как плеть —
 Меж стенания надгробного
 Долг повелевает — петь.

Пел же над другом своим Давид,
 Хоть пополам расколот!
 Если б Орфей не сошел в Аид
 Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,
 Сам у порога *лишним*
 Встав, — Эвридика бы по нему
 Как по канату вышла...

Как по канату и как на свет,
 Слепо и без возврата.
 Ибо раз *голос* тебе, поэт,
 Дан, остальное — взято.

Январь 1935

Дом

Лопушиный, ромашный
Дом — так мало домашний!
С тем особенным взглядом
Душ — тяжелого весу.
Дом, что к городу — задом
Встал, а передом — к лесу.

По-медвежьи — радушен,
По-оленьи — рогат.
Из которого души
Во все очи глядят —

Во все окна! С фронтона —
Вплоть до вросшего в глину —
Что окно — то икона,
Что лицо — то руина
И арена... За старым
Мне и жизнь и жильё
Заменившим каштаном —
Есть окно и мое.

А рубахи! Как взмахи
Рук над жизнью разбитой!
О, прорехи! Рубахи!
Точно стенопись битвы!

Бой за су-ще-ство-ваньё.
Так и ночью и днем
Всех рубах рукавами
С смертью борется дом.

Не рассевшийся сиднем
И не пахнувший сдобным.
За который не стыдно
Перед злым и бездомным:

Не стыдятся же башен
Птицы, ночь переспав...
Дом, который не страшен
В час народных расправ!

Между 27 июля и 10 сентября 1935

Читатели газет

Ползет подземный змей,
Ползет, везет людей.
И каждый — со своей

Газетой (со своей
Экземой!). Жвачный тик,
Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет.

Кто — чтец? Старик? Атлет?
Солдат? — Ни черт, ни лиц,
Ни лет. Скелет — раз нет
Лица: газетный лист!
Которым — весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь —
Читателя газет.

Кача — «живет с сестрой» —
ются — «убил отца»! —
Качаются — тщегой
Накачиваются.

Что для таких господ —
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!

Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат...

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

— Пошел! Пропал! Исчез!
Стар материнский страх.
Мать! Гутенбергов *пресс*
Страшней, чем Шварцев *прах!*

Уж лучше на погост, —
Чем в гнойный лазарет
Чесателей корост,
Читателей газет!

Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?

Смесители кровей,
Писатели газет!

Вот, други, — и куда
Сильней, чем в сих строках! —
Что думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
— Пустее места — нет! —
Так значит — *нелицом*
Редактора газет-

ной нечисти.

1—15 ноября 1935

Ваня

Стихи сироте

1

Ледяная тиара гор —
Только брэнному лику рамка.
Я сегодня плющу — пробор
Провела на граните замка.

Я сегодня сосновый стан
Обгоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребенка за подбородок.

16—17 августа 1936

2

Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал.
(Занимаю тебя разговором —
Чтобы легче дышал, крепче спал.)

Феодалного замка боками,
Меховыми руками плюща —
Знаешь — плющ, обнимающий камень —
В сто четыре руки и ручья?

Но не жимолость я — и не плющ я!
Даже ты, что руки мне родней,

Не расплющен, а вольноотпущен
На все стороны мысли моей!

... Кру́гом клумбы и кру́гом колодца,
Куда камень придет — седым!
Круговою порукой сиротства,
Одиночеством — круглым моим!

(Та́к впелелась в мои русые пряди
Не одна серебристая прядь!)
... И рекой, разошедшейся на́ две,
Чтобы остров создать — и обнять.

Всей Савойей, и всем Пиемонтом,
И — немножко хребет надлома —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым — и руками двумя!

21—24 августа 1936

6

Наконец-то встретила
Надобного — мне:
У кого-то смертная
Надоба — во мне.

Что́ для ока — радуга,
Злаку — чернозем —
Человеку — надоба
Человека — в нем.

Мне дождя, и радуги,
И руки — нужней
Человека надоба
Рук — в руке моей.

Это — шире Ладоги
И горы верней —
Человека надоба
Ран — в руке моей.

И за то, что *с язвою*
Мне принес ладонь —
Эту руку — сразу бы
За тебя в огонь!

11 сентября 1936

* * *

Когда я гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые — как художника кистью,
Картину *кончающего* наконец,

Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине — забыт.

20-е числа октября 1936

* * *

В синее небо ширя глаза —
Как восклицаешь: — Будет гроза!

На проходимца вскинувши бровь —
Как восклицаешь: — Будет любви!

Сквозь равнодушья серые мхи —
Так восклицаю: — Будут стихи!

1936

Стихи к Чехии

Сентябрь

I

Полон и просторен
Край. Одно лишь горе:
Нет у чехов — моря.
Стало чехам — море

Слез: не надо соли!
Запаслись на годы!
Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы.

Не бездельной, птичьей —
Божьей, человеческой.
Двадцать лет величья,
Двадцать лет наречий

Всех — на мирном поле
Одного народа.

Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы —

Всем. Огня и дома —
Всем. Игры, науки —
Всем. Труда — любому —
Лишь бы были руки.

На поле и в школе —
Глянь — какие всходы!
Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы.

Подтвердите ж, гости
Чешские, все вместе:
Сеялось — всей горстью,
Строилось — всей честью.

Два десятилетия
(Да и то не целых!),
Как нигде на свете,
Думалось и пелось.

Посерев от боли,
Стонут Влтавы воды:
— Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы.

На орлиных скáлах
Как орел рассевшись —
Что с тобою стало,
Край мой, рай мой чешский?

Горы — откололи,
Оттянули — воды...
... Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы.

В селах — счастье ткалось
Красным, синим, пестрым.
Что с тобою стало,
Чешский лев двуххвостый?

Лисы побороли
Леса воеводу!
Триста лет неволи,
Двадцать лет свободы!

Слушай каждым древом,
Лес, и слушай, Влтава!

Лев рифмует с гневом,
Ну, а Влтава — слава.

Лишь на час — не боле —
Вся твоя невзгода!
Через ночь неволи —
Белый день свободы!

12 ноября 1938

2

Горы — турам поприще!
Черные леса,
Долы в воды смотрятся,
Горы — в небеса.

Край всего свободнее
И щедрей всего.
Эти горы — родина
Сына моего.

Долы — ланям пастбище,
Не смутить зверья —
Хата крышей за́стится,
А в лесу — ружья́ —

Сколько бы ни пройдено
Верст — ни одного.
Эти доли — родина
Сына моего.

Там растила сына я,
И текли — вода?
Дни? или гусиные
Белые стада?

... Празднует смородина
Лета торжество.
Эти хаты — родина
Сына моего.

Было то рождение
В мир — рождением в рай.
Бог, создав Богемию,
Молвил: «Славный край!»

Все дары природные,
Все — до одного!

Пошедрее родины
Сына — моего!

Чешское подземие:
Брак ручьев и руд!
Бог, создав Богемию,
Молвил: «Добрый труд!»

Всё было — безродного
Лишь — ни одного
Нё было — на родине
Сына моего.

Прóкляты — кто заняли
Тот смиренный рай
С зайцами и с ланями,
С перьями фазаньими...

Трékляты — кто продали, —
Ввек не прощены! —
Вековую родину
Всех, кто без страны!

Край мой, край мой, проданный
Весь, живьем, с зверьем,
С чудо-огородами,
С горными породами,

С целыми народами,
В поле, без жилья,
Стонущими:
— Родина!
Родина моя!

Богова! Богемия!
Не лежи, как пласт!
Бог давал обеими
И опять подаст!

В клятве руку подняли
Все твои сыны —
Умереть за родину
Всех — кто без страны!

Между 12 и 19 ноября 1938

М а р т

4

Германии

О дева всех румянее
Среди зеленых гор —
Германия!
Германия!
Германия!
Позор!

Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила,
Днесь — танками пошла.

Пред чешскою крестьянкою —
Не опускаешь вежд,
Прокатываясь танками
По ржи ее надежд?

Пред горестью безмерною
Сей *маленькой* страны —
Что чувствуете, Германы:
Германии сыны??

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

С объятями удавими
Расправится силач!
За здравие, Моравия!
Словакия, *словаць!*

В хрустальное подземие
Уйдя — готовь удар:
Богемия!
Богемия!
Богемия!
Наздар!

9—10 апреля 1939

О, слёзы на глазах!
 Плач гнева и любви!
 О, Чехия в слезах!
 Испания в крови!

О, черная гора,
 Затмившая — весь свет!
 Пора — пора — пора
 Творцу вернуть билет.

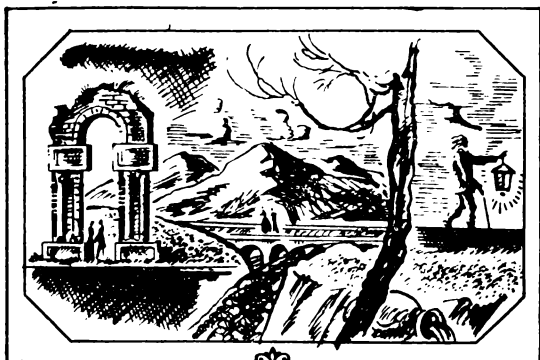
Отказываюсь — быть.
 В Бедламе нелюдей
 Отказываюсь — жить.
 С волками площадей

Отказываюсь — выть.
 С акулами равнин
 Отказываюсь плыть —
 Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
 Ушных, ни вещей глаз.
 На твой безумный мир
 Ответ один — отказ.

15 марта — 11 мая 1939





ПОЭМА ГОРЫ

*Liebster, Dich wundert die Rede?
Alle Scheidenden reden wie Trunkene
und nehmen gerne sich festlich...*

Hölderlin¹

Посвящение

Вздригнешь — и горы с плеч,
И душа — горé!
Дай мне о гóре спеть:
О моей горé.

Черной ни днешь, ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о гóре спеть
На верху горы.

I

Та гора была, как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.
Та гора хотела губ
Девственных, обряда свадебного

Требовала та гора.
Океан, в ушную раковину
Вдруг ворвавшимся ура!
Та гора гнала и ратовала.

¹ О любимый! Тебя удивляет эта речь? Все расстающиеся говорят как пьяные и любят торжественность... — Гёльдерлин. (Перевод М. Цветаевой.)

Та гора была, как гром.
Зря с титанами заигрываем!
Той горы последний дом
Помнишь — на исходе пригорода?

Та гора была — миры!
Бог за мир взывает дорого.
Горе началось с горы.
Та гора была над городом.

II

Не Парнас, не Синай —
Просто голый казарменный
Холм — равняйся! стреляй!
Отчего же глазам моим
(Раз октябрь, а не май)
Та гора была — рай?

III

Как на ладони поданный
Рай — не берись, коль жгуч!
Гора бросалась под ноги
Колдобинами круч.

Как бы титана лапами
Кустарников и хвой,
Гора хватала за полы,
Приказывала: — Стой!

О, далеко не азбучный
Рай — сквознякам сквозняк!
Гора валила навзничь нас,
Притягивала: — Ляг!

Оторопел под натиском,
Как? не понять и днесь!
Гора, как сводня — святости
Указывала: — Здесь...

IV

Персефоны зерно гранатовое!
Как забыть тебя в стужах зим?
Помню губы, двойною раковиной
Приоткрывшиеся моим.

Персефона, зерном загубленная!
Губ упорствующий багрец,
И ресницы твои — зазубринами,
И звезды золотой зубец...

V

Не обман — страсть, и не вымысел,
И не лжет — только не дли!
О, когда бы в сей мир явились мы
Простолюдинами любви!

О, когда б, здраво и попросту: —
Просто — холм, просто — бугор...
(Говорят, тягою к пропасти
Измеряют уровень гор.)

В ворохах вереска бурого,
В островах страждущих хвой...
(Высота бреда над уровнем
Жизни.)
— На́ же меня! Твой.

Но семьи тихие милости,
Но птенцов лепет — увы!
Оттого что в сей мир явились мы —
Небожителями любви!

VI

Гора горевала (а горы глиной
Горькой горюют в часы разлук),
Гора горевала о голубиной
Нежности наших безвестных утр.

Гора горевала о нашей дружбе:
Губ — непреложнейшее родство!
Гора говорила, что коемужды
Сбудется — по слезам его

Еще говорила гора, что — табор
Жизнь, что весь век по сердцам базары
Еще горевала гора: хотя бы
С дитятком — отпустил Агары!

Еще говорила, что это — демон
Крутит, что замысла нет в игре.
Гора говорила, мы были немы.
Предоставляли судить горе.

VII

Гора горевала, что только грустью
Станет — что ныне и кровь и зной,
Гора говорила, что не отпустит
Нас, не допустит тебя с другой.

Гора горевала, что только дымом
Станет — что ныне и мир, и Рим
Гора говорила, что быть с другими
Нам (не завидую тем другим!).

Гора горевала о страшном грузе
Клятвы, которую поздно клясть.
Гора говорила, что стар тот узел
Гордиев — долг и страсть.

Гора горевала о нашем горе —
Завтра! не сразу! когда над лбом —
Уж не цементо, а просто — тогил!¹
Завтра, когда пойдем.

Звук... Ну как будто бы кто-то просто —
Ну... плачет вблизи?
Гора горевала о том, что врозь нам
Вниз, по такой грязи —

В жизнь, про которую знаем все мы:
Сброд — рынок — барак...
Еще говорила, что все поэмы
Гор — пишутся — так.

VIII

Та гора была, как горб
Атласа, титана стонущего.
Той горою будет горд
Город, где с утра и до ночи мы

Жизнь свою — как карту бьем!
Страстные, *не быть* упорствуем.
Наравне с медвежьим рвом
И двенадцатью апостолами —

Чтите мой угрюмый грот.
(Грот, была — и волны впрыгивали!)

¹ *Memento mori* (лат.) — Помни о смерти.

Той игры последний ход
Помнишь — на исходе пригорода?

Та гора была — миры!
Боги мстят своим подобиям.
Горе началось с горы.
Та гора на мне — надгробием.

IX

Минут годы, и вот означенный
Камень, плоским смененный, снят.
Нашу гору застроят дачами —
Палисадниками стеснят.

Говорят, на таких окраинах
Воздух чище и легче жить.
И пойдут лоскуты выкраивать,
Перекладинами рябить,

Перевалы мои выSTRUнивать,
Все овраги мои вверх дном!
Ибо надо ведь — хоть кому-нибудь
Дома — в счастье, и *счастья* — в дом!

Счастья — в доме, любви без вымыслов,
Без вытягивания жил!
Надо женщиной быть — и вынести!
(Было-было, когда ходил,

Счастье — в доме!) Любви, не скрашенной
Ни разлукою, ни ножом.
На развалинах счастья нашего
Город встанет — мужей и жен.

И на том же блаженном воздухе
— Пока можешь еще — грешить! —
Будут лавочники на отдыхе
Пережевывать барыши,

Этажи и ходы надумывать —
Чтобы каждая нитка — в дом!
Ибо надо ведь — хоть кому-нибудь
Крыши с аистовым гнездом.

X

Но под тяжестью тех фундаментов
Не забудет гора — игры.

Есть беспутные, нет беспамятных:
Горы времени — у горы!

По упорствующим расселинам
Дачник, поздно хватясь, поймет:
Не пригорок, поросший семьями, —
Кратер, пущенный в оборот!

Виноградниками Везувия
Не сковать! Великана льном
Не связать! Одного безумия
Уст — достаточно, чтобы львом

Виноградники заворочались,
Лаву ненависти струя.
Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья!

Дочь, ребенка расти внебрачного!
Сын, цыганкам себя страви!
Да не будет вам места злачного,
Телеса, на моей крови!

Тверже камня краеугольного,
Клятвой смертника на одре:
— Да не будет вам счастья дольного,
Муравьи, на моей горе!

В час неведомый, в срок негаданный
Опознаете всей семьей
Непомерную и громадную
Гору заповеди седьмой.

Послесловие

Есть пробелы в памяти, бельма
На глазах: семь покрывал...
Я не помню тебя — отдельно.
Вместо черт — белый провал.

Без примет. Белым пробелом —
Весь. (Душа, в ранах сплошных,
Рана — сплошь.) Частности мелом
Отмечать — дело портных.

Небосвод — цельным основан.
Океан — скопище брызг?!

Без примет. Верно — особый —
Весь. Любовь — связь, а не сыск.

Вороной, русой ли масти —
Пусть сосед скажет: он зряч.
Разве страсть — делит на части?
Часовщик я, или врач?

Ты — как круг, полный и цельный.
Цельный вихрь, полный столбняк.
Я не помню тебя отдельно
От любви. Равенства знак.

(В ворохах сонного пуха
— Водопад, пены холмы —
Новизной, странной для слуха,
Вместо: я — тронное: мы...)

Но зато, в нишей и тесной
Жизни — «жизнь, как она есть» —
Я не вижу тебя совместно
Ни с одной:
— Памяти мечь.

Январь 1924

Прага, Смиховский холм

Декабрь 1939

Голицыно, Дом писателей





АРИАДНА

Трагедия

ЛИЦА:

Тезей, сын царя Эгея
Ариадна, дочь царя Миноса
Эгей, царь Афин
Минос, царь Крита
Посейдон
Вакх
Жрец

Провидец
Вестник
Водонос
Хор девушек
Хор юношей
Хор граждан
Народ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

ЧУЖЕСТРАНЕЦ

Дворцовая площадь в Афинах. Ранний рассвет. Проходит Вестник.
У водоема, полулежа, Старик чужестранец. Подходит Водонос.

Вестник

Вставай, кто не спал!
Вставай, кто, как дух бродячий,
Очей не смыкал!
Вставайте, настал
День плача!

Семь утренних звёзд,
Спесь прадеда, радость брата,
Вставайте в отъезд,
Которому несть
Возврата!

Семь доблестных львят —
Заглохнет и род, и память —
С девицами в ряд
Вставайте. Канат
Натянут.

Встань, матери стон
Над морем! Земля умылась.
Корабль оснащён.
Афинам закон —
Царь Мѣнос!
Вставай, кто не...

(Проходит дальше.)

Чужестранец
Каб от слез смертным очам
Слепнуть — глаз не было б зрячид!
Что за город, где по ночам
Не младенцы — матери плачут!

Старцы плачут! Злое стряслось!
Рокот моря — что рев¹ львиный!
Ты скажи-ка мне, водонос,
Этот город — впрямь ли Афины?

Водонос
Не иначе.

Чужестранец
Дым очагов
Никнет. С небом огонь дружен!
Верно, плохо чтите богов?

Водонос
Нет, усердно богам служим.

День и ночь кровь и елей
Льются, щедр жертвенный ладан

¹ Слово *рев* прошу читать через простое «е».

(Все списки к трагедии сделаны М. И. Цветаевой.— Сост.)

В честь седого князя морей
Посейдона, девы Паллады.
Хоть и много, а чтим всех!
Содрогнись, выслушай, старый:
За Эгея-царя грех
Роковой — страшная кара.

Трижды восемь весен тому
Вспять — день в день — Андрогей, критский
Гость, — стрелков-равных ему
Не встречал: с языка — птицей
Мысль, что мысль — в птицу — стрела!
Развевался плащ его алый,
На щеках — юность цвела,
На устах — мудрость играла.
Храбр как лев, строен как трость,
Щедр как некто, богам близкий.
Вечно-первым наш критский гость
В беге; в бое, в метанье диска,
В песнях — и в вождельнях дев... —
О, горстями бы рвал, — знай он! —
Но красы вечный припев —
Смерть — и был Андрогей найден
Мертвым... В роскоши мышц и чар!
От стрелы, пущенной в спину!
И пришлось нам Мiносу в дар
Молодого мертвого сына
Отвозить...

Грянул войной
Крит. Страшны беды и многи:
Знобы, зуды, засуху, зной
Ниспослали мстящие боги
На наш град. Засухи бич
Нивы жжет, травы без сока.
Мать, плачь! Первенец, клич!
Грудь, гроздь, ручки — иссохло
Всё в краю сем —

(Указывает на глаза)

кроме ям

Сих. Верховный совет созван.
В Дельфы царь — к вещим камням.
Был ответ ясен и грозен.
«Андрогей, радость богов,
Жертвы ждет, кровью не сытый,
От Афин белых берегов

К берегам мощного Крита
Пусть корабль тронется. Груз
Корабля — дважды седмица
Дев и юношей».

— Стон уст
Слышишь? Это к брегам критским
В третий раз нынче корабль
Выплывает. В каждые восемь
Весен — раз. Так покарал
Крит — Афины — за всех весен
Наисладостнейшую...

Сын
Всем отцу был. Бед и разрух
День! — Эгея, царя Афин,
Называет убийцей слух.

Чужестранец
Мощен царь ваш.

Водонос
Косен и дрябл
Царь наш. Сладсть же и скорбь — свыше!

Чужестранец
Искушите!

Водонос
Третий корабль!

Чужестранец
Так восстаньте!

Водонос
Идут, — слышишь?
Плачут...

Хор девушек
О утр румянец!
О девства лён!
Семи избранниц
Услышите стон!

В тоске и в дрожи
Куда — за вёрсты!
Плывем? О не
к женихам заморским

¹ Слово *вёрсты* прошу читать через «ё» (две точки), слово *не* — с ударением на «ё».

На ложе, — на смерть
Корабль везет!

Хор юношей
(впадая)

Семь звезд угаснет,
Семь роз опадет.

Хор девушек
Ни роз, ни лилий, —
Аида сень!
Семь струн у лиры —
Нас тоже семь!

Блаженство — лирою
Множить в семьях:
Семь струн у лиры,
И тоже семь нас,

Сестер по сходству,
Сестер в весне...

Хор юношей
(впадая)

Семь струн порвется!
Семь слез на весле...

Хор девушек
О, сестры! Спутан
Порядок волн.
Покорно вступим
На пенный холм.

Защитник — кто нам?
Защитник — где нам?
Мы тщетно стонем,
Конец — надеждам...

Семь дев, семь чаек
Над гладью вод...

Хор юношей
(впадая)

Семь дев отчалит,
Семь жертв отплывет.

Хор дев уступает хору юношей.

Хор юношей

Рвите ризы и волоса,
Ибо семеро в полном цвете...
Ставьте черные паруса,
Корабельщики, горя дети!

Не к красавицам, в царство нег,
Не к чудовищам, в царство лавра, —
Семь юнцов покидают берег
В жертву красному Минотавру.

Минотавр, небывалый бык,
Мести Мinoisовой сообщник,
Мозг и печень нам прободит,
Грудь копытами нам затопчет.

Так, все заповеди поправ,
Мстит нам Мinois за кровь сыновью.

Хор девушек

(*впадая*)

Семь венцов упадают в прах,
Семь стволов истекают кровью.

Хор юношей

Ах, когда бы под градом стрел
Пасть — чтоб *лаврами* кровь бежала б!

Не оставим ни чад, ни дел,
Ничего, кроме женских жалоб,

Лишь утраивающих стыд:
Пасть, ни песни не дав витиям!

Хор девушек

(*впадая*)

Семь бойцов опускают щит,
Семь тельцов подставляют выю.

Хор граждан

Увы, увы!
Лягут юные львы на знойном
Щебне — ниже травы!
Едут юные львы —
На бойню!

Забудь, забудь,
Мать, — коих спасти бессильна!

Задуть, задуть,
О ветер, помоги
Светильню

Напрасных дней...
Гоня кормовые струйки.
Буйней, буйней,
О ветры, о ветры,
Дуйте!

Что знатных жен
Стенанья и плач кормилиц?
Корабль оснащен.
Афинам закон —
Царь Мѳнос.

Спрута яростней, язвы злей...

Чужестранец
Мѳнос? Думалось мне, Эгей —
Царь ваш.

Народ
Трепетнее тельца —
Царь наш.

Чужестранец
Думалось мне, сердца —
Вы, не слизни!

Народ
Упал, — лежи...
Что уж...

Чужестранец
Думалось мне, мужи —
Вы!

Народ
Чуть живы мы, — вот что¹. Брось
Поученья. Кость с мясом врозь
Разошлась. Не по силам мзда!

Чужестранец
Значит — Мѳносовы стада
Вы — не граждане? Не отцы

¹ Ударение на что.

Вы, а камни? Смирней овцы —
Вздохи, стоны, а меч-то где ж? —
Ждете казни своих надежд?
Прелесть гибнет, а зрелость спит?
Стыд вам, граждане!

Н а р о д

Стыд-то стыд...

Богу — храм,
Рыбе — вода...
А уж нам —
Не до стыда!
Век наш — час, вздох наш — пар...

Чужестранец

Есть же царь!

Н а р о д

Царь наш стар.

Чужестранец

Что́ до царских седин?
Есть же сын!

Н а р о д

Сын один

У царя. Не про нас.
Лоб-то за́ морем тряс!
Гость в отцовом дому.
Да и сын ли ему —

Не сказать. Ходит слух,
Сам слышал от старух
Старых да стариков:
Будто и не царёв
Сын, — Атлантики гость.
Посейдонова кость.

Впрочем...

Чужестранец

Темен твой сказ!

Один из народа

Впрочем, что́ им до нас,
До кротов земляных,
Впрочем, что́ нам до них,
До богов, до царей
И до их сыновей...

Ими пламень раздут —
Наши на смерть пойдут!

Н а р о д

Увы, увы!
Лягут юные львы на дольнем
Камне — ниже травы.
Едут юные львы...

Чужестранец

Довольно!

Поворотом руля
Спор решают. Пожарищ кличем
Вызывайте царя!
Будет жребий брошен вторично.

Парус смертной ладьи
Пусть и царскую грудь заденет!
Не бездетен — веди
Сына! Юноша — не младенец!

Отвечает вдвойне
Сын за пепел и пурпур отчий.
Пусть с твоим наравне
Встанет, белого овна кротче.

Многих ставши отцом,
Царь единого блюсть не вправе.
Как волна под веслом,
Под серпом равнодушны — травы,

В час страды и войны
Все равны. И в крови, и в хлебе —
Все — Эгею сыны!

Остальное решает жребий.

Царь! — Подхватывайте!
Царь! — Раскатывайте!
Царь! — Три заповеди
Должно чтить.

Нет родных тебе,
И нет чужих тебе,
Царь забывчивый!
А третий стих

Этой заповеди... —
Царь! — Расшатывайте
Стены! Ратуйте же!
Бог — и жду?!

Там, где с заповедями
Запаздывают —
Боги ввязываются
В игру.

Н а р о д

К царю! К царю!
Во дворец!

Чужестранец
Наседай! Дружнее!

Н а р о д

Отец! Отец
Эгей! Подавай Тезея!
Стрела сорвалась!
Страдай же, как страждем мы!

Явление Эгея

Э г е й

Приветствую вас,
Афинские граждане.

Что в утренней мглы
Час — в дом мой приводит вас!

Н а р о д

Мы ждать не могли,
Царь! Море тревожится!
Волна восстает!
Кровь взмыла и схлынула!

Э г е й

Каких же щедрот
Здесь ждете?

Н а р о д

За сыном мы
Твоим! Если ты
Молчишь — камни ожили!
Мы — тоже отцы!

— И первенцы тоже мы
В домах! — Через край
Беда! Не то вдребезги —
Дворец! Подавай
Тезея для жребия!

Крики

Тезея! Коль сын
Он царский — не струсит же!
Тезея! Афин
Надежду!

Эгей

Так слушайте ж:

Согласен!

(Кому-то)

Ладью

Готовь с черным парусом!
Я вам отдаю
Тезея, столп старости
Моей...

Народ

Выводи!

Слов вѣдома суетность!
На сей площади
Пусть жребий рассудит нас!
Тезея!

Эгей

Очам

Предстанет немедленно.
Души моей храм,
Надежду последнюю
Я вам отдаю,
Афины!

Народ

Да здравствует

Царь! Слава царю!
Воистину царь ты наш!

Эгей

Если ж жребий, который слеп,
На мой оттиск падет единственный,
Не останетесь вы без скреп,
Золотые врата афинские.

Не страшитесь ни язв, ни зол, —
Царь с народом не зря поладили!
Унаследуют мой престол
Пятьдесят сыновей Палладия,

Брата грозного моего.
Не страшитесь престольной трещины!
Вместо кровного одного
Пятьдесят вам царей обещано:
Мощных, рослых...

Н а р о д

Но вступят в спор
Братья! От пирога ни корки нам
Не видать!

Э г е й

Пятьдесят подпор
Царству!

Н а р о д

Не пятьдесят ли коршунов?

Э г е й

Увозите же за моря
Сына: жизнь мою и глаза мои!
Не останетесь без царя!
Увозите Тезея за море,

К Минотавру.

Н а р о д

Царь готов.
Только будем ли целей?
Целых пятьдесят отцов!
Целых пятьдесят царей!

Брат на брата: бить и жечь!
Шаром прядающий вихрь!
Брат на брата: бич и меч!
Всё мы пасынки для них!

Вотчимами разгромят
Царство! — Злейшее из рабств!
Зуд пятидесяти язв!
Рев пятидесяти распрь!

О пятидесяти нам
Головах обещан змей!
Шибче, шибче по волнам!
Нам не надобен Тезей!

Э ге й

Слово сказано. Канат —
Клятва царская, — одна!

Н а р о д

Чужестранец виноват!

Э ге й

Клятва царская — дана.

Не последует канат
Легкой прихоти ветрил.

Н а р о д

Чужестранец виноват!
Ты — морочил, ты — мутил,

Ты — натравливал! Вязать
Старца злостного! Верны
Все Эгею мы! Назад,
Гость Аидовой страны!

На головы нам, как гром,
Рухнул! Наш теперь черед!
Руки с разумом, с царем
Рознить можно ли народ?

Э ге й

— Сограждане, прав я?

Н а р о д

— Под стражу! — На плаху!
— Жало извлечь!
— Заживо сжечь!
— Истолочь!
— Заковать до пят!

Явление Тезея

Тезе й

Руки прочь!
Чужестранец свят!

Граждане, чтятся
В этом краю
Гости и старцы.
Не узнаю

В этой борьбе неравной —
Родины моей славной!
Гостю — обида?

Н а р о д

Ложь в нем и злость.

Т е з е й

Кто бы он ни был —
Старец и гость.
Старцу — отмщенье?

Н а р о д

Яд в нем и вред.

Т е з е й

Дважды священен:
Странник — и сед.

Н а р о д

Против основы
Шел, уличен!

Т е з е й

Чтите чужого, —
Вот вам закон!

Н а р о д

Нож уготован
Жизни твоей!

Т е з е й

Чтите седого, —
Вот вам Тезей!

Старца — под стражу?
Гостя — властям?

Э г е й

Да на тебя же,
Сын мой, восстал!

Тезей

Знаю. Бессмертным
Стать не боюсь.
Минусу в жертву
Сам отдаюсь.
На корабле немедленно
С вами плыву — без жребия.

Эгей

Сын мой!

Тезей

Согласья
Царского жду.

Эгей

Стар я.

Тезей

Но страстен
Я — и в ряду
Граждан афинских —
Первый. — Плыдем! —

Эгей

Слаб я.

Тезей

Но сын твой —
Дважды силен.

Народ

Слава Тезею!
Новый Геракл!

Эгей

Сын мой! Добрее
Волки в горах!
Сдайся!

Тезей

Не сдамся!
Храбрым — венцы!

Эгей

Под стражу упряма!

Тезей

На весла, гребцы!
Парус,
В море!

Народ

Радости!

Эгей

Горел

Тезей

Вгладь, морская пучина!

Народ

Слава царскому сыну!

Эгей

Так захлебнись же
В отчей крови,
Отцеубийца!

Чужестранец

(выступая)

Останови
Слово в гортани,
Гнев на устах.
Юн — неустанен, —
Юноша прав.

(К Тезею)

Сын мой! Еще нам
Страсти нужны!
Ты Посейдоном
Избран в сыны.

В снах и в обличьях,
Вблизи и далече,
Трижды покличешь —
Трижды отвечу.

Пенная проседь,
Гневные волны.
Трижды попросишь —
Трижды исполню.

Пади ко мне на грудь,
Сын, в славе утвержден!

Объятие

Вал, долу! Ветры, дуть!

Н а р о д

(падая ниц)

Владыка Посейдон!

КАРТИНА ВТОРАЯ

ТЕЗЕЙ У МИНОСА

Тронный зал царя Миноса на Крите. Ариадна, одна, играет в мяч

А р и а д н а

Выше, выше! Пробивши кровлю
К олимпийцам, в лепнѹю синь!
Мой клубок золотой и ровный,
Дар прекраснейшей из богинь!

В нем великие силы скрыты,
Нить устойчива и светла.
Мне владычица Афродита,
Подавая его, рекла:

«Муж, которому вместе с волей,
Вместе с долей его вручишь,
Он и в путах пребудет волен,
Он и в кознях пребудет чист.

Все пороги ему — путями!
Он и в страсти пребудет зряч!..»
Но заветным клубком покамест
Ариадна играет в мяч.

«Золотой невестин
Дар — подальше спрячь!..»
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

«Никому не вручай до часа,
Милых много, один — милей!» —
Так учила она, клоняся
Над любимицею своей.

«Никому не вручай без жажды
Услаждать его до седин,
Ибо есть на земле для каждой
Меж единственными — один.

Золотой невестин
Дар — подальше спрячь!»
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

Афродитою с самых ранних
Лет обласкана я: что мать —
Над дитятею. «Твой избранник
И моим не преминет стать.

Лишь бы в верности был испытан,
Лишь бы верностью был высок —
Всеми милостями осыплю.
Все дороги его — да в срок!

Чтобы Богом земным пронесся,
Лавр и радость на лбу младом...»
Но, увы, золотого лоску
Мяч — по-прежнему мне в ладонь

Возвращается. Дар невестин
Всё — от суженого, хоть плачь!
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

Но меди лязг!
Но лат багрец!
Но светочей кровавых гарь!
Теперь игре моей конец.
Приветствую тебя, отец и царь.

М и н о с

(в окружении факелоносцев)

В наготе тронного зала
Что ты делала, дочь?

А р и а д н а

Играла.

М и н о с

Игры — призрак, и радость — звук.
Чем?

Ариадна

Ударами быстрых рук
Мяч испытывала проворный.

Минос

В месте скорби моей глетворной,
В день всех горестнее, всех злей?

Ариадна

Нет у девушки прошлых дней!

Минос

Плач и трепет по всей округе!

Ариадна

Мяч подбрасывала упругий,
Чтобы радости мне принес!
Нет у девушек долгих слез!

Вечно плакать — и слез не хватит!
Семя — долго ли в шелухе?
Слаще вздохов о бывшем брате
Вздых о будущем женихе!

Минос

Нет у сердца в груди!

Ариадна

Не знала

Бед.

Минос

В канун моего обвала!
Нынче смерти его канун!

Ариадна

Но твой первенец, царь, был юн,
Я же — есмь. И тому уж трижды
Восемь весен, отец!

Минос

Недвижен

Век. Единожды был мне дан.

Ариадна

Нет у девушек старых ран!
Только новые! Дайте ж травкой

Быть,— долга ли ее пора?
Завтра уже — без завтра
Дева, что без вчера
Нынче. — Короток день наш красный!

М и н о с

Дан единожды, взят всечасно,
Всевечерне, всенощно взят.

А р и а д н а

Если ж сыну на смену — зять
Встанет, роши мужской вершина?

М и н о с

Разве зять заменяет сына?

А р и а д н а

Ну, так я остаюсь, седин
Утешение.

М и н о с

Дочь — не сын.
Дочь — увя! — хороша замена! —
Вместо сына. Оплот — на пену
Променять? В этом море слез
Пена — дева, а сын — утес.

На низверженного не сетуй.

А р и а д н а

Сын — утесом, а дочь утехой
Создана, мотыльком жилья.

М и н о с

Медлит жертвенная ладья!
Обложу их тройною данью!
За мгновение запозданья —
В мясники обращает гнев! —
Роши храбрых и кущи дев!

Минотавру тройная прибыль.

В е с т н и к

Царь, корабль долгожданный прибыл.
Некий юноша по пятам,
Нрава властного.

Тезей:

(входит)

Входит сам

Гость — коль ждан

(Миносу)

Здравствуй, жрец
Трижды клятый!
Не певец:
Буду краток.
Посему остроу удвой.
Предводительствую ладьей
Осужденных. Восьмой — не боле.
Не по жребию, а по воле
Здесь, — вечернею жертвой лечь
За Афины.

— Приемли меч!

(Вручает)

Кровью злых
Щедро смочен.
Не жених:
Буду срочен.

От Эгеевой злой стрелы
Пал гвой первенец. — Так орлы
Падают! — За ниспадша в хрипах
Андрогей — Тезей на выкуп!

За Эгея ужасный грех
Сын ответит — один за всех.

Минос

Сын?!

Тезей

Убей,
Царь! Да рдеет
Меч!

Минос

(наступая)

Тезей?
Сын Эгеев?

Поедынок взглядов

...Так из ведомых мне — один
Ты — взглянул бы!

(С новой яростью)

Убийцы — сын?!

(Страже)

Увести от меня лукавца!

Тезей

Царь, еще не dokonчил сказки!
Этой крови узревши рдянь,
Царь, сними роковую дань
С града грешного...

Минос

(страже)

Прочь с безумцем!

Тезей

Не безумен я, образумься —
Ты! Швыряя тебе сию
Роскошь — мало тебе даю?

Кровь, что вечность бы не иссякла!
Славу будущего Геракла!
Гекатомбы, каких не зрел
Мир — еще! Мириады дел
Несвершенных и несвершимых.
Небожителей на вершинах,
Небожителей в лоне вод
Допроси.

— Водопады од,

Царь, как в пропасть, в тебя швыряю!
Ибо злейшее, что теряю
Днесь — не воздух и не перстов
Ощупь,— эхо в груди певцов!

Царь, безвестным уйду. Искусство,
Что ль, к одру пригвоздить Прокруста?
Кулака молодой размах
На бродягах и кабанах
Испытав, ни одной Химеры
Не сразив...

Но прими на веру,

Царь: единый, а не любой,
Завтра выведен на убой
Будет. Равная кровь прольется
Андрогеевой.

М и н о с

Это сходство!
Ад ли призраку повеле?
Так в немотствующей золе
Пепелища — алмаз неплавкий:
Честь.

Тезей с Андрогеем, — прав ты!
Горы — равные на весах.
О девицах и о юнцах
Не пекись. По стезе лазурной
Им — везти доверяю урну
С прахом громким твоим — и весть,
Что на Кретосе сердце — есть.
Вероломной стрелой не платим
Гостю. Праведнее бы зятем
В дом принять тебя. — Н! твоя!
Трон отдать тебе! По края
Чаши свадебные наполнив,
Всем назвать тебя!

Тезей

Царь, опомнись!

М и н о с

Сон и совесть обрел бы вновь...

Тезей

Но меж мной и тобою — кровь
Андрогеева!

М и н о с

(растерянно)

Кровь, но где же?

Тезей

Двух враждующих побережий
Башни!

М и н о с

Сон бы обрел и смех...
Но да сбудется воля *тех!*

Тезей

Царь, не должно такого часу
Длится!

Минос

Убóиной! Грудой мяса! —
Судорог, содроганий смесь! —
И не некогда, где-то, — здесь,
Завтра же...

Тезей

Не крушись! не каюсь.

Минос

Но покамест еще, покамест... —
Взгляд, сломивший меня, как тросты! —
Но покамест еще ты гость
Мой.

В пустыне источник пресный!
Призрак! Первенец! Оттиск перстня
В воске — мрамором мнил его! —
Сердца старого моего.

Тезей

Царь, не для рокового часу!

Минос

Дщерь, вручи золотую чашу
Гостю. Досыта насласти,
Ибо — слéзная.

— Пей и спи.

Тот же зал. Ночь. Тезей один

Тезей

Сердца крылатый взмах,
Вала чреватый стон,
Полночь и кровь в ушах —
Всё отгоняет сон.

Стражи протяжный клич,
Пены пустой припев
Об островах добыч, —
Всё распаляет гнев.

Гнев на тебя, о мощь,
Давшая — озном лечь
Клятву. Рабыней в ночь
Швыр-нувшая меч.

Гнев на тебя, о длань!
(Легче клыки развестъ
Вепрю — перстов сих!) — в дань
При-несшая честь.

Гнев на тебя, о мышц
Роскошь! Богам не чужд
Быв, без меча — камыш
Бо-лотный — не муж.

Гнев на тебя, о глас
Древа, травы, ручья:
«Тот, кто Афины спас,
Не — вынув меча!»

Плакальщиком смежу
Очи,— без боя бит!
Имени нет сему
Гневу — иного: стыд.

Плакальщиком сойду
В славы подземный храм.
Имени нет сему
Делу — иного: срам.

Явление Ариадны

Ариадна

Будет краткою эта речь:
Принесла тебе нить и меч.

Дабы пережилó века
Критской девы гостеприимство,
Сим мечом поразишь быка,
Нитью — выйдешь из лабиринта.

Всё, и спи.

Невредим и здрав
Возвращайся в родную землю!

Тезей

За Богиню тебя приняв,
Я даров твоих — не приемлю.

Ариадна

Гость, очнись!

Тезей

Не прикрыв лица,
Безоружным предстать клялся.

Ариадна

Меч твой, коим убит Прокруст!

Тезей

Меж мечом и рукою — уст
Клятва. Правой моей подъять!
Меж рукою и рукоятью —
Честь, безжалостнейший канат.
Мною данною клятвой — взят.

Ариадна

Не пристало тебе покорство!

Тезей

Не осиленным распростерся,
Волей Мinois отдался!

Ариадна

Вспомяни *своего* отца!
Ненадежны восьмижды девять!
Дни последни кому ж лелеять,
Как не первенцу?

Тезей

Отчей есть
Власть безжалостнейшая — честь.
Да свершится ж предначертанье.

Ариадна

Андрогеевыми чертами
Обольщенный — простит отец!

Тезей

Честь — безжалостнейший истец.

Ариадна

Злость — нет равных во Вселенной
Минотавровой!

Тезей

Уязвлена
Честь — чудовищнее стократ
Минотавра.

Ариадна

Не прав, не свят
Подвиг твой! Уж и так велик ты!
Ради этой моей улыбки
Дрогнувшей — отрекись! срази!
Ради этой моей слезы
Брызнувшей! На весах нельстящих
Разве клятва мужская — тяжче?

Тезей

Красоты в этой жизни есть
Власть безжалостнейшая — честь.
Даром бьешься и даром тщишься.

Ариадна

Просветите же нечестивца,
Боги! Рухай, гордец, с горы!
Афродитины — сѣ — дары.

Вышей воли ее зеркало,
Только вестницею предстала,
Только волю ее изречь —
Принесла тебе нить и меч.

Но твоих воспаленных бредом
Уст — заране ответ мне ведом:
«Божества над мужами есть
Власть безжалостнейшая».

Тезей

(преклоняясь)

Несть.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

ЛАБИРИНТ

Вход в лабиринт. Ариадна

Ариадна

Тщетно над этой прочностью
Бьются и слух и стон.
Громче песок в песочнице
Льется, слышней Харон

Воду веслом задевает Стиксову.
Брат, завершивший день,
Громче над урной твоей ониксовой
Лавр расстилает тень.

Канул — и канул полностью!
Сдайся, мой слух разверст!
Громче на круге солнечном
Тень подымает перст.

С тем суждено ль мне встретиться,
Коего Богом мню?
Не отзовется Дедáла детище*,
Тайны не выдаст дню.

Ожесточенье слабости!
Бог — кто тебя не знал!
Камни так плотно сладивший,
Будь проклят, Дедал!

Свод, ничему не внемлющий!
Мертв — кто в тебя забрел!
Награможденье немощей —
Будь проклят, мой пол!

Девíчьих наитий
Река глубока.
Не выпусти нити,
Не вырнь клубка!

Вслушиваюсь — как в урне
Глухо, как в лоне вдов.
Вслушиваюсь — как в урну,
Вглядываюсь — как в ров...

Громче смола из древа,
Громче роса на куст...
Вглядываюсь — как в зева
Львиного черный спуск.

Что́ там за поворотом?
Лучше не видь, не слышь!
Весь ли клубок размотан?
Глыб вероломна тишь.

Бык ли в крови и в пене
Пал? Или рогом в лоб?
Глыб немоты — не мене
Чувств ненадежен вопль.

Хвала Афродите
В громах и в тиши!
Не выпусти нити!
Не вырешь души!

Афродита!
Мирт и мед!
Вся защита,
Весь оплот

Ревностнейшей из критянок,
В сем чернейшем из капканов
Мужу, светлому лицом,
Афродита, будь лучом!

Афродита!
Путь и цель!
Льном сквозь плиты,
Светом в щель,

Львов связующая нитью
Льна — войти ему дав — выйти
Дай. Открытому душой,
Афродита, будь тропой!

Афродита!
Солы! волна!
Если выкуп
Нужен — на!

Сохрани для дел великих
Жизнь, — мою возьми на выкуп!
Львом и солнцем да предстал!
Афродита! Дева!..

Пал! — С молотом схожий¹
Звук, молота зык!
Пал мощный! Но кто же:
Бо-ец или бык?

Не — глыба осела!
Не — с кручи река!
Так падает тело
Бой-ца и быка.

¹ Между первым и вторым слогом перерыв, т. е. равная ударяемость первого и второго слога. Тире мною поставлено не всюду.

Так — рухают царства!
В прах — брусом на брус!
Не-бесный потрясся
Свод,— реки из русл!

На — лбу крутобровом
Что: кровь или нимб?
Ве-кам свое слово
Ска-зал лабиринт!

Му-жайся же, сердце!
Му-жайся и чай!
Не-бесный разверзся
Свод! В трепете стай,

В ле-печушей свите
Крыл, — розы вослед...
Гря-дет Афродита
Не-бесная...

Тезей

(на пороге лабиринта)

— Свет!

Ариадна

Жив?

Тезей

Так едем,
Дева!

Ариадна

Сон!

Жив?

Тезей

Победен!

Ариадна

Бык?

Тезей

Сражён!

Ариадна

Цел?

Тезей
Всем сердцем
Смерть приняв!

Ариадна
Цел?

Тезей
Бессмертен.

Ариадна
Меч?

Тезей
Кровав.
Дева, едем!

Ариадна
Гость, испей!
Цел, но бледен...

Тезей
Нет цепей!
Волен град мой!
Ветры, дуть
В путь обратный!

Ариадна
Гость, побудь!

Тезей
Меч окрашен!
Парус полн!

Ариадна
Гость, за чашу!

Тезей
Дева, в чёлн!

Ариадна
Гость, помедли!
Лют вдовы
Хлеб.

Тезей
Так едем,
Жизнь!

Ариадна

Увы!

(Напевом)

Гостю — далече плыть!
В баснях и в песнях — слыть.
Дева — забытой быть.
Гостю — забыть.

Тезей

Темной речи
Уясни
Смысл.

Ариадна

Далече

Плыть! Сквозь сны
Дней, вдоль пены кормовой
Проволакивая мой
Лик и след.
Белый беден
Свет!

Тезей

Так едем,

Дева!

Ариадна

Нет.

Тезей

В бурях и в бедах
Лепится дух.
В девах несведущ,
К лепетам глух.

Вправо — иль влево,
В гору — иль с кручи!

Ариадна

Тайнопись — дева:
Надобен ключ.

Тезей

Красным гранитом
Взрос и окреп.
В снах не испытан,
К ответам слеп.

Угль затверделый —
Муж, а не пух!

А р и а д н а

Умысел — дева:
Надобен слух.

Т е з е й

Внял, но не понял.
Брось — соловьем!
К басням не склонен,
В лстьях не силён.

Любишь — так следуй
В свет и во мрак!

А р и а д н а

Занавес — дева:
Надобен знак.

Т е з е й

Робость девства?
Естества
Крик? Ответствуй,
Жизнь! Отца
Жаль? Печаль твою уважив, —
Жизни не теряют дважды!
С сыном — вся — из жил руда.
Мертв — раз и навсегда.

Всюду мниться
Будет брат?
Пусть убийца —
Кем зачат!
Тени помешаем красться
К ложу! Между *тем* и страстью
Нашей — меч. Из страстных уз
Вставши — с призраком сражусь!

Кроме добрых
В сердце — несть
Мыслей. — Робость?
Рода честь?
Но — клянусь тебе сугубо —
Не утехою — супругой,
Матерью грядущих чад
В дом войдешь, отныне свят.

Дева! Злится
Вал об снасть!
Дева! Львицей
Стонет страсть!
Накажи меня за дерзкий
Домысел: другому — персей
Дрожь? Иным дерзаньям — край
Пеплума?*

Ариадна

О, не терзай!
Гостю — далече плыть!
Гостю из Леты пить —
Гостю! в золе сокрыть
Деву, — забыть.
Гость, закончим
Скорбный спор.
Вал — твой кормчий!

Тезей

Хлябь — наш хор!

Ариадна

Уноси мое блаженство,
Юноша!
Не страсти женской
С разумом — постыдный торг.
Не отца седого скорбь
Черная, не крови братней
Ныне выцветшие пятна, —
Пурпурные и поднесы! —
И не приторная смесь
Робости и скудосердья,
Именуемая твердью,
Честью девичьей.

Тезей

Пресечь
Спор — тогда!

Ариадна

(подымая руку)

Возмездья меч!

Просьб — великая тщета!
Афродитою взята

Я в любимицы — владычиц
Сладостнейшею! В добычах —
Ревностнейшею! В любви —
Яростнейшею!

Плыви,

Госты! Покамест только брат мне —
Прочь! Покамест необъятный
Путь — зеркалом из зеркал —
Прочь! Покамест не познал
Уст моих...

Зане: как глыба

Страсть моя! Зане: на гибель
Страсть моя тебе! Зане —
Вещь, обещанная мне,
Взыщется с тебя не дочерью
Смертною, а той, что зверю
Льном повелевает быть.

Гостю — далече плыть!
Новые сети вить —
Гостю! других любить,
Эту — забыть.

Мир не полностью узрев,
Брат, опомнись!
Столько дев
Сладостных! А розы вянут —
Всё.

Тезей

Обманута!

Ариадна

Обманут —

Ты. Над клятвами же бдят
Боги. За единый взгляд
Косвенный — дитя из детищ
Афродитино! — ответишь —
Всем.

Тезей

Скорее — в море — мыс
Тронется!

Ариадна

О, не клянись,
Госты! Судьбы твоей волокна
Ведомы ль тебе? Не токмо

Девами — опасен брег.
Дебри есть, пещеры нег,
Тех — полунощные гроты.
Ведомо ль на повороте
Ждущее? Богинь и нимф
Грудь — не тот же ль лабиринт?

В сокровеннейшем из капищ,
Гость, бессмертие охватишь —
Мышцами. Необорим
Небожителей к земным
Жар. С бессмертными не мерся,
Юноша! Бессмертья — к смерти
Страсть — страшнейшая из кар!
Небожительницы дар,
Уст ее — отвергнуть — прелесть —
Кто б осмелился?

Тезей

Осмелюсь —
Я! Скорее с места мыс
Сдвинется!

Ариадна

О, не клянись,
Юноша!

Тезей

Пусть свет померкнет
Глаз моих!

Ариадна

О том, что смертных
Дев — любили божества,
Ведаешь?

(Касаясь лавра)

Сия листва

Все еще трепещет Дафны
Трепетом...*

Супругом став мне,
Клятву дав мне — даже в снах
Чтить, осмелишься ли, прах,
С небожителем тягаться?
Пасынка и святотатца
Груз — отважишься ль подъять?
Правую на рукоять —
Встанешь ли с парнасским горцем?

Пасынком и богоборцем,
Муж, отважишься ль прослыть?

Гостю,— далече плыть!
Нечеловечью чтить
Волю,— богам служить.
Деву — забыть.

Тáртара ценой — не купишь
Нег. Отступишься! Уступишь —
Высшему!

Тезей

Одна мне власть —
Страсть моя!

Ариадна

Преступишь страсть.
Горлинкой твоей страшуся
Быть. Змеиного укуса
Явственнее — мужем сим
Быть мне брошенной! Дым —
Страсть твоя. Костер из стружек —
Страсть твоя! Двоим не служат,
Муж! Ни доли, ни родства
Мужу, кроме Божества!

Прочь, не пастбище, а пустошь —
Страсть! — Отступишься! — Отпустишь!
Выпустишь! Цветком из рук
Выронишь!

Тезей

Какой недуг
Жжет тебя?

Ариадна

Но Пеннородной*
Памятлива кость. Запродан
Ей, моих коснувшись уст.
Знаешь ли о том, что пуст —
Зрак ее! И без провеса —
Цепь!

Тезей

У самого Зевеса
Выхвачу! Из-под зениц —
Выхвачу!

Ариадна

О, не клянись,
Гость! Колеблемая ветром
Трость. Лозы моей заветной
Гроздь. Всех жил моих живых —
Гвоздь. Души моей жених... —

Брось! — Как Мίνосу нарушил
Верность, — ибо всех радуший
Миновских весте знак
Ока их... о! — так и брак
С дочерью его расторгнешь
Сладостною. Стран просторных
Гость, со мной тебе не лечь
В зарослях...

Тезей

Тогда — на меч!

Жест, прерываемый появлением девушек и юношей

Хор девушек и юношей
Брата узрею!
Матерь узрею!
Жатву узрею!
Слава Тезею!

Меч, что уперся!
Стон, что исторгся!
Ветр семиморский,
Славь быкоборца!

Скорые весла, крутые снасти,
Освободителя родины славьте!
Славь, убегающая корма,
Мужа, не вынесшего ярма!

Ставь ветрила,
Кормчий! К югу!
Грех искуплен!
Камень снят!
Буду милой
И супругой
И баюкать буду чад!

Правь прямее,
Кормчий! Плеском
Вёсл, с волны и до небес:
Честь Тезею,

Нас, — невестам,
Нам вернувшего — невест!

Славься, храбрый!
Гору вынес!
Славься, добрый!
Жив Олимп!
С Минотавром
Свержен Минос!
Расколдован лабиринт!

Правь смелее,
Кормчий! Сломан
Крит! Свободные заснем!
Честь Тезею,
Нас — закону,
Нам вернувшего — закон!

Славься!

Тезей

Правь!

Ариадна

Не — оставь!

Тезей

Ветры, дуть!

Ариадна

Верен — будь.

Тезей

В красоте твоей богоравной,
Дева, имя твое?

Ариадна

Ариадна.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

НАКСОС

Скала со спящей Ариадной

Тезей

(над спящей)

Спит, скрытую истину
По-знавшая душ.

Спит, негой насыщенная,
Спи! — Бодрствует муж.

Ветвь, влагой несомая!
Страсть, чти ее — спи!
Лишь тем и бессонен я,
Что негой не сыт.

Не той же ли горечью
Сжат, бдит соловей?
Как будто бы море пью:
Что час — солоней!

Спит, розой осыпалась
В ласк бурный прибой,
Сколь быстро насытилась
Моею алчбой!

В пу-чину хоть жемчугом
Кань, — горстью словлю!
Спи, юная женщина!
Кровь помнит.

А р и а д н а
(во сне)
Люблю!

Т е з е й
Сквозь цепкую жимолость
Сна — слушай завет:
Зем-ля утолима в нас,
Бес-смертное — нет.

Без дна наших чаяний
Чан, мысль — выше лба!
Те-ла насыщаемы,
Бес-смертна алчба!

Бой-цом обезжизненным, —
Ни вдоха в груди —
Спит. Знай же, что сызнава
Бой вспыхнет...

А р и а д н а
(во сне)
Люби!

Тезей

Сквозь затканый занавес
Сна — сердцем пробьюсь.
Ду-ша неустанна в нас,
И мало ей уст,

И мало ей зеркала
Тех игрищ и нег.
Спи, юная смертная,
Смерть минет.

Ариадна

(во сне)

Навек.

Тезей

Цвет выцветет, скрючится
Стан, розы — в отлет!
От смерти и участи
И Зевс — не оплот.

И — ложа скалистого
Одр — твёрже¹ нам взбит.
Но — въявь и воистину —
Знай: страсть устоит.

(Подъемя правую)

Дева низин и ниш,
В гроте и в чаше
Царствующа, — услышь
Клятву над спящей.

В святости брачных уз
С милою свиться
Жимолостью — клянусь
Водами Стикса.

Влажных чураться уст
Девы и нимфы —
Облачными клянусь
Лбами Олимпа.

Судьбы и рты сдвоив,
Вплоть до укуса
Смертного...

¹ Слово *твёрже* прошу читать через простое «е».

— Чресл твоих
Гневом клянуся:

Страсти моей — сама
Ты не вечнее!
Если же в чувств, ума,
Недр помраченье,

Чудный порву союз, —
Гнев твой порукой! —
Да позабуду ж вкус
Млека и тука!*

О, да бежит от вежд
Сон вероломный!
Да вместо лавра — плешь
Метит чело мне!

Медный да в прах шелом!
Трусом да лягу!
Да не коснусь челом
Отчего прага!

Да не коснусь седин
Отческих! Грузной
Да не дождусь родин!
Чад да не узрю!

О, да познаю клятв
Попранных цену!
Жен да познаю хлад,
Друга — измену!

Лен да понудят прясть
Женские козни!
Да посмеется страсть
Старости поздней!

Да посмеется тесть —
Бывшему зятю!
Слуг да познаю лесть,
Царства разъятье!

Да не бежит вода
В чан водоносов!
Тучные нивы — да
Не плодоносят!

(Склоняясь над спящей)

Будь то хоть сам Зевес
С Мойрами* вкупе —
Сих не сниму желез!

Свет, из света Г о л о с

Г о л о с

Вакху — уступишь.

Тезей

Зачаровывающий сердце
Звук — кифарой в ушах звенит!
Кто ты?

Г о л о с

Девы и Миродержца
Сын — невесты твоей жених
Предначертанный. Слаще млека
Пить на сладостнейшем из лож —
Предназначена мне от века
Здесь покоящаяся.

Тезей

Лжешь!

Минотавровой кровью смочен
Меч. Изведаешь, сколь веска
Длань Тезеева!

Г о л о с

Тсс... Непрочен

Сон в присутствии Божества.

Тезей

Коль не вымысел и не слепок,
Вьдь, — спознаемся, суеслов!

Г о л о с

Заклинаю тебя — некрепок
Сна колеблющийся покров!
Пощади ни отца, ни дома
Не имеющую.

Тезей

К борьбе,

Дерзкий!

Г о л о с

Тише же! Чти же дрёму
Девы, грезящей о тебе.

Любят — думаете? Нет, рубят
Так! нёт — губят! нет — жилы рвут!
О, как мало и плохо любят!
Любят, рубят — единый звук

Мертвенный! И сие любовью
Величаете? Мыщ игра —
И не боле! Бревна дубовой
И топорнее топора.

О, как тупо и неуклюже:
Ложе — узы — подложный жар
Крови... Дева, познавши мужа,
Спит, жаровни твоей угар

Просыпает. От сих позорищ
Долю дыбом и реки вспять!
Как плодом заедают горечь,
Никнет — ласки твои заспать

Дева. Замертво павшей клячи
Кротче! Судорогой вдоль рта —
Ваших браков и новобрачий
Отвращающая тщета.

О, как мало и неумело
Нежите!

Т е з е й

Обличитель лбов —
Кто ты?

Г о л о с

Огненный сын Семелы* —
Вдохновения грозный Бог.

Т е з е й

Вакх!

Г о л о с

Двусердый и двоедонный.

Т е з е й

Вакх!

Г о л о с
В утробе мужской догрет.

Тезей
Вахх!

Г о л о с
Не женщиною рожденный.

Тезей
Вахх!

Г о л о с
Но дважды узревший свет.

Тот, чьей двойственностью двоится
Взгляд у всякого, кто прозрел.

Тезей
Вахх!

Г о л о с
Раздвинутая граница.

Тезей
Вахх!

Г о л о с
Пределам твоим предел.

Тот, которого душу пьете
В хороводах и на холмах
С злыми каторжниками плоти
Бог братающийся в боях

Верховод громового хора, —
Всё возжаждавшие, сюда! —
Одаряющий без разбора
И стирающий без следа.

Лицемеров, стоящих одаль, —
Бич! То вёркот ушам, то рык,
Низшим — оторопь я и одурь,
Высшим — заповеди язык!

О, ни до у меня, ни дальше!
Ни сетей на меня, ни уз!

Ненасытен — и глаза алчу:
Только жаждою утолюсь.

Двоядонный, рожденный дважды,
Двоеверный, — и вождь и страж...
И да будет кувшин — по жажде
Сей изжаждавшей меж чаш

Деве...

Вежд крылатым взмахом —
Эти розы станут прахом.
Выравненные резцом,
Эти брови станут мхом.

Лба доверчивую кротость
Злыми бороздами опыт
Выбороздит. Гладь ланит
Жилами избороздит, —

Вилами! Улыбку рождши —
Плачь! Нет, для ее, — все тот же
Червь подтачивает плод:
Горе сушит, нега жжет,

Всё — обмеривает! Дивом
Мнишь? Все сущее червиво,
Муж!

Тезей

С наглядностями рву!

Вакх

(до конца остающийся голосом)
Смерть — название червю.

Не цвести вторично древу!
Юность резвого котурна
Не задерживает. Деву,
Мнишь, отстаиваешь? Урну

С пеплом! С Богом в ратоборство
Вставши — призраком влеком!
Тенью! Крохотною горсткой
Праха, бывшего цветком.

Сладостней, скажи, на высях
Гор, в лазоревых приречьях
Цвел ли? От тебя зависит
Срезать — иль увекогечить

Цвет сей. Хватче Минотавра,
Злей Зевесовой грозы —
Огонь неистовости тварной,
Страстью названный. — Срази!

Уступи, влюбивший много,
Деву — Богу —

Хмеле-кудро-головому!

Тезей

Дева мной завоевана!
И мечом, и отдачею...

Вах

Дева — мне предназначена!

За века предугадана!
Без разделу моя!
Что лоза — виноградарю,
То мне — дева сия!

Божеству ли с убожеством
Спорить? Муж скудосерд,
Что венчальным предложишь ей
Даром? Старость и смерть?

Красота и бессмертие, —
Вот в двудонном ковше
Жениха-виночерпия
Дар невесте: душе.

Дар Тезея и Вахову
Дань — кладу на весы.
Взвесь. Ужель одинаковый
Вес?

Тезей

У спящей спроси.

Вах

То ж, что рану закрашивать,
То ж, что море в сетях
Несть — у женщины спрашивать
О правах и путях.

Тезей

Та, что пленника вывела...

В а к х

Чувств извела сеть.
Не смущай ее выбором,
Сам за деву ответь.

Т е з е й

Что Тезеем присвоено...

В а к х

Сгибнет, в прахе влачась.
Меж бессрочной красой ее
И цветеньем на час.

Между страстью, калечашей,
И бессмертной мечтой,

Между частью и вечностью
Выбирай, — выбор твой!

Уступи, объявший много,
Деву — Богу.

Т е з е й

От алчбы моей жадной
Ей вовек не очнуться!

В а к х

У *моей* Ариадны
Будут новые чувства.

Т е з е й

Плеск весла безоглядна
Воском чаешь заткнуть?

В а к х

У *моей* Ариадны
Будет новая чуть.

Т е з е й

Мужа знавшая рядом,
Божества не восхощет!

В а к х

У *моей* Ариадны
Будет новая ощупь.

Т е з е й

Я — сквозь жертвенный ладан!
Я — в дурмане ночей!

В а к х

У *моей* Ариадны .
Сих не будет очей.

Т е з е й

Иль не знаешь, что вдобы
В час касаний бескостных...

В а к х

Новый облик, и новый
Взгляд, и новая поступь...

Т е з е й

По тишайшему зову —
В ночь! К былому на груди!

В а к х

Новый образ, и новый
Взгляд, и новая суть...

Т е з е й

Каждым ногтем начертан
В сердца девственной глине!

В а к х

Чёрт, лелеянных — смертной,
Не узнает — Богиней.

Т е з е й

Но зачем же, двужалый,
Ночь была нам вдвоем?

В а к х

Дабы разницу знала
Между Небом — и дном.

Бога знавшая рядом,
Естества не восхощет.
Нет — твоей Ариадны!
На дворцовую площадь

Выйдя — Фив Семивратных,
Града новой зари,
Ариадне и Вакху
Фимиам воскури!

Уступи, познавший много,
Деву -- Богу.

Тезей

Но не Геей, не Герой, —
Афродитой клялся!

Вакх

К Минотавр в пещеру
Шедший кротче тельца...

Все величия платны —
Дух! — пока во плоти.
Тяжесть попранной клятвы
Естеством оплаты.

Муж, решайся: светает.
Сна и яви — двойной
Свет. В предутренних стаях —
Свод.

— Прошайся с женой!

Тезей

Но хоть слово промолвить
Дай: не к трусу влеклась!

Вакх

Час любовных помолвок
Была. — Отплытия час.

Тезей

Но в глазах ее — чаны
Слез в двусветную рань! —
Я предателем стану!

Вакх

Да. Предателем — каны!

Тезей

Лишь в одном не солги ей:
Уступил, но — любя!

Вакх

Чтобы даже Богиней
Не забыла тебя?
Тсс... на целую вечность.

Тезей

Не в пределе мужском!
Выше сил человеческих —
Подвиг!

В а к х

Стань Божеством.

Тезей

И мизинцем не двину,
Распростертый на плитах!

В а к х

Есть от памяти дивный
У Фиванца напиток:
Здесь меняющий в *где-то*,
Быть меняющий в *плыть*...

Тезей

Ни Аида, ни Леты —
Не хотящим забыты!

(К Ариадне)

Спит, — хоть жалок, хоть жёсток
Одр, — не хочешь подняться?
Наксос — крыл моих остров!

В а к х

Остров жертвенный: Наксос.
Уходи безоглядно:
Чтоб ни шаг и ни вздох...

Тезей

Нет иной Ариадны,
Кроме Вакховой.

В а к х

(вслед)

Бог!

КАРТИНА ПЯТАЯ

ПАРУС

Дворцовая площадь в Афинах. Утро.
Эгей, Жрец, Провидец

Эгей

Ночь не добрее дня,
День не добрее ночи.

Пытке моей три дня
Нынче, в огне три ночи

Вьюсь, из последних сил
Взор изощряю слабый.
Сын мой, который *был*, —
Прах твой узреть хотя бы!

Клад мой неотторжим!
Лучше бы вовсе не дан!
Уж не молю — живым,
Уж не молю — победным:

Так же, как раб к ковшу, —
Льнет, просмолён до паха, —
Урны его прошу, —
Боги! — шепотки праха,

Пепла... О, тучи крыл,
Стрел над афинским берегом!
Сын мой, который *был*!

Жрец

Сын твой, который *пребыл*,

Царь! В седине морей,
В россыпях водокрутных,
Жив громовой Нерей,
Кости твоей заступник,

Жив еще Посейдон!
С рушащейся громады
Вала, со дна из дон
Он — охраняет чадо

Старости твоя!
Недр не страшись гневливых!
Жертвенная ладья
С парусом белым внидет

В гавань. Крыла светлей!
В град, не бывавший пленным!

Эгей

Будь на семьсот локтей
Тот лабиринт под пенным
Уровнем — о, смеясь,
Ждал бы. Воды ль страшуся?

Но Океана князь
Не господин над сушей.

«Целым твой сын плывет —
Белый, как вал об скалы —
Парус». (О, первый взлет
Вёсл его в час отчала!)

«Тело мое везут —
Черный, чернее горна
В полночь — в ветрах лоскут».
Парус провижу — черный.

Черный! Чернее крыл
Вороновых — в проливе!
Сын мой, который *был!*
Въявь, в естестве и вживе,

Внове! Дурная весть:
Небо, тельца кровавей!

Проризатель
Сын твой, который *есть*,
Царь! В красоте и в славе!

Жив! Не сожжен, а жгуш,
Бьющ — тако огонь пурпурный
Лемноса*. Старец, сущ —
Сын твой! Не горстку в урне... —

Розами оплети
Лоб свой! — Не урну с телом!
В духе и во плоти
Жив и плывет под белым

Парусом.

Эгей
Если лжешь,
Лучше бы не родиться
В мир тебе! Псом сгниешь!

Жрец
Царь, не гневи провидца.

Легче в своем дому
Скважин не знать и трещин —
Зодчему — чем сему
Старцу солгать по вещим

Внутренностям. Оставь
Гнев и хвали Зевеса.

Прорицатель
Мысленное — вот явь,
Плотское — вот завеса.

Хочешь, чтобы рекла
Вещь, — истончись до пепла...

Эгей
Жив — и рука тепла?

Прорицатель
Хлеб из золы — не тёпле.

Эгей
Но невредим ли? Но
Здрав ли? Всё так же ль рдея...

Прорицатель
В раковине зерно
Жемчуга не целее
Бездны на нижнем дне.
Цел, аки дух бесплотный.

Эгей
Не изувечен, не...
Так не иссякнет род мой?
С песней — кого отпел?
В гавань — взамен пещеры!
Но не бесчестьем цел?

Прорицатель
Чарою цел — и верой.

Эгей
Чарою?

Прорицатель
Знать не нам:
Знай, что любимым шел он.
Верую — в стан, что прям,
И в небосвод, что полон.

Чарой и верой яр,
Ими же заповедан...

Но, изощрив удар,
Старец, — еще победа!

Пурпуром омрача
Меч — улыбался, аще
Бог. Не подъяв меча,
Старец, победа тяжче.
Изнеможден, но светл
Вышел.

Эгей

Хвала! Но что за
Чудище? Змей или вебрь?

Прорицатель
Плотскою страстью прозван
Вебрь тот. *Его* сразил,
Вышею страстью движим.

Эгей

Ветр, не шади ветрил!
Сын вожденный, мчи же!

(Жрецу и Провидцу)

Други, навстречу мчим!
Не выдавай, о старость!

Явление Вестника

Вестник

Царь, в седине пучин
Черный отмечен парус.

Эгей

Смерть!

(Прорицателю)

Не земным воздам, —
Лжец! — а иным чеканом!
Жрец, доложи богам:
Сыну навстречу канул

Царь.

Исчезает. Вестник вслед. С другой стороны площади, не встретившись,
рядами, граждaнe.

Хор граждан

Горе! Горе!
Вострый нож!
Море, море,
Что несешь?
Полным коробом роскошным —
Море, море, что несешь нам?
Розы, розы ли вискам?
Слезы, слезы ли очам?

Горе! Горе!
Лютый змей!
Из лазоревых горстей
Дарственных твоих — что примем,
Море, море? Было синим,
Вал, как старец, поседел —
Лишь бы парус вышел бел!

Горе! Горе!
Гнутый серп!
Море, море,
Двоесерд
Нрав твой: кабаном трущобным
Выбесившись, белым овном
Ляжешь, кудри раздвоя,
Море: ярая бадьа!

Доля, доля,
Крытый чан!
Море, море,
Что — очам
Выявишь? За белым тыном
Пены — что? Каков Афинам
Дар? Растерзанная ткань?
Доля: крытая лохань!

Доля, доля,
Тихий ткач!
Море, море,
Выше мачт —
Вал твой! Кулаком сведенным
То по всем своим поддонным
Бьет владыка Посейдон.
Доля: сжатая ладонь!

Доля, доля,
Длить — доколь?

Море, море,
Всю-то соль
Донную и всю-то кипень
Пенную твою мы выпьем,
Выхлебаем: кипень-смоль,
Доля: лютая юдолы!

Доля, доля...
Воля — где?
Море, море,
Что в ладье?

Крит ли первенцев вернул нам,
Или братственная урна:
Семи вёсен цепл — и дым
Семи юношей с восьмым.

Доля, доля,
Скрытый сплав!
Море, море,
Ниже трав —
Вал твой! На ручьи распалось.
Море! Море! Что за парус
Там, что ворон меж ветрил?
Горе! Горе! Черен!

Вестник

Был —

Царь. Переполнен
Чан скорби и мглы.
В ки-пящие волны
Пал царь со скалы.

Бе-ду издалече
У-зревши с высот,
Пал — сыну навстречу
С от-весных трехсот.

В пы-лу чадолюбья
И в пепле тшеты,
В че-тыреста глуби —
С трех-сот высоты.

Не орл бысролётен,
Царь крыл и когтей —
То старец с трех сотен
Гра-нитных локтей.

Что яростный крик —
В волн пенную шерсть —
Взмыл — первым да встретит
Сы-новнюю персть.

Не в яростном споре
Ветров и ветрил —
Не в море, а в горе
Се-бя утопил!

В уст — собственной пене,
Кро-вавой кайме,
В век — собственной тени,
В недр — собственной тьме,

В убийственном слове -
Ко-ротком: к чему?
В от-цовской любви
Без-донном чану.

Где пропасти клином,
Где пена ревет —
Ле-тящего принял
В грудь водоворот.

Хор граждан

Горе! Горе! С красных скал —
Горе! Горе! Камнем пал

Царь наш. Наводняй же площадь,
Бессыновних и безотчих
Стадо — без поводья!
Горе! Горе! Без царя!
Горе! Горе! Дважды пал!

Старого гремучий вал
Выхватил зеленокудрый.
Юного — слепая удаль
Чудищу швырнула в пасть.
Горе! Горе! С черным — снасть!

Коршунам — кровавый пир!
Горе! Горе! Дважды сир
Край наш, на куски искрошен.
Вместо пажитей роскошных —
Коршунов кровавый слет...
Горе! Горе! Море слез!

Горе! Горе! Кровных кровь!
Мать бездетная, готовь
Скорби черное убранство!
Явственен — через пространства —
Скорби веющий рукав.
Ах, не черен он — кровав!

Прав — взмывающий с крутизн!
Лучше б вовсе в эту жизнь, —
В коей правды не дожидаться, —
Не рождать и не рождаться,
И не знать, как ветер свеж...
Горе! Горе! Горе!

Явление Тезея в сопровождении девушек и юношей

Тезей

Где ж
Лавры — победоносцу?
Жив и несокрушим!
Как по коврам пронесся
По валунам морским —

Вождь ваш, с благою вестью:
Вот она! Счетом семь
Дев, с семерыми вместе
Сими — в родную сень.

Целы и без изъяну, —
Что деревá весной!
Чаянных семь и жданных
Семеро, я — восьмой.

Пал Минотавр, и вынес
Вал! Кровяным бугром
Пал! С Минотавром — Мѣнос.
Но — что́ за прием?

Что — овцы под крышу!
Что — жёны под щит!
При-ветствий не слышу!
Иль море глушит?

Что — рыбины в пену!
Что — ящеры в мох!
От радости немь?
Иль сам я оглох?

От радости слепы?
Ведь вот она, стать
Кра-са и укрепа
А-фин. Или вспячь

Мне? Сызнова море
Тре-вожить кормой?
Лишь сам себе вторю
В сей предгромовой

Ти-ши. Не привечен
Ни взглядом очес!
Так вот она, встреча,
Так вот она, честь,

Так вот они, горсти .
Роз, лавры вершин
Бой-цу-быкоборцу
От вольных Афин!

В час скорби и вздохов
Был скор мой булат.
На дел моих грохот
Не-мотствуешь, град?

На рук моих дело —
Уж весть о быке
Весь мир огрелела —
Ни ветви в руке?!

Серд-ца́ без отзы́ва!
Те-ла без сердец!
Но — злейшее диво:
Что — даже отец

На-встречу не вышел,
На мышц моих мощь
Скло-нить свою ношу...
Иль впрямь я безотч?

Афиняне, рдею!
Лоб — обручем сперт!
Скажите — Эгею,
Что сын его...

Прорицатель
Мертв
Царь. Не родиться —

Вот, в царстве тщеты —
О-снова.

Тезей

Убийца
Дер-жавного?

Прорицатель

— Ты.

«Бык поражен из двух —
Белый, белее пара —
Парус». Так в отчий слух
Слово твое упало.

«В пепле себя сокрыл —
Черных, чернее вара
Смольного, жди ветрил».
Ум твой какую чарой

Заворожён? Каков
Змей у тебя под корнем?

Тезей

Дивною девою вдов,
Изнеможа от скорби —
Плыл. Когда свет немил,
Черное — оку мило.
Вот почему забыл
Переменить ветрило.

Хор юношей

В час осыпавшихся вёсен,
Ран, неведомых врачам,
Черный, черный лишь преносен
Цвет — горюющим очам.

В час раздавшихся расселин —
Ах! — и сдавшихся надежд! —
Черный, черный оку — зелен,
Черный, черный оку — свеж.

Резвым агнцем белорунным
Кто корабль пустить дерзнет,
Коль в груди своей, как в урне,
Вождь покойницу везет?

В час, как всё уже утратил,
В час, как всё похоронил,

Черный, черный оку — красен,
Черный, черный оку — мил.

Мрак — дыхание без вздрога!
Мрак — касание фаты!
Как боец усталый — лога,
Око жаждет черноты.

В час распавшихся объятий, —
Ах, с другим, невеста, ляг! —
Черный, черный оку — вятен,
Черный, черный оку — благ.

В час оставленных прибрежий, —
Ран, не знающих врачей, —
Черный, черный лишь не режет
Цвет — заплаканных очей.

В час, как розы не приметил,
В час, как сердцем поседел, —
Черный, черный оку — светел,
Черный, черный оку — бел.

Посему под сим злорадным
Знаком — прибыли пловцы.
Пребелейшей Ариадны
Все мы — черные вдовцы.

Все мы — черные нубийцы
Скорби, — сгубленный дубняк!
Все — Эгея соубийцы,
И на всех проклятья знак —

Черный...

Проризатель

Чарой клянусь полднейной,
Небожителя — се — резец!
Сын мой, кого прогневал
Из роковых божеств?

Муж, и разя, радушен,
Бог ударяет в тыл.
Верность — кому нарушил,
Сын, из бессмертных сил?

Перед какой незримой
Явственностью не прав?

Громы — с какой низринул
Из олимпийских глав?

Сын, неземным законом
Взыскан, — перстом сражен!
Ревность — какой затронул
Из олимпийских жен?

Высушенный опилок —
Муж, за кого взялись!
Мстительней олимпиек
Несть, и не мыслит мысль.

Взыщут, — осколок глинян,
Выплеснутый сосуд!
Сын мой, кому повинен
Из роковых?

Жрец
Несут
Тело. Водорослью овито.

Тезей
Узнаю тебя, Афродита!

Октябрь 1924
Прага





МОЙ ПУШКИН

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей — «Jane Eyre»* — Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери — «Дуэль».

Снег, черные прутья деревьев, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к салям — а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревьев, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и — вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, — об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась *сестра*. Больше скажу — в слове *живот* для меня что-то священное, — даже простое «болит живот» меня заливают волной содрогающегося сочувствия, исключаяющего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики:

поэт — и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила — поэта. А Гончарова, как и Николай I, — всегда найдется.

— Нет, нет, нет, ты только представь себе! — говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты. — Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал, и еще сам себе сказал: браво! — тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу! Отшвырнул пистолет, протянул руку», — этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок — если не мести, так страсти — на всю жизнь дает четырехлетней, еле-грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревьев, черная и белая картина — «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта — черню.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, — я поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой — «Явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале — «Татары» — татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и — в спальне матери — «Дуэль». Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными кудрявыми орлоносими голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух, — и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щен-

ка, глаза, — черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр — черные¹.)

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечно-сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт — негр, поэт — негр, и поэта — убили.

(Боже, как събылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта — не убили?)

Но до «Дуэли» Наумова — ибо у каждого воспоминания есть свое до-воспоминание, предок-воспоминание, пращур-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень — которая *всегда* оказывается — или внезапное ночное небо, на котором открываешь всё новые и новые высочайшие и далечайшие звезды — но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин — когда я еще не знала, что Пушкин — Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин — всегда и от всегда, — до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец — реку, — черный человек выше всех и чернее всех — с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не *памятник Пушкина* (родительный падеж), а просто *Памятник-Пушкина*, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, — о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи! — плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина — до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина — посидим», — чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина — верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и приятая².

¹ Пушкин был светловолос и светлоглаз. — *Примеч. М. Цветаевой.*

² Там верстою небывалой

Он торчал передо мной... («Бесы»)

Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. — *Примеч. М. Цветаевой.*

Памятник Пушкина был — обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатьев, — кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, — памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок — на Патриаршие Пруды — или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала — к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андриюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость — лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку — они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос — знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, — приставлять к гигантов подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост — сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! — и так как *черный* был явлен гигантом, а *белый* — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» — с горделиво-скромным добавленьем: «Вот если бы сто *меня*, тогда — *может*, потому что я ведь еще вырасту...» И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду — я?» И ответ: «Нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые».

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом — и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фи-

Ни огня, ни черной хаты...

Глушь и снег... Навстречу мне

Только версты полосаты

Попадаются одне... («Зимняя дорога»). — *Примеч. М. Цветасвой.*

гуркой великан, но я перед Пушкиным — я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки — то, что Памятник-Пушкина — для меня. Но что же тогда для фигурки — Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья — внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает — дом. Или — гром. А она для него — такая уж маленькая, что он ее тоже — просто не видит. Он думает — просто блоха. А меня — видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

...Мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, — к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, *от него — спиной и к нему — спиной*, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо. (С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо.)*

Памятник Пушкина я любила за черноту — обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина — совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рождь. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин — негр, я бы знала, что Пушкин — негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщённость всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным — рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, — черный памятник Пушкина моего дограмотного младенчества и всей России.

...Мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество и под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот — всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

— На Патриаршие Пруды или...?

— К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах — патриархов не было.

Чудная мысль — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта — среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство — обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю — черную. Памятник Пушкина, опережая события, — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает — слияния рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ — самых далеких и как будто бы — самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство — ее обратного. Пушкин есть *факт*, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет — раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала, с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину *быть*. Так что дети, под петербургским Фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма — за гения.

Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ. Чудная мысль — чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чудная мысль — наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой *поклона* — дать Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии — Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль — гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень — цепь, камень — цепь, камень — цепь, всё вместе — круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты — *мой* Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, сушей, будущей, качалась — не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. — «Ампир»? — Ампир. — Емпи́е — Николая I Империя.

Но с цепями и с камнями — чудный памятник. Памятник свободе — неводе — стихии — судьбе — и конечной победе гения:

Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и поэтически-бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем *народу* я *любезен*,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что *прелестью живой стихов* я был *полезен*... —

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением *пользы* в *поэзию* — подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1880 года — установки памятника, — наконец заменена словами *пушкинского* «Памятника»:

И долго буду тем *любезен* я *народу*,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что *в мой жестокий век* *восславил* я *свободу*
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава бóльшая — безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша — ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище — в слове:

А там, в полях необозримых
Служа *небесному царю* —
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит — либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: «Муся! Ты видела этого господина?» — «Да». — «Так это — сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно — гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?»

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг — пройдет.

Прошел он — и именно вдруг — но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но

она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди — звезда.

— Ну, Муся, видела сына Пушкина?

— Видела.

— Ну, какой же он?

— У него на груди — звезда.

— Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

— Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, — нянинному: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

«Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». — «Что, барышня?» — «У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». — «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли...» — неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, — вмешалась няня. — Небось, сами — полный генерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» — «Знаю». — «Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство».

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить — связанного у меня только с предметами — белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский, и т. д. — а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознося меня над толпой, показывали, относились не к чело-векам, а к священным предметам — так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина — тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.

А шел, верней, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него — не зная, не узнавая, не подозревая, — в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой — узнала это только в Париже, в 1928 году — оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был — тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод — том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось — Собрание сочинений А. С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков — другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф — обманный, зеркальный, в две створки, в каждой — я, а если удачно поместиться — носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один — неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удущенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин — «Цыганы». Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще — Старик. Я стариков знала только одного — сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла — потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А. Д. Мейн, — не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что, когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово — любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда — так. Оказывается — только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена — в «Цыган»: в Алеко, и в Земфиру, и в ту

Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми всё это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым — потому что краденое, детям — потому что я их презираю, а главное — потому что тайна: моя — с красной комнатой, моя — с синим томом, моя — с грудной ямкой.

Но в конце концов любить и не говорить — разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух — в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы — швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася — спала.

— А у нас Мусенька — умница, грамотная, — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. — А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того (барабанщика).

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот, однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

— Я могу рассказать про «Цыган».

— Цы-ган? — нянька, недоверчиво, — про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребушие?

— Это не такие. Это — другие. Это — табор.

— Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит — молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоём талане...» — а старая чертовка — белье с веревки али уж прямо — бриллиантовую брошь с барынина туалета...

— Не такие цыгане. Это — другие цыгане.

— Ну, пушай, пушай расскажет! — приятельница, чуя в моем голосе слезы, — может, и вправду другие какие... Пушай расскажет, а мы — послушаем.

— Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыганы шумной толпой — По Бессарабии кочуют — Они сегодня над рекой — В шатрах изодранных ночуют — Как вольность весел их ночлег — и так далее — без передышки и без серединных запятых — до: *звон походной наковальни*, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто — принимаю.

— А складно говорит! как по-писаному! — восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька — Асина.

— Мед-ве-едь... — осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. — А вправду —

медведь. Маленькая была, старики рассказывали — завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса-ал.

— Ну, а дальше-то, дальше-то что было? (Швея.)

— И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко.

Нянька:

— Ка-ак?

— Алэко!

— Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?

— Алэко.

— Ну и Алека — калека!

— А ты — дура. Не Алека, а Алэко!

— Я и говорю: Алека.

— Это ты говоришь: Алека, я говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

— Ну, ладно: Алека — так Алека.

— Алёша, значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). — Да дай ей, дура, сказать, — она ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

— Ну, эту дочь звали Земфира (грозно и громко:) Земфира — эта дочь — говорит старику, что Алэко будет жить с нами, потому что она его нашла в пустыне:

«Его в пустыне я нашла

И в табор на ночь зазвала».

А старик обрадовался и сказал, что мы все поедem в одной телеге: «В одной телеге мы поедem — та-та-та-та, та́-та-та-та́ — И сёла обходить с медведем...»

— С медве-едem, — нянька, эхом.

— И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах...

— Как это — в корзинах?..

— Так: «Ослы в перекидных корзинах — Детей играющих несут — Мужья и братья, жены, девы — И стар и млад вослед идут — Крик, шум, цыганские припевы — Медведя рев, его цепей».

Нянька:

— Да уж будет про медведя! Со стариком-то — что?

— Со стариком — ничего, у него молодая жена Марнула, которая от него ушла с цыганом, и эта тоже, Земфира, — ушла. Сначала всё пела: «Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя!» — это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алэко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.

Обе в голос:

— Ай-а-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то — что?

— Старик — ничего, старик сказал: «Оставь нас, гордый человек!» — и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алёко один остался.

Обе, в голос:

— Так ему и падо. Не побивши — убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, — да ты, Мусенька, не слушай (громким шепотом) — застал с полюбовником. И его враз, и ее. Потом на каторгу пошел. Васильем звали... Да-а-а... Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

Пушкин меня заразил любовью. *Словом* — любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут, — и вещь, которую *так* зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся — это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется — это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся — это любовь. Когда розовогозových нафталиновых парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу — это любовь. То есть *это* — от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Алёко и Мариулы и могилы.

А вот волк и ягненок — не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно.

— Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутит...

— Но волк — *тоже* хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он *съел* ягненка, а ягненка я любить — хотя и съеденного и белого — не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

Сказав *волк*, я назвала Вожатого. Назвав Вожатого — я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего — любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый заведет нас далёко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и

зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скру-
таясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех род-
ных и незнакомых; больше всех любимых собак, больше всех
закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножи-
ков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был —
главная тайна. Больше «Цыган», потому что он был — черней
цыган, *темней* цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шка-
фу жил — Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в
тайном шкафу жил... Вожатый.

Под влиянием непрерывного воровского чтения, естествен-
но, обогащался и словарь.

— Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренберг-
ская или крестнина парижская?

— Парижская.

— Почему?

— Потому что у нее глаза страстные.

Мать, угрожающе:

— Что-о-о?

— Я, — спохватываясь: — Я хотела сказать: страшные.

Мать, еще более угрожающе:

— То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, воз-
негодовала правильно. Но поняла — неправильно. Не глаза —
страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими гла-
зами (и розовым газом, и нафталином, и словом *Париж*, и
делом *сундук*, и недоступностью для меня куклы), приписала —
глазам. Не я одна. *Все* поэты. (А потом стреляются — что кук-
ла *не* страстная!) Все поэты, и Пушкин первый.

Немножко позже — мне было шесть лет, и это был мой пер-
вый музыкальный год — в музыкальной школе Зограф-Плакси-
ной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называ-
лось, публичный вечер — рождественский. Давали сцену из
«Русалки», потом «Рогнеду» — и:

Теперь мы в сад перелетим,

Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке — Татьяна. Потом приходит Онегин,
но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он,
все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю,
что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы *не* любовь, что *это* —

любовь: когда скамейка, на скамейке — она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

— Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? — мать, по окончании.

— Татьяна и Онегин.

— Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

— Татьяна и Онегин.

— Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла! Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествуя:

— Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

— Татьяна и Онегин.

— Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Онегин!» Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что — сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

— Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? — с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами:) «Потому что — любовь».

— Она, наверное, уже седьмой сон видит! — подходящая Надежда Яковлевна Брюсова¹, наша лучшая и старшая ученица, — и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

— А это, Муся, что? — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ — улыбки благодарности. На обратном пути — тихом, позднем, санном, — мать ругается:

— Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура — шести лет — влюбилась в Онегина!

Мать ошибалась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и в Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее — немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предпре-

¹ Сестра Валерия Брюсова. — Примеч. М. Цветаевой.

деляющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда *целовались*, всегда — когда расставались. Никогда — когда сдились, всегда — когда расходились. Моя первая любовная сцена была не-любовная: он *не* любил (это я поняла), потому и не сел, любила *она*, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес — она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что *он* стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на *нелюбовь* — обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его — *так*, и только для того *его*, а не другого, в любовь выбрала, что втайне *знала*, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но *знала* уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной — одиноличной — всей на себя взятой — любви — прямо *гений* на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда, — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косою, это на *моих* глазах — сделала. И если я потом, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

У кого из народов — такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны — ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отомстить и свести его с ума, все козыри — чтобы унижить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы, — она все это уничтожила одной только обмолвкой: «Я вас люблю, — к чему лукавить?»

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать — к чему? А вот на это, действительно, нет ответа

для Татьяны — внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда — в зачарованном кругу сада, — в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда — непонявшаяся, сейчас — вожделенная, и тогда и ныне — любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она — не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь — первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них — и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь — и дородясь.

Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А. Д. Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для бедной Тани все были жребии равны» — а моя мать выбрала самый тяжелый жребий — вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, — на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить — *того*, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т. д., ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива...» (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я — не *его* дочь!)

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны — не было бы меня.

Ибо женщины *так* читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной *не* назвала — должно быть, все-таки — пожалела девочку...

С младенчества посейчас, весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи — той скамьи — того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет... но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркеты (как у нас в зале) и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века».) Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин — уже не краденый, а дарёный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, — обезвреженный, прирученный Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей — поэтической. Портрет в две дали — назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал.

Книжку я не любила, это был *другой* Пушкин, в нем и «Цыганы» были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но, помимо содержания, отвращало уже само название: *для городских училищ*, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно — лица учеников городских училищ, — бедные лица: некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица — внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные. Два кулака. Поперек запявшего живота — с огромной желтой бляхой, городских училищ, ремень.

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку *проверить* — и меньше всего — шестилетней тогдашней — мне. Раз сказано, так — *так*. В *стихах* — так. Эта птичка — поэтическая вольность...

«Зима, крестьянин торжествуя» на второй странице *городских училищ Пушкина* я средне-любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда *не* грозитя уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В тулупе, в красном кушачке» — это Андрюша, а «крестьянин торжествуя» — это дворник, а дровни — это дрова, а мать — наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, по-

тому что мы во дворе никогда не играли — только им проходили — потому что вдруг у андреевских детей (семьи, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки — были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин торжествуя», под видом стихов были — басня, которые, под видом стихов — проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала — последними. Сейчас же скажу: «Зима, крестьянин торжествуя» были — идиллия, то есть та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ, Пушкине: он для любви был слишком худ, — ни с трудом поднять, ни, тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-тесному фартуку, — ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно *уже* прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю — еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: «А длинная?» — «Нет, маленькая повесть». — «Ну, тогда читать *не* буду».

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и «Ты опять не спишь?» — Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу: он читать не любил, и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была — только любовь. Мать не отнимала: раз хрестоматия — ничего преждевременного. *Вся* литература для ребенка преждевременна, ибо *вся* говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

(Андрюша, на вопрос матери: «А я почём знаю?»)

... Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверостишия понимала только злодея и так как злодей здесь в окру-

жении трех имен, то у меня злодея получалось — три: Гетман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей — один и кто именно. Гетман для меня по сей день — Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей — по сей день Гетман, и т. д., и три стало одно, и это одно — злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы — не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю — возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующе-ярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною — точно чтобы его лучше видели! — а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь *донос*, — донос на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была — злодейство. Больше скажу: когда я во время Гражданской войны слышала Гетман (с добавлением: Скоропадский), я сразу видела того казака, который — падает.

Но с Царем-злодеем у меня была ещё другая хрестоматическая встреча: «Кто он?» И опять мать Андриюша: «Ну, Андриюша, кто же был — он?» И опять Андриюша, честно, тоскливо и даже возмущенно: «А я почём знаю?» (Что за странный мир — стихи, где *взрослые* спрашивают, а *дети* отвечают!) «Ну, а ты, Муся? Кто же был — он?» — «Великан». — «Почему великан?» — «Потому что он сразу всё починил». — «А что значит „И на счастье Петрово“?» — «Не знаю». — «Ну, что значит *Петрово*?» (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) «Ты не знаешь, что такое Петрово?» — «Нет». — «А Андриюшино — знаешь?» — «Да. Андриюшин штекенпферд*, Андриюшин велосипед, Андриюшины салазки...» — «Довольно, довольно. Ну и *Петрово* то же самое. Петрово — понимаешь? Счастье — понимаешь? (Молчу.) *Счастья* не понимаешь?» — «Понимаю. Счастье, это когда мы пришли с прогулки и вдруг дедушка приехал; и еще когда я нашла у себя в кровати...» — «Достаточно. *На счастье Петрово* значит: *на Петрово счастье*. А кто этот Петр?» — «Это...» — «Кто он?» — «Что?» — «То есть чудесный гость. Смотрит долго в ту сторонку — Где чудесный гость исчез... А как этого чудесного гостя зовут?» Я, робко: «Может быть — Петр?» — «Ну, слава богу!.. (С внезапной подозрительностью.) Но Петров много. Какой же это был Петр? (И отчаявшись в ответе:) Это был тот самый Петр, который...»

Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Поняла?»

Еще бы! Но и увя! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-

лунную казачье-скачущую шапочно-доносную ночь, и, что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский — в новый месяц! — вопросительный знак: «Кто?» Когда Петр — то всегда: кто? Петр, это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики
В Петербурге-городке?

Ответ: «Понятно, Петр!» Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают — не то, всё, что подсказывают — не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

Родила я не понимала, понимала только *родилась*, ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах — есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, боже, какое облегчение, когда после стольких *отчего* и стольких явно ложных подсказок, — наконец, блаженное *оттого!* «Оттого-то шум и клики — в Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: «Отчего пальба и клики? — Кто он? — Кто при звездах и при луне? — Черногорцы, что такое?» — и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это — нарочно, что он не спрашивает, а знает, и чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела, — строка за строкой, как умела, по-своему, стихи — видела. Историческому Пушкинцу своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос, в стихах, — прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое *отчего* требует и сулит *оттого* и этим ослабляет самооценку всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если

каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике. [...]

...Самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были — «Бесы». «Мчатся тучи, выютя тучи — Невидимкою луна...»

Все страшно — с самого начала: луны не видно, а она — есть, луна — невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и — о, сладкое обмирание — *ими!* Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом *ты* — летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною, — той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним — Бесов, и над Пушкиным и Бесами — сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было, — меня не было. Но какая иная жалость, нежели к Вурдалаку, заливала меня в «Бесах» и к бесам! Собаку я жалела — утробно: низкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жалостью — защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же — жалостью высокой, жалостью — восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что «...домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» — только так, что никого они не похорони и не выдай замуж — всё равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают — чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что, — а потому, что *они*, — они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: потому, что Бог их проклял!) Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они — тучи! Что они — серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, *ими* — можно только мчаться! Что это — воздух, который воеет! Что их — нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» — опять *пробирается*, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны... туманы...), «На печальные поляны льет печальный свет она...» О, господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано — печалью, точно Пушкин этим повторением печаль луною, как печатью, к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», — то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?

И эти очи голубые — опять были луною, точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы-души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи, очи голубые» — не Пушкин, а песня, а может быть, и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где всё — еще всё, этого не знаю, потому что «разрывая сердце мне» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь — одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. *Вошли в состав.*

«Подруга дней моих суровых — Голубка дряхлая моя!» — как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и рокочущий, сизо-голубой голубиный двор. (Моя няня была бы — голубка, а Асина — Мухина.)

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать («А не думаешь ли, голубка? — А не полагаешь ли, голубка? — А бог с ними, голубка!») — кроме как голубка не называл никак, но *подруга* было новое, мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово *подруга* — самое любовное из всех — впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых — Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка — значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта — голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу: подруга, скажу: голубка — и заболит.

Кого я жалела? *Не* няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он — что? А он — где? «Одна в глуши лесов сосновых — Давно, давно ты ждешь меня». Она — *одна*, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачёвской ивовой долиной — которую мать называла Шотландией — к Оке, вдруг — целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивовой однообразия и волнообразия — целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах

никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном своей светлицы...» — у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа) — чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении место было — «Горюешь, будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызвало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела... Соответствующих часовых видений — множество. Сидит няня и горюет, а над ней — часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо — так горюет, что даже часы остановились. *На часах* было и под часами, и на часы, — дети к падежам нетребовательны. Некая же, все же, смутность этого *на часах* открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларём — лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком, — с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая... А няня ведь с первой строки — голубка...

Так, *на часах* было и *под часами*, и *на часы*, и в конце концов немножко и *в часах*, и все эти *часы* еще подтверждались последующей строкою, а именно — спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии, очевидно, усумнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечасности. Конечно, я кроме *своей* тоски из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но — заполнила. И — запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами — секундная заминка, точно этот пушкинский конец к тому хрестоматическому — приращён. Да, что знаешь в детстве — знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве — не знаешь на всю жизнь.

Из знакомого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была *не* женщина. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину — потому, что родная, — можно любить больше, чем молодую — потому, что молодая, и даже потому, что — любимая. Такой нежности слов у Пушкина *не* нашлось ни к одной.

Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения — Марселя Пруста*. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до-семилетней и семилетней были — ряд загадочных картинок, — загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала — я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а просто — видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи остались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами — Смотрит лагерь их и наш — На холме пред казаками — Вьется красный делибаш». Делибаш — бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются — казак с бесом. Каково же было мое изумление — и огорчение, когда в Праге, в 1924 году, сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего услышала, что делибаш — черкесское знамя, а вовсе не сам черкес (бес). «Помилуйте, ведь у Пушкина „Вьется красный делибаш!“ Как же черкес может виться? Знамя — вьется!» — «Отлично может виться. Весь черкес со своей одеждой». — «Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может виться? Знамя». — «Я всегда понимала „Делибаш уже на пике, а казак без головы“ — что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось». — «Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! „Делибаш уже на пике“ значит — знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен». — «Ну так мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как знамя может быть на пике?? Мне по-моему больше нравилось». — «Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал. Не будете же вы исправлять Пушкина...»

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш — знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения — выдумала, и вдруг — в 1936 году — сейчас вот — глазами стихи перечла и — о, радости!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблю кривою
С плеч удалю башку!

Это знамя-то срежет саблю кривою казаку с плеч башку??

Так бедный семилетний варвар правильнее понял *умнейшего мужа России*, нежели в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Что такое? — Бонапарте спросил» — с двумя неизвестными,

по одному на каждую строку: Черногорцами и Бонапарте, Черногорцами, усугубленно-неизвестными своей неизвестностью второму неизвестному — Бонапарте.

«А Бонапарте — что такое?» — нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за все детство попытку вопроса: «Мама, что такое Наполеон?» — «Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?» — «Нет, мне никто не сказал». — «Да ведь это же — в воздухе носится!»

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности: я не знала того — что в воздухе носится! Причем «в воздухе носится» я, конечно, не поняла, а увидела: что-то, что называется Наполеоном и что в воздухе носится, — что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими «Воздушным кораблем» и «Ночным сном».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми — представляла, Пушкиным — представляла, и горы, на которых живет это племя злое, — совершенно черные: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы — как дети рисуют — по крохотному злomu черногорчику (просто — чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте — тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить — забыла.)

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.

— Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! — это длинный, быстрый, с немножко-волчьей — быстрой и смущенной — улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. — У мамы сейчас был доктор Ярхо — и сказал, что у нее чахотка — и теперь она умрет — и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я — я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

— Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедem к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

— Нет! — уже всхлипывала Ася, — потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться...

— Врет! врет! врет!

— ...вся в белом. Правда, Муся; он говорил?

— Правда, Муся, что я не говорил? Что это она сказала?

— Во всяком случае — кто бы ни сказал, — а сказал, ко-

нечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, — сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот, мы все поедem к морю.

К Морю.

Всё предшествовавшее лето 1902 года я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на-пеньки, чтобы *моёе* было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь потом — от июля, полдня, чердачного верха, а главное, от позапрошлогодного предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья — обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикея, переписываю черным отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку — «К морю». Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка — дeсть писчей бумаги, сложенной в восьмеро, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается — вроде меня в моих пикеях и шевютах — как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник — с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето — которая?

Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посяжу, либо рукавом смажу конец странички — и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом — гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) дeсть — и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: «Прощай, свободная стихия!»

Стихия, конечно, — стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему *прощай*? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желанный» — предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, навверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще — это *туда*. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами Ока,

еще в La Chaux de Fonds, в тетинo детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gué, bon gué! Il a frappé dix heuges!»¹ — и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму; *вообще* — это в чужую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем — может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал. Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.

Вотще — это туда, а могучей страстью — к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желанья *туда* Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет — что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с *моими* детскими желаньями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда *вообще, туда, то, там* начинает называться именем, из всей сине-вы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это — *тем*, и как *не* ошибались — тогда!)

Но вот имя — без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сих отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) — и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминая величавы:
Там угасал Наполеон...

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон — тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало — чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался генный,
Другой, властитель наших дум.

¹ Стража не спит! Пробило десять! (фр.)

Вижу звездочку и внизу спуска: Байрон.

Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть — море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится *гений*. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море...» начались слезы. «Прощай же, море! Не забуду...» — ведь он же это морю — обещает, как я — моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что — забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду — Твой гул в вечерние часы...» (Не забуду — буду —)

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И вот — видение: Пушкин, переносящий, проносящий над головой — все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое — точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе — все море — в пустыню — и там прольет его — и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила *волн*, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю — она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит *К Морю*, то есть дает обещание, которого не может сдержать.

С этой минуты я ехала К Морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала К Морю.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаём!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома — упорное — сомнамбулическое — и диктаторское, и нищенское: «Давай помечтаём!» Ибо прежде, чем поймешь, что *мечта* и *один* —

одно, что мечта — уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество — драконов ее закон и единственное поле действия — пока с этим смиришься — жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

— Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

— Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

— Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семёныча, яичко.

— Ты его треснула.

— Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

— Тогда давай. Только очень скоро давай — помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей К Морю дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли — и дачи — и глицинии — в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось — кроме самого себя, и от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания:

Чего же я от них — Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, — хотела?

Может быть — памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним — говора воли? Но нет — даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем *К Морю* не было, были шум — той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения — того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, — звуки слов, и — самое главное — тоска: пушкинского призвания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать — назвать — ничего.

Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого *Nervi*, куда ехали — мы. Вся — синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны — светло-синяя луна — черно-синие тучи — светло-синий столб от луны — и по бокам этого столба — такой уж черной синевы, что ничего не видно, — море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное — море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко

задевая око луны — лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: «Приезжайте скорее. Здесь чудесно».

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты [...]. Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. [...]

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало — море. Мое море, совсем черное от черноты парты — и дела. Ибо украла я его — чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие — забыли. Чтобы я одна. Чтобы — мое.

Так, с глубоко- и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил — день.

— Ася! Муся! Смотрите! Море!

— Где? Где?

— Да — вот!

Вот — частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу — плоская серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той на картине явления Христа народу.

Это — море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и пренебрежительно фыркаем.

Но — мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив — всегда так. То море — завтра.

Но завтра и много, много завтра опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы — отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это — залив.

Словом, я все еще К Морю ехала, и чем ближе подъезжала — тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам — утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море — все отступало, ибо, когда мы наконец после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Виктор-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» — была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами — ночь,

вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежного пройдет — и будут наши оба *здесь*.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами — все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю — ехала! (К кому потом так — когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь — через всю черноту ночи — ехало: ко мне одной — всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. *Здесь* и *завтра*. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу — то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.

Море — здесь, и его — нет.

Утром, по дороге к морю, Валерия:

— Чувствуешь, как пахнет? Отсюда — пахнет!

Еще бы не чувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но... в том-то и дело, что *не* узнаю: свободная стихия так *не* пахла, и синяя открытка так *не* пахла.

Настораживаюсь.

Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки.

— Эта скала называется Лягушка, — торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. — Это — *наша* лягушка.

От меня до лягушки — немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

— А это — грот, — поясняет Володя, глядя себе под ноги, — тоже наш грот, здесь все наше, — хочешь, полезем? Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну — чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка — еще вода, много, чем дальше — тем бледней, и что кончается она белой блестящей линейной чертой — того же серебра, что

все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая — и башмаки соленые.

Море голубое — и соленое.

И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:

Прощай, свободная стихия!

Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом — нет, и все же мелчу и мелчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется — какое желание? — ах, *к морю!* — но, значит, уже никакого желания нет? но все равно — даже *без* желания! я должна дописать *до* волны, *все* дописать *до* волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

Александр Сергеевич Пушкин —

и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как *тот* гранит...

Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться — точь-в-точь как юноша, мечтавший о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое *к морю* было — пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн *его души*, и естественно, что я в Средиземном море со скалой *Лягушкой*, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди — не узнала.

В пушкинскую грудь — в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего — в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К морю было: море + любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! — поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно — Борис Пастернак:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, —

опустив или подразумев третью и единственную: лирическую.

Но *К морю* было еще и любовь *моря* к Пушкину: море — друг, море — зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин — забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море — взаимное, тот единственный случай взаимности — до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море — мое море — море моего и пушкинского *К морю* могло быть только на листке бумаги — и внутри.

И еще одно: пушкинское море было — море прощания. Так — с морями и людьми — не встречаются. Так — прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин — навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.

Мое море — пушкинской свободной стихии — было море последнего раза, последнего глаза.

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» — или без всякого оттого — я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь — а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием — с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила — белым по серому — шифером по шиферу — и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И — больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась — прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются — никогда.

1937





А. С. Эфрон

СТРАНИЦЫ БЫЛОГО

Какой она была?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом — сто шестьдесят три сантиметра, с фигурой египетского мальчика — широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны — без резкости — движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали седеть — и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом — смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнувши были глаза — зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего не додуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри; казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности,

лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо, никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь — сжата, реплики — формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию. Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика — и не удовлетворена — ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них — или воображала! — «искру божью» дара; в каждом таком чуяла собрата, преемника — о, не своего! — самой Поэзии! — но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действительно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти — хотя бы подставить плечо; делилась последним, наисущественнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда — беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких — друзей, детей — требовала, как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную вре-

менем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом — «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.

Курила: в России — папиросы, которые сама набивала, за границей — крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричнево-ности, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее — горы, скалы, лес — языческой, обожествляющей, и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала, что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель — юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно — холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, — плющ, вереск, дикий виноград, кустарнички.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до, взобраться на; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, — хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаянья, даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники.

Ненавидела быт — за неизбежность его, за бесполезную повто-

ряемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного. Терпеливо и отчужденно превозмогала его — всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, не менее охотно развязывая их. Обществу «правильных» людей предпочитала окружение тех, кого принято считать чужаками. Да и сама слыла чужакой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтילה старость.

Обладая изысканным чувством юмора, не видела смешного явно или грубо смешном.

Из двух начал, которым было подвлиянно ее детство — изобразительные искусства (сфера отца) и музыка (сфера матери), — восприняла музыку. Форма и колорит — достоверно осязаемое и достоверно зримое — остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного — так дети «смотрят картины», — поэтому, скажем, книжная графика, и в частности гравюра (любила Дюрера, Доре), была ближе ее духу, нежели живопись.

Ранняя увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для нее, вместе с юностью, в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны.

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» — немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю.

К людям труда относилась — неизменно — с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень, пустозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга. При всей своей скромности знала себе цену.

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку — с тем же *чувством ответственности*, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась — острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала — только в тетрадях, любых — от школьных до гротескных, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего — сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала *основное*, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии *только* сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища *то самое* слово — понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приближенностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а — подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным, круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится *рукописью для себя одной*.

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая.

Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаивая: *любые*.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты — всем заботам и тяготам дня.

Ее семья

Марина Цветаева родилась в семье, являвшей собой некий союз одиночеств. Отец, Иван Владимирович Цветаев, великий и бескорыстный труженик и просветитель, создатель первого в дореволюционной России Государственного музея изобразительных искусств, ставшего ныне культурным центром мирового значения, рано потерял горячо любимую и прелестную жену — Варвару Дмитриевну Иловайскую, которая умерла, подарив мужу сына. Вторым браком Иван Владимирович женился на юной Марии Александровне Мейн, долженствовавшей заменить мать его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, — женился, не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами — благородством, самоотверженностью, серьезностью не по летам.

Однако Мария Александровна оказалась слишком *собой*, чтобы служить *заменой*, сходство же черт (высокий лоб, карие глаза, темные волнистые волосы, нос с горбинкой, красивый изгиб губ) лишь подчеркивало разницу в характерах: вторая жена не обладала ни грацией, ни мягким обаянием первой; эти женственные качества не так-то часто сосуществуют с мужской силой личности и твердостью характера, отличавшими Марию Александровну. К тому же сама она росла без матери; воспитавшая ее гувернантка-швейцарка, женщина большого сердца, но неумная, сумела внушить ей лишь «строгие правила», без оттенков и полутонов. Все остальное Мария Александровна внушила себе сама.

Замуж за Ивана Владимировича она вышла, любя другого, брак с которым был невозможен, вышла, чтобы, поставив крест на невозможном, обрести цель и смысл жизни в повседневном, будничном служении человеку, которого она безмерно уважала, и двум его осиротевшим детям.

В доме, бывшем приданым Варвары Дмитриевны и еще не оставшем от ее присутствия, молодая хозяйка завела свои собственные порядки, рожденные не опытом, которого у нее не было, а одной лишь внутренней убежденностью в их необходимости, порядки, пришедшиеся не по нраву ни челяди, ни родственникам первой жены, ни, главное, девятилетней падчерице.

Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то и поняла в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила; главным же образом — *чужеродности* самой природы ее — собственной своей

природе, самой ее человеческой сущности — собственной своей; этого необычайного сплава мятежности и самодисциплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это било через край, не умещаясь в общепринятых тогда рамках. Может быть, не приняла Валерия и сумрачной, неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны.

Так или иначе, несовместимость их характеров привела к тому, что Валерию, по решению семейного совета, возглавлявшегося ее дедом, историком Иловайским, поместили в Екатерининский институт «для благородных девиц», среди которых она обрела многочисленных наперсниц; Андрей же воспитывался дома; он с Марией Александровной ладил, хотя настоящей душевной близости между ними так и не возникло: он в этой близости не нуждался, Мария Александровна на ней не настаивала.

Любимый в семье, красивый, одаренный, в меру общительный, Андрей, вместе с тем, рос (и вырос) замкнутым и обособленным — на всю жизнь, так до конца не открывшись ни людям, ни самой жизни и не проявив себя в ней в полную меру своих способностей.

Из двух дочерей от второго брака Ивана Владимировича наиболее для родителей легкой оказалась (или показалась) младшая, Анастасия; в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины и младшестью своей и незащищенностью была ближе матери, отдыхавшей с ней душою: Асю можно было *просто* любить. В старшей же, Марине, Мария Александровна слишком рано распознала себя, свое: свой романтизм, свою скрытую страстность, свои недостатки — спутники таланта, свои вершины и бездны — плюс собственные Маринины! — и старалась укрощать и выравнивать их. Конечно же, и *это* было материнской любовью, и, может быть, в превосходной степени, но в то же время это была борьба с самой собой, уже состоявшейся, в ребенке, еще не определившемся, борьба с будущим — сколь безнадежная! — во имя самого будущего... Борясь с Мариной, мать боролась за нее, — втайне гордясь тем, что не может одержать победу!

Причин тому, что дочери Марии Александровны не дружили в детстве, а сблизились сравнительно поздно, уже подростками, было несколько: они заключались и в детской ревности Марины к Асе (которой материнская нежность и снисходительность доставались так легко!), и в Марининой тяге к обществу старших, с которыми она могла померяться умом, и к обществу взрослых, у которых она могла им обогатиться, и в ее стремле-

нии к главенству — над равными, если не над сильнейшими, но отнюдь не над более слабыми, и в том наконец, что ей, ребенку раннего и самобытного развития, попросту была неинтересна младенческая Асина несамостоятельность. Лишь перегнав самое себя во внутреннем росте, перемахнув через двухгодичную разницу в возрасте (равноценную взрослому двадцатилетию!), стала Ася Марининым другом, другом отроческих и юных лет. Ранняя смерть матери еще более объединила их, осиротевших.

В весеннюю свою пору сестры являли определенное сходство — внешности и характера; основное же различие выразилось в том, что Маринина разносторонность обрела — рано и навсегда — единое и глубокое русло целенаправленного таланта, Асины же дарования и стремления растекались по многим руслам, и духовная жажда ее утолялась из многих источников. В дальнейшем жизненные пути их разошлись. [...]

Ивану Владимировичу все его дети были равно дороги; разногласия в семье, для счастья которой он делал (и сделал) все, что мог, глубоко огорчали его. Отношения между ним и Марией Александровной были полны взаимной доброты и уважения: Мария Александровна, помощница мужа в делах музея, понимала его одержимость в достижении многотрудной цели его жизни — и его отвлеченность от дел домашних; Иван Владимирович, оставаясь чуждым музыке, понимал трагическую одержимость ею своей жены; трагическую, ибо, по неписаным законам той поры, сфера деятельности женщины-пианистки, каким бы талантом она ни обладала, ограничивалась стенами собственной комнаты или гостиной. В концертные залы, где фортепьянная музыка звучала для множеств, женщина имела доступ только в качестве слушательницы. Наделенная даром глубоким и сильным, Мария Александровна была осуждена остаться в нем замкнутой, выражать его лишь для себя одной.

Детей своих Мария Александровна растила не только на сухом хлебе долга: она открыла им глаза на никогда не изменяющеее человеку, вечное чудо природы, одарила их многими радостями детства, волшебством семейных праздников, рождественских елок, дала им в руки лучшие в мире книги — те, что прочитываются впервые; возле нее было просторно уму, сердцу, воображению.

Умирая, она скорбела о том, что не увидит дочерей взрослыми; но последние слова ее, по свидетельству Марины, были: «Мне жалко только музыки и солнца».

Ее муж, его семья

В один день с Мариной, но годом позже — 26 сентября ст. ст. 1893 года — родился ее муж, Сергей Яковлевич Эфрон, шестым ребенком в семье, где было девять детей.

Мать его, Елизавета Петровна Дурново (1855—1910), из старинного рода, единственная дочь рано вышедшего в отставку гвардейского офицера, адъютанта Николая I, и будущий ее муж, Яков Константинович Эфрон (1854—1909), слушатель Московского технического училища, были членами партии «Земля и воля»; в 1879 году примкнули к группе «Черный передел». Познакомились они на сходке в Петровском-Разумовском. Красивая строгой и вдохновенной красотой черноволосая девушка, тайно приехавшая из Дворянского собрания и одетая в бальное платье и бархатную накидку, произвела на Якова Константиновича впечатление «существа с иной планеты»; но планета у них оказалась одна — революция.

Политические взгляды Елизаветы Петровны, которой довелось сыграть немаловажную роль в революционно-демократическом движении своего времени, сложились под влиянием П. А. Кропоткина*. Благодаря ему она стала — еще в ранней юности — членом I Интернационала и твердо определила свой жизненный путь. Кропоткин гордился своей ученицей, принимал живое участие в ее судьбе. Дружбу между ними прервала лишь смерть.

Яков Константинович и Елизавета Петровна выполняли все, самые опасные и самые по-человечески трудные, задания, которые поручала им организация. Так, Якову Константиновичу, вместе с двумя его товарищами, было доверено привести в исполнение приговор Революционного комитета «Земли и воли» над проникшим в московскую организацию агентом охраны, провокатором Рейнштейном. Он был казнен 26 февраля 1879 года. Обнаружить виновных полиции не удалось.

В июле 1880 года Елизавета Петровна была арестована при перевозке из Москвы в Петербург нелегальной литературы и станка для подпольной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. Арест дочери был страшным ударом для ничего не подозревавшего отца, ударом и по родительским его чувствам, и по незабываемым его монархическим убеждениям. Благодаря своим обширным связям он сумел взять дочь на поруки; ей удалось бежать за границу; туда за ней последовал Яков Константинович, там они обвенчались и провели долгих семь лет. Первые их дети — Анна, Петр и Елизавета — родились в эмиграции.

По возвращении в Россию жизнь Эфронов сложилась нелегко: народовольческое движение было разгромлено, друзья — рассеяны по тюрьмам, ссылкам, чужим краям. Состоявший под гласным надзором полиции, Яков Константинович имел право на должность страхового агента — не более. Работа была безрадостной и бесперспективной, а малый оклад едва позволял содержать — кормить, одевать, учить, лечить — все прибавлявшуюся семью. Родители Елизаветы Петровны, пожилые, немощные,

жили отъединенно и о нужде своих близких попросту не догадывались; дочь же о помощи не просила.

При всех повседневных трудностях, при всех неутешных горестях (трое младших детей умерли: Алеша и Таня — от менингита, общий любимец семилетний Глеб — от врожденного порока сердца), — семья Эфронов являла собой удивительно гармоничное содружество старших и младших; в ней не было места принуждению, окрику, наказанию; каждый, пусть самый крохотный, ее член рос и развивался свободно, подчиняясь одной лишь дисциплине — совести и любви, наипросторнейшей для личности и вместе с тем наанстрожайшей, ибо — добровольной.

Каждый в этой семье был наделен редчайшим даром — любить другого (других) так, как это нужно было другому (другим), а не самому себе; отсюда присущие и родителям, и детям самоотверженность без жертвоприношения, щедрость без оглядки, такт без равнодушия, отсюда способность к самоотдаче, вернее — к саморастворению в общем деле, в выполнении общего долга. Эти качества и способности свидетельствовали отнюдь не о «вегетарианстве духа»; все — большие и малые — были людьми темпераментными, страстными, и тем самым — пристрастными; умея любить, умели ненавидеть, но — умели и «властвовать собою».

В конце 90-х годов Елизавета Петровна вновь возвращается к революционной деятельности. С ней вместе этим же путем идут и старшие дети. Яков Константинович все той же работой все в том же страховом обществе продолжает служить опорой своему «гнезду революционеров». В часто меняющихся квартирах, снимаемых им, собираются и старые товарищи родителей, и друзья молодежи — курсистки, студенты, гимназисты; на даче в Быкове печатают прокламации, изготавливают взрывчатку, скрывают оружие.

На фотографиях тех и позднейших лет сохранился мужественный и нежный образ Елизаветы Петровны — поседевшей, усталой, но все еще несогбенной женщины, со взором, глядящим вглубь и из глубины; ранние морщины стекают вдоль уголков губ, исчерчивают высокий, узкий лоб; скромная одежда слишком свободна для исхудавшего тела; рядом с ней — ее муж; у него — не просто открытое, а как бы распахнутое лицо, защищенное лишь плотно сомкнутым небольшим ртом; светлые, очень ясные глаза; вздернутый, мальчишеский нос. И — та же ранняя седина, и — те же морщины, и та же печать терпения, но отнюдь не смирения, и на этом лице.

Их окружают дети: Анна, которая будет руководить рабочими кружками и строить баррикады вместе с женой Баумана; Петр, которому, после отчаянных по смелости антиправительственных действий и дерзких побегов из неволи, будет разрешено вернуться из эмиграции лишь в канун первой мировой войны — чтобы умереть на родине; Вера, так названная в честь друга

матери, пламенной Веры Засулич, — пока еще девочка с косами, чей взрослый жизненный путь также начнется с тюрем и этапов; Елизавета («солнце семьи», как назовет ее впоследствии Марина Цветаева) — опора и помощница старших, воспитательница младших; Сережа, которому предстоит прийти к революции самой тяжелой и самой кружной дорогой и выпрямлять ее всю свою жизнь — всей своей жизнью; Константин, который уйдет из жизни подростком и уведет за собой мать...

Политическая активность Елизаветы Петровны и ее детей-соратников достигла своей вершины и своего предела в революции 1905 года. Последовавшие затем полицейские репрессии, обрушившиеся на семью, раздробили единство ее судьбы на отдельные судьбы отдельных людей. В лихорадке обысков, арестов, следственных и пересыльных тюрем, побегов, смертельной тревоги каждого за всех и всех за каждого Яков Константинович вызволяет из Бутырок Елизавету Петровну, которой угрожает каторга, вносит с помощью друзей разорительный залог и переправляет жену, больную и измученную, за границу, откуда ей не суждено вернуться. В эмиграции она лишь ненадолго переживает мужа и только на один день — последовавшего за ней в изгнание младшего сына, последнюю опору своей души.

В пору первой русской революции Сереже исполнилось всего 12 лет; непосредственного участия в ней принимать он не мог, ловя лишь отголоски событий, сознавая, что помощь его старшим, делу старших — ничтожна, и мучаясь этим. Взрослые отодвигали его в детство, которого больше не было, которое кончилось среди испытаний, постигших семью, — он же рвался к взрослости; жажда подвига и служения обуревала его, и как же неспособно было утолить ее обыкновенное учение в обыкновенной гимназии! К тому же и учение, и само существование Сережи утратили с отъездом Елизаветы Петровны и ритм, и устойчивость; жить приходилось то под одним, то под другим кровом, применяясь к тревожным обстоятельствам, а не подчиняясь родному с колыбели порядку; правда, одно показавшееся мальчику безмятежным лето он провел, вместе с другими членами семьи, около матери, в Швейцарии, в местах, напомнивших ей молодость и первую эмиграцию.

Подростком Сережа заболел туберкулезом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть ее долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав — он смолчал. Горе было больше слез и слов.

В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким.

Одиночество это разомкнула только Марина.

Они встретились — семнадцатилетний и восемнадцатилетняя — 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой, коктейльском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он

стал помогать ей — красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) — с поразительными, огромными, в пол-лица глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, наощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, — и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день...

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

В 1914 году Сережа, студент 1-го курса Московского университета, отправляется на фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия; он рвется в бои, но медицинские комиссии, одна за другой, находят его негодным к строевой службе по состоянию здоровья; ему удается, наконец, поступить в юнкерское училище; это играет роковую роль во всей его дальнейшей судьбе, так как под влиянием окружившей его офицерской, верноподданнической среды к началу гражданской войны он оказывается втиснутым в лагерь белогвардейцев. Превратно поняты идеи товарищества, верности присяге, вскоре возникшее чувство обреченности «белого движения» и невозможности изменить именно обреченным уводят его самым скорбным, ошибочным и тернистым в мире путем, через Галлиполи и Константинополь — в Чехию и Францию, в стан живых призраков — людей без подданства и гражданства, без настоящего и будущего, с неподъемным грузом одного только прошлого за плечами...

В годы гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказаниями», писем почти не было — вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это — кто знает! — судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, пядь за пядью, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я., уже перебравшегося в Чехию и поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение — ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан — и невозможен.

Помню один разговор между родителями, вскоре после нашего с матерью приезда за границу: «... И все же это было совсем не так, Мариночка», — сказал отец, с великой мукой все в

тех же огромных глазах, выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана».

«Что же — было?» — «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не „мы“, а — лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками — только и всего. Были битвы „за веру, царя и отечество“ и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи».

«Но как же Вы — Вы, Сереженька...» — «А вот так: представьте себе вокзал военного времени — большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею — все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается — минутное облегчение, — слава тебе, господи! — но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал — впрочем, вместе со многими и многими! — не в тот поезд... что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет — рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком — по шпалам — всю жизнь...»

После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».

Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем — по шпалам — в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком.

Из самого раннего

[...] В ребенке, которым я была, Марина стремилась развиваться, с колыбели, присущие ей самой качества: способность преодолевать трудное и — самостоятельность мыслей и действий. Рассказывала и объясняла не по поверхности, а чаще всего — глубже детского разума, чтобы младший своим умом доходил до заданного, а может быть, это заданное и опережал; приучала излагать — связно и внятно — увиденное, услышанное, пережитое — или придуманное. Никогда не опускалась до уровня ребенка, а неустанно как бы приподнимала его, чтобы встретиться с ним на той крайней точке, на которой сходятся взрослая мудрость с детской первозданностью, личность взрослого с личностью маленького.

Наградой за хорошее поведение, за что-то выполненное и преодоленное, были не сладости и подарки, а прочитанная вслух сказка, совместная прогулка или приглашение «погостить» в ее комнате. Забегать туда «просто так» не разрешалось. В многоугольную, как бы граненую, комнату эту, с волшебной элиза-

ветинской синей люстрой под потолком, с волчьей — немного пугающей, но манящей — шкурой у низкого дивана, я входила с холодком робости и радости в груди... Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах «Корсиканского жасмина», шелковый шорох платья и то, как сама она, по неутраченной еще детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу — реже в кресле или на диване, — поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и ее чтение вслух — сказок, баллад Лермонтова, Жуковского... Я быстро вытверживала их наизусть и, кажется, понимала; правда, лет до шести, произнося «не гнутся высокие матчи, на них флюгеране шумят», думала, что флюгеране — это такой неспокойный народец, снующий среди парусов и преданный императору; таинственной прелести балладе это не убавляло.

Марина позволяла и посидеть за ее письменным столом, втиснутым в простенок у маленького углового окна, за которым всегда ворковали голуби, порисовать ее карандашами и иногда даже в ее тетрадке, почтительно полюбоваться портретами Сары Бернар и Марии Башкирцевой, потрогать пресс-папье — «Нюрнбергскую деву», страшную чугунную фигурку с шипами внутри, привезенную когда-то дедом из Германии, и чугунного же «царя Алексея Михайловича»; скрепку для бумаг в виде двух ладоней — пальцы были совсем как настоящие и цепко держали записи и счета; лаковую карандашницу с портретом юного генерала 1812 года Тучкова IV; глиняную, посеребрённую птицу Сирин.

Из пузатого секретера доставалась большая книга в красном переплете — сказки Перро с иллюстрациями Дорэ, принадлежавшая еще Марининой матери, когда она была «такой же маленькой, как ты». Я рассматривала картинки, осторожно, только что вымытыми руками, переворачивала страницы с верхнего правого угла; ничто так не возмущало Марину, как небрежное, неуважительное отношение к книгам; когда я нечаянно разбила одну из двух ее любимых чашек старинного фарфора — к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: «Я разбила его жену! теперь он овдовел!», — меня не только не ругали, но еще и утешали, а вот за какого-то «Степку-Растрепку», разорванного, потому что он был противный, всклокоченный урод, «такой же как ты, когда не хочешь мыться и причесываться», пришлось-таки постоять в углу, мрачно колукая известку... [...]

Марина не терпела ничего облегченного. Так, когда знакомые дарили мне альбомы для раскрашивания, она убирала их: «Сама нарисуй, тогда и раскрашивай; кто разрисовывает, или срисовывает, или списывает — чужое, тот обирает самого себя и никогда ничему не научится!»

Когда случайно выяснилось, что буквы я уже знаю, она стала учить меня читать слова, не разбивая их на слоги, а сразу

все слово целиком, сперва осознанное «про себя», потом произносимое вслух. Перо, вложенное сю в мои пальцы, никогда не выводило палочек и крючочков, предвещающих начертание букв, и не воспроизводило печатных прописей между двумя, механически организующими почерк, линейками; слова из букв и фразы из слов я должна была строить сама, и по одной линейке. Таким образом, мне постоянно приходилось думать о том, что я делаю и как. Пассивное, копиистическое начало из Маринино преподавания было изгнано раз и навсегда, замененное творческим. Вместо нудных примеров сразу же, с места в карьер, писались изложения, сочинения; обычно безликие, ученические тетради превращались в дневники; грамматика свелась к минимуму необходимейших и, как все насущное, несложных правил. Вместо способности возбуждать наизусть развивалась сама память, в первую очередь зрительная, и та самая наблюдательность, которой большинство детей так щедро наделены и которую так быстро утрачивают...

Смело выкинув из педагогической цепи промежуточные звенья, Марина выучила меня читать — бегло и достаточно осмысленно — к четырем годам, писать — к пяти, а вести дневниковые записи — более или менее связно и вполне (по старому правописанию!) грамотно — к шести-семи годам.

Так как начало моей «письменности» совпало с началом революции, записи эти, полвека спустя, может быть, представляют какой-то интерес [...].

[...] Молочница Дуня приходила к нам — с бидоном в руке и с мешком за спиной — с незапамятных времен и вплоть до тяжелой зимы 1919—20 года, в которую — просто исчезла. Мы так никогда и не узнали, что с ней, жива ли она?

В эту же зиму умерла моя младшая сестра Ирина — та, что пила молоко, — крутолобая, в буйных светлых локонах, сероглазая девочка, все распевавшая „Ма'ина, Ма'ина моя!“ (Марина моя!), — и как-то даже естественным показалось, что пересохла и молочная струйка, питавшая ее.

В постоянстве Дуниных приходов, в кроткой обреченности, с которой брала она за бесценное молоко ничего не стоившие бумажные тысячи и миллионы, а не меняла его, как все «деревенские», на вещи, в той щедрости, с которой отмеряла его в предоставленную кастрюлю, было нечто, родившее ее с самой Мариной, столь отзывчивой и столь не «деловой».

Они подружились по-своему — странная «барыня» и странная молочница. Дружба эта — двух матерей — почти не нуждалась в словах; у Марины нас было двое, а у Дуни — три сына и две дочки; Марина часто дарила Дуне что-нибудь из нашего хаотического хозяйства, а та — не обессудьте! не побрезгуйте! — угощала нас мятыми, картофельно-ржаными лепешками, а то и совала Ирине крутое, придавленное в поездной толчее, яйцо.

Черты Дуниного лица были строгие, а выражение — мяг-

кое, как бы прислушивающееся, чуть удивленное и виноватое. Сколько ей могло быть лет? — не знаю; материнские лица — вне возраста.

Однажды Дуня приехала не одна — за ее бурую кофту, в талью, с буфами — держался Вася, младший из ее мальчиков, мой сверстник. «Вот, барыня, привезла его Москву посмотреть. Все приставал, какая она да какая — Москва-то!» «Ну как, — спросила Марина, — понравилось тебе в городе?» Мальчик молчал отчаянно, не отрывая глаз от собственных лаптей, и начал оттаивать — мотать и кивать головой — только на кухне за самоваром. Самовар же был непростой: с того дня, как Марина попробовала сварить в нем пшено, он заткнулся навечно, и кипяток из него приходилось добывать через верх.

После чая Вася разомлел, стал клевать носом; Марина предложила Дуне уложить его; кровать была металлическая, с шишечками, с пружинным матрасом. Мальчик приоткрыл слипающиеся глаза, в них мелькнуло материнское, изумленно-извиняющееся выражение. «Первый раз на пружине сплю!» — прошептал он. Марина закусил губу. «Оставьте его погостить у нас, Дуня, — проговорила она. — Москву ему покажу...» И Вася остался. Марина обула его в мои башмаки, водила в Кремль и в Зоологический сад, все терпеливо объясняла и рассказывала.

Как некогда я в цирке, Вася смотрел не туда и не на то; так, в Зоологическом саду больше всего поразили его деревья, обнесенные решетками. «Глянь-ка, и деревья в клетку посадили... чудно!» Дома Васей завладевала я, глуша его книжками, игрушками и собственным превосходством: как-никак я ведь была грамотная и городская! Правда, когда он уезжал, игрушки я отдала ему почти все и без Маринино напоминания, а что до столичного моего превосходства, то хватило нескольких дней, даже часов, проведенных мною в Козлове, чтобы доказать, что бестолковее меня нет во всей деревне.

Приехавшая за мной Марина у Дуни не загостилась. «Отдыхать», когда все кругом трудятся, она не могла, а работать по-крестьянски не умела. Крестьянский «патриархальный» быт — со всепожирающей русской печью во главе угла — ужасал и возмущал ее. Неподъемности его не искупала ни прелестная природа со всеми ее восходами и закатами, ни песни за рекой, ни расшитые полотенца под иконами...

Еще одна простая женщина была так же, как и Дуня, молчаливо добра к Марине и мила ей душевно — жена жившего во дворе нашего дома сапожника Гранского.

У Гранских была очень маленькая, чистенькая полуподвальная квартира-норка; в одной из комнатушек ее постоянно постукивал молотком мрачноватый сапожник. Иногда он бывал «выпимши», и тогда вся семья его — жена и трое детей — поживались, оглядывались и шептались.

Когда ни зайдешь к ним — а ход был через кухню, — видишь: на длинном медном кране над раковиной лежит, подобрав лапки, кошка, и время от времени слизывает набегающую каплю, а жена сапожника все возится по хозяйству — стирает, стряпает, шьет.

Вот эта-то женщина, маленькая, невидная, такая же, как Дуня, безвозрастная, часто забежала к нам с черного хода, доставала из-под платка мисочку с несколькими картошками или с ячменной кашицей, совала ее Марине в руки, приговаривая: «Кушайте на здоровье! Не стоит благодарности!» И еще, от правуха в деревню к бабушке младшую, слабенькую, дочку, отдавала нам ее продуктовую карточку.

Вообще же в трудные годы помогали Марине только женщины. Мужчинам это просто не приходило в голову. Или так редко!

«Вечер Блока»¹

Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок — такой же великий поэт, как Пушкин. И волнующее предчувствие чего-то прекрасного охватывает меня при каждом ее слове. Марина сидит в крохотном ковчеге художника Милиотти и рассматривает книги. Его самого нет.

Я бегаю по саду. Вывески: „Читает Александр Блок“, „В Политехническом музее читает П. Коган“. И вообще все по-праздничному — как на Воробьевых горах: в аллеях под деревьями продают лепешки и играет граммофон.

Наконец приходят художники Милиотти и Вышеславцев и поэт Павлик Антокольский с женой. Мы идем за билетами. Входим в переднюю с раковинами, где серебряный истукан с пикой звонит „К Блоку“. Идем в розовую бархатную залу. Все места заняты, а Его все-еще нет. Антокольский приносит нам несколько стульев. Чуть только расселись, в толпе проносится шепот: — „Блок! — Блок! — Где он? — Блок! — За столик садится! — Сирень!..“ Все изъявляли безумную радость.

Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущенные, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица.

Он читает поэму „Возмездие“. Там говорится про Байрона, про ненастоящего Байрона, который очаровал младшую дочь из старой дворянской семьи. И будто дочь вышла за него замуж, и он увез ее с собой. В один сумрачный день она приехала одна. Худая, утомленная, она держала на руках грудного ребенка. И вот сын стал взрослый, но не пошел воевать, а веселился на балах. И вот один раз, танцуя, он узнал, что его

¹ «Вечер Блока» и (далее) «Юбилей Бальмонта» — дневниковые записи 7—8-летней Али. — Сост.

отец умирает в Варшаве на улице Роз. Но когда он туда приехал, то увидел, что отец лежит в постели мертвый. (Описание наружности отца в гробу совсем совпадает с наружностью Блока. благородные глаза закрыты. Тело вытянуто и благородно. На пальце — обручальное кольцо.) Он снял кольцо с благородного пальца отца и перекрестил отца на сон веков.

Когда сын стоял у могилы, тут же была женщина в черном платье и траурной вуали.

В другой части Александр Александрович читал про войну, про войска, которых много погибло в бою, но они шли, полны героизма, и на них смотрела императрица.

Он говорил ровным, одинаковым голосом.

Мне кажется, он еще говорил, что сын забыл отца.

Потом А. А. Блок остановился и кончил. Все аплодируют. Он смущенно откланивается. Народ кричит: „Прочтите несколько стихов!“, „Двенадцать“, „Двенадцать, пожалуйста“.

— Я... я не умею читать „Двенадцать“!

— „Незнакомку“! „Незнакомку“!

„Утро туманное, — читает А. А. Блок. — Как мальчик шаркнула, поклон отвешивает. До свиданья! И звякнул о браслет жетон. Какое-то воспоминанье!“ (Эти строчки у меня остались в памяти с ранних лет и останутся навсегда.)

Больше я стихов в напеве не помню, но могу передать в прозе: „Твое лицо лежит на столе в золотой оправе передо мной. И грустны воспоминания о тебе. Ты ушла в ночь в темно-синем плаще. И убираю твое лицо в золотой оправе со стола“.

А. А. Блок читает „колокольцы“, „кольцы“, оканчивая на „ы“. Читает деревянно, сдержанно, укороченно. Очень сурово и мрачно. „Ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольца“.

Иногда Блок забывал слова и тогда оглядывался на сидящих за его спиной даму и господина, которые, слегка улыбаясь, подсказывали ему.

У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг.

Становилось темно, и Блок с большими расстановками читал. Наверное, от темноты. Тогда какой-то господин за нашей спиной зажег свет. Зажглись все свечи в люстре и огромные лампы по бокам комнаты, очень тусклые, окованные в толстое стекло.

Через несколько минут все кончилось. Марина попросила В. Д. Милиотти провести меня к Блоку. Я, когда вошла в комнату, где он был, сперва сделала вид, что просто гуляю. Потом подошла к Блоку. Осторожно и легко взяла его за ру-

кав. Он обернулся. Я протягиваю ему письмо¹. Он улыбается и шепчет: „Спасибо“. Глубоко кланяюсь. Он небрежно кланяется с легкой улыбкой. Ухожу.

15 мая 1920»

Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтит не как собрата по «струнному рукоделию», а как *божество* от поэзии, и которому, как *божеству*, поклонялась. Всех остальных, ею любимых, она ощущала соратниками своими, вернее — себя ощущала собратом и соратником их, и о каждом — от Третьяковского до Маяковского — считала себя вправе сказать, как о Пушкине: «перья на востроты знаю, как чинил: пальцы не просохли от его чернил!»

Более того, каждого из них — даже бесплотнейшего Рильке! — почитала и осызала она братом еще и по плоти и крови, зная, что стихи не одним лишь талантом порождаются, а и всеми бедами, страстями, слабостями и радостями живой человеческой плоти, *ее* болевым опытом, *ее* волей и силой, *пóтом* и трудом, голодом и жаждой. Не меньшим, чем творчеству поэтов, было *ее* сочувствие и со-страдание их физической жизни, «стесненности обстоятельств» или стесненности обстоятельствами, сквозь которые ей, жизни, надлежало пробиваться.

Творчество одного лишь Блока восприняла Цветаева как высоту столь поднебесную — не отрешенностью от жизни, а — *очищенностью* ею (так огнем очищаются!), — что ни о какой сопричастности этой творческой высоте она, в «греховности» своей, и помыслить не смела — только коленопреклонялась. Таким поэтическим коленопреклонением, таким сплошным «аллилуйя» стали все ее стихи, посвященные Блоку в 1916 и 1920—1921 годах, и проза о нем, с чтением которой она выступала в начале 30-х годов в Париже; нигде не опубликованная, рукопись эта не сохранилась.

Подобно тому, как читатели моего поколения говорят «Па-стернак и Цветаева», так ее поколение произносило «Блок и Ахматова». Однако для самой Цветаевой соединительная частица между этими двумя именами была чистойшей условностью; знака равенства между ними она не проводила; ее лирические славословия Ахматовой являли собой выражение доведенных до апогея сестринских чувств, не более. Они и были сестрами в поэзии, но отнюдь не близнецами; абсолютная гармоничность, духовная пластичность Ахматовой, столь пленившие вначале Цветаеву, впоследствии стали ей казаться качествами, ограничивавшими ахматовское творчество и развитие ее поэтической личности. «Она — совершенство, и в этом, увы, *ее* предел», — сказала об Ахматовой Цветаева.

¹ Конверт со стихами Марины Цветаевой к Блоку. — Сост.

Помню, как Павлик Антокольский принес и подарил Марине «Двенадцать» Блока, большого формата, белую с черным — *Черный вечер, белый снег* — книгу с пронзительными анненковскими иллюстрациями; как, прямо с порога бывшей нашей столовой, начал читать, сверкая угольными, дикими глазами; как отбивал в воздухе такт кулаком; как шел на нас, слепо огибая препятствия, пока не уперся в стол, за которым сидела и из-за которого ему навстречу привстала Марина; как дочитал до конца, и как Марина, молча, не поднимая глаз, взяла у него книгу из рук. В минуты потрясений она опускала веки, стискивала зубы, не давала выхода кипевшему в ней, внешне леденевя.

Феномен «Двенадцати» не только потряс ее, но в чем-то основном творчески устыдил, и за себя, и за некоторых ее современников — поэтов. Об этом много и резко говорилось в той ее, Блоку посвященной, прозе, в частности о том, что «Балланчик», оставленный Блоком за пределами Революции, именно в Революцию послужил, пусть недолговечным, но убежищем — многим поэтам, начиная с нее самой, создавшей в ту пору цикл изящных не по эпохе пьес... Но —

Не Муза, не Муза, — не бранные узы
Родства — не твои пути,
О Дружба: — Не женской рукой, —
лютой

Затянут на мне —
Узел...

Сей страшен союз. — В черноте рва
Лежу — а Восход светел.
О, кто невесомых моих два
Крыла за плечом —
Взвесил?

В поэме «На красном коне» (1921), зашифрованной посвящением Анне Ахматовой, впоследствии снятом, предстает сложный, динамичный в своей иконописности образ «обожествленного» Цветаевой Блока — создателя «Двенадцати», Георгия-Победоносца Революции, чистейшего и бесстрашнейшего Гения поэзии, обитателя тех ее вершин, которые Цветаева считала для себя недостижимыми.

Видела и слышала она Блока дважды на протяжении нескольких дней, в Москве, 9 и 14 мая 1920 года, на его чтениях в Политехническом музее и во Дворце Искусств. Знакома с ним не была и познакомиться не отважилась, о чем жалела и — чему радовалась, зная, что только воображаемые встречи не приносят ей разочарования...

Мы с Мариной пришли во Дворец Искусств, зная, что сегодня необыкновенный праздник — юбилей Бальмонта. В саду я немного отстала и вдруг вижу Бальмонта с Еленой и Миррой и розу-пион в руках Бальмонта. Марина берет билет, и мы идем в залу. Елена (по-бальмонтovski Элэна) уже заняла свое место. Мирра знаками зовет меня поделить с ней розовую мягкую табуретку. Вносят два голубых в золотой оправе стула, а третий — кресло для Бальмонта. Его ставят посередине.

Бальмонт входит, неся тетрадь и розу-пион. С грозным львиным и скучающим лицом он садится, на один стул кладет тетрадку и цветы, а на другой садится поэт Вячеслав Иванов. Все рукоплещают. Он молча кланяется, несколько минут сидит, потом встает в уголок между стулом и зеркалом и, покачивая свое маленькое кресло, начинает речь о Бальмонте, то есть Вступительное Слово.

К сожалению, я ничего не поняла, потому что там было много иностранных слов. Иногда среди речи Вячеслава Ивановича раздавались легкие рукоплескания, иногда — возмущенный шепот не соглашающихся.

На минуточку выхожу из душевой залы вниз, в сад, пробегаю его весь, не минуя самых закоулков, думая в это время, как же это люди могли жить в таких сырых, заплесневелых подвалах дома Соллогуба. Возвращаюсь, когда Вячеслав Иванович кончает, вылезает из своего углового убежища и крепко пожимает Бальмонту руку. [...]

Кто-то громко сказал: „Поэтесса Марина Цветаева“.

Марина подошла к Бальмонту и сказала: „Дорогой Бальмонт! Вручаю Вам эту картину. Подписались многие художники и поэты. Исполнял В. Д. Милиотти“. Бальмонт пожал руку Марине, и они поцеловались. Марина как-то нелюдимо пошла к своему месту, несмотря на рукоплескания.

В это время стали играть на рояле музыку, такую бурную, что чуть не лопались клавиши. Пружины приоткрытого рояля трещали и вздрагивали, точно от боли. Мирра зажимала уши и улыбалась. А я совершенно равнодушно стояла и вспоминала, что видела поэта „великого, как Пушкин, — Блока“. Совсем недавно.

Последним выступал поэт Федор Сологуб. Он сказал: „Не надо равенства. Поэт — редкий гость на Земле. Поэт — воскресный день и праздник Мира. У поэта — каждый день праздник. Не все люди — поэты. Среди миллиона — один настоящий“.

При словах Сологуба „Не надо равенства“ вся толпа заговорила в один голос: „Как кому! Как кому! Не всем! Не всегда!“

Я уже думала, что всё, как вдруг выступил Иван Сергеевич

Рукавишников. В руках его — стихотворный журнал. Выходит и громко почти кричит свои стихи К. Д. Бальмонту. Когда он кончил, Бальмонт пожал ему руку...

Схожу с лестницы и думаю: почему в Дворце Соллогуба не было ночного праздника Бальмонта — с ракетами?

Вместе с Бальмонтом и его семьей идем домой.

1920»

Как возникла дружба Марины с Бальмонтом — не помню. казалось, она была всегда. Есть человеческие отношения, которые начинаются не с начала, а как бы с середины, и которые вовсе не имели бы конца, не будь он определен всему сущему на земле. Они длятся и длятся, минуя исходную, неустойчивую пору взаимного распознавания и итоговую, болевую — разочарований.

Эта — прямолинейная — протяженность дружбы, эта непрерывность и безобрывность ее (внешние причины обрывов — не в счет, говорю о внутренних) не были свойственны Марине, путнику не торных дорог.

Чаще всего она чересчур горячо увлекалась людьми, чтобы не охладевать к ним, опять-таки чересчур! (но что такое «чересчур» для поэта, как не естественное его состояние!) В слишком заоблачные выси она возносила их, чтобы не поддаваться искушению низвергнуть; слишком наряжала в качества и достоинства, которыми они должны были бы обладать, не видя тех, которыми они, быть может, обладали...

Не женское это было свойство у нее! — ведь наряжала она других, а не себя, и, по-мужски, просто *была*, а не слыла, выглядела, казалась. И в этой ее душевной и человеческой непринаряженности и незагримированности таилась одна из причин ее разминовений и разлук и — возникновения ее стихов — сейсмограмм внутренних потрясений.

Чем же была порождена дружба — столь длительная, без срывов и спадов, связывавшая именно этих двух поэтов?

Во-первых, поэтическому воображению Марины просто не было пиши в Бальмонте, который уже был — впрочем, как и сама Марина — максимальным выражением самого себя, собственных возможностей и невозможностей.

Во-вторых, разностихийность, разномасштабность, разноглубинность их творческой сути была столь очевидна, что начисто исключала самую возможность столкновений: лучшего, большего, сильнеешего Марина требовала только от родственных ей поэтов.

Оба они были поэтами «милостью божьей», но Марина всегда стояла у кормила своего творчества и *владела* стихией: стиха, в то время как Бальмонт был ей подвластен всецело.

Ни о ком — разве что о первых киноактерах! — не слагалось

до революции столько легенд, сколько рождалось их о Бальмонте, баловне поэтической моды. И юной Цветаевой он казался существом мифическим, баснословным. Октябрь же свел ее с живым и беспомощным (пусть необычайно деятельным, но — не впрок!) человеком, чья звезда со скоростью воистину космической устремлялась от зенита к закату. Одного этого было достаточно, чтобы Марина тотчас же подставила плечо меркнувшей славе, обреченному дарованию, надвигающейся старости...

На себя легендарного Бальмонт и походил, и не походил; изысканная гортанность его речи, эффектность поз, горделивость осанки, заносчивость вздернутого подбородка были врожденными, не благоприобретенными; так он держался всегда, в любом положении и окружении, до конца. Вместе с тем оказался он неожиданно рыхловат телом, не мускулист и приземист, с мягкими, совсем не такими определенными, как на портретах, чертами лица под очень высоким лбом — некая помесь испанского гранда с иереем сельского прихода; впрочем, гранд пересиливал.

Также неожиданными оказались и Бальмонтова простота, полнейшее отсутствие рисовки, и — отсутствие водянистости и цветистости в разговоре: сжатость, точность, острота речи. Говорил он отрывисто, как бы откусывая слова от фразы.

Наряду с почти уже старческой незащищенностью перед жизнью было у него беспечное, юношеское приятие ее такой, как она есть; легко обижаясь, обиды стряхивал с себя, как большой пес — дождевые капли.

Бальмонт принадлежал к тем, редчайшим, людям, с которыми взрослая Марина была на «ты» — вслух, а не в письмах, как, скажем, к Пастернаку, которого, в пору переписки с ним, почти не знала лично, или к Рильке, с которым не встречалась никогда. Чреватое в обиходе ненавидимым ею панибратством, «ты» было для нее (за исключением обращения к детям) вольностью и условностью чисто поэтической, но отнюдь не безусловностью прозаического просторечия. Перейдя на «ты» с Бальмонтом, Марина стала на «ты» и с его трудностями и неустройствами; помогать другому ей было всегда легче, чем себе; для других она горы ворочала.

В первые годы революции Бальмонт и Марина выступали на одних и тех же литературных вечерах, встречались в одних и тех же домах. Очень часто бывали у большой приятельницы Марины Татьяны Федоровны Скрябиной, вдовы композитора, красивой, печальной, грациозной женщины, у которой собирался небольшой кружок людей, прикосновенных к искусству. Из завсегдатаев-музыкантов больше всего запомнился С. Кусевицкий, любой разговор неуклонно переводивший на Скрябина. Дочерей композитора и Татьяны Федоровны звали как нас с Мариной. После смерти матери в 1922 году вместе с бабушкой-

бельгийкой и младшей своей сестрой Ариадна Скрябина, тогда подросток, выехала за границу. Двадцатилетие спустя она, мать троих детей, стала прославленной героиней французского Сопротивления и погибла с оружием в руках в схватке с гитлеровцами.

На наших глазах квартира Скрябина начала превращаться в музей; семья передала государству сперва кабинет композитора, в котором все оставалось как при нем и на тех же местах, и в этой большой комнате с окнами, выходящими в дворовый палисадник с цветущими в нем до середины лета кустами «разбитых сердец», начали изредка появляться первые, немногочисленные, экскурсанты.

Почти всегда и почти всюду сопровождала Бальмонта его жена Елена, маленькое, худенькое, экзальтированное существо с огромными глазами, всегда устремленными на мужа. Она, как негасимая лампадка у чудотворной иконы, все время теплилась и мерцала около него. Марина ходила с ней по очередям, впрягалась в мои детские саночки, чтобы помочь ей везти мороженую картошку или случайно подвернувшееся топливо; получив пайковую осьмушку махорки, отсыпала половину «Бальмонтнику»; он набивал ею великолепную английскую трубку и блаженно дымил; иногда эту трубку они с Мариной, экономя табак, курили вдвоем, деля затяжки, как индейцы.

Жили Бальмонты в двух шагах от Скрябиных и неподалеку от нас, вблизи Арбата. Зайдешь к ним — Елена, вся в саже, копошится у сопротивляющейся печурки, Бальмонт пишет стихи. Зайдут Бальмонты к нам — Марина пишет стихи, Марина же и печку топит. Зайдешь к Скрябиным — там чисто, чинно и тепло, — может быть, потому, что стихов не пишет никто, а печи топит прислуга...

Когда Бальмонты собрались за границу — думалось, что ненадолго, оказалось — навсегда, мы провожали их дважды: один раз у Скрябиных, где всех нас угощали картошкой с перцем и настоящим чаем в безукоризненном фарфоре; все говорило трогательные слова, прощались и целовались; но на следующий день возникли какие-то неполадки с эстонской визой, и отъезд был ненадолго отложен. Окончательные проводы происходили в невыразимом ералаше, табачном дыму и самоварном угаре оставляемого Бальмонтами жилья, в сутолоке снимающегося с места цыганского табора. Было много провожающих. «Марина была самой веселой во всем обществе сидящих за этим столом. Рассказывала истории, сама смеялась и других смешила, и вообще была так весела, как будто бы хотела иссушить этим разлуку», — записала я тогда в свою тетрадочку.

Но смутно было у Марины на душе, когда она перекрестила Бальмонта в путь, оказавшийся без возврата.

В эмиграции, продлившейся для Марины с 1922 по 1939 год, интенсивность дружбы ее с Бальмонтами оставалась неизмен-

ной, хотя встречи возникали после значительных перерывов, вплоть до 30-х годов, когда Константин Дмитриевич и Елена, перестав пытаться счастья в перемене мест и стран, горестно, как и мы, пристыли к парижским пригородам. Тогда мы стали видеться чаще — особенно, когда заболел Бальмонт.

Трудно вообразить, каким печальным было постепенное его угасание, какой воистину беспросветной — ибо помноженной на старость — нищета. Помогали им с Еленой многие, но всегда ненадежно и недостаточно. Люди обеспеченные помогать уставали, бедные — иссякали... И все это — постоянство нищеты, постоянство беспомощности — было окружено оскорбительным постоянством чужого, сытого, прочного — и к тому же нарядного — уклада и обихода. К витринам, мимо которых Марина проходила, искренне не замечая их, Бальмонт тянулся как ребенок и, как ребенка уговаривая, отвлекала его от них верная Елена. [...]

* * *

Приехав за границу, Эренбург разыскал Сережу. Первого июля 1921 года, в десять часов вечера, Марина получила первое от него письмо.

«Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости...

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы...

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю — сердце замирает — страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен — не буду об этом...

Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать...

О себе писать трудно. Все годы, что не с Вами, прожиты как во сне. Жизнь моя делится на „до” и „после”, и „после” — страшный сон, рад бы проснуться, да нельзя...

...Что сказать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, и каждый приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всё расскажу при свидании. Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем...»

Приписка мне:

«Родная моя девочка! Я получил письмо от И. Г., он пишет, что видел тебя, и передал мне те слова, что ты просила сказать мне от твоего имени. Спасибо, радость моя, — вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой. Я верю — мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем чтобы больше никогда не расставаться...»

Благословляю и целую тебя крепко.

Твой папа».

«— С сегодняшнего дня — жизнь. Впервые живу, — записала Марина в тетради, и тут же: — Письмо к С. — Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то — во всяком случае — каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Последние вести о Вас: Ваше письмо к Максусу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. — Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам...» (Оборвано.)

Чуть погодя — письмо к Ахматовой: «— Моя Радость! Жизнь сложна. Рвусь, потому что знаю, что жив, — 1 июля письмо, первое после двух лет молчания. Рвусь — и весь день обслуживаю чужих. Не могу жить без трудностей — не оправдана. Чувство круговой поруки: я — здесь — другим, кто-то — там — ему... Чужие жизни, которые нужно устраивать, ибо другие — еще беспомощнее (я, по крайней мере, веселюсь!), — целый день чужая жизнь, где я, может быть, и не так уж необходима...»

Пишу урывками — как награда. Стихи — роскошь. Вечное чувство, что не в праве. И — вопреки всему — благодаря всему — веселье, только не совсем такое простое, как кажется...»

* * *

Кто же были эти «чужие»? Чаще всего — действительно чужие, мимохожие люди, случайно прибывавшиеся к Маринину порогу, ютившиеся у нас как на полустанке, отогревавшие у нашей печурки, подкреплявшие (но не насыщавшиеся!) нашим хлебом и нашей кашей; некоторых, беспомощных до святости, «поставляла» Марине ее сестра Ася, жившая тогда в Крыму; некоторые прибывались сами; некоторых сама Марина, обладавшая безошибочным чутьем на (даже сокровенные) нужду физическую и беспризорность душевную, подбирала и подпирала плечом... Отдышавшись, чужие уходили, приставали к более надежным берегам; другие же, редчайшие одиночки, уходя — все равно оставались *своими*, пусть только в памяти.

Ну а стихи — стихи писались, несмотря ни на что и благодаря всему, будучи не «роскошью», и даже не насущностью,

а — неизбежностью. Писались сквозь все препятствия и отвлечения — их Марина умела отстранять, раздвигать, как раздвигала посторонние предметы, нараставшие на рабочем ее столе, чтобы освободить место для локтей и тетради.

Со дня получения письма от Сережи, письма, определившего ее решение ехать к мужу, — и до дня отъезда Мариной было создано свыше ста стихотворений, поэма «Переулочки», план и первая глава поэмы «Молодец», главы первого варианта поэмы «Егорушка», целое действие — к сожалению, утраченное — пьесы, условно названной «Давид», оставшейся незавершенной, множество дневниковых записей, не считая работы над увозимым с собой архивом, над рукописями, сдаваемыми в печать в Москве, и десятков и десятков писем, являвших собою в большинстве своем подлинные образцы цветаевской прозы.

По роковому стечению обстоятельств Марина покидала Россию именно тогда, когда Россия, вместе с революцией ворвавшаяся в ее творчество, внедрилась в нем всей своей много- и разноголосицей, всей народностью своих говорков, речений и просторечий, величальных песен, надгробных плачей, заговоров от глазу и прочих ворожб.

Воспитанная в традициях конца века, выросшая под надзором бонн, учившаяся в швейцарских пансионах, воспринявшая языки французский и немецкий наравне с родным, Марина, естественно, в совершенстве владела русским *литературным* языком, языком интеллигенции; на нем, в юности, и писала. зачастую оттачивая его на грациозный роستانовский лад или придавая ему гётевскую торжественность; но все это были языковые «вершки», а не «корешки»; корешки же, сама народная речь — таилась, до поры до времени, опять-таки в *литературе*, услышанная, отраженная и донесенная другими — классиками и современниками.

«Горожанка» и «дачница» в детские свои и юношеские годы, Марина не соприкасалась с жизнью народа, с речью его, ни в деревне, которой она не знала, ни на фабричных окраинах, куда не ступала ее нога. Немногословно было «простонародье» — прислуга, сторожа, дворники, прачки, домовые портнихи, — немногословно и почтительно; казалось, немногословно и почтительна была сама дореволюционная Москва...

Все изменилось в одно мгновение, в то самое, когда грянула «музыка революции», когда ранее не слышимое Мариной и невнятное ей обрело голос, силу которого она восприняла и вобрала в себя с тех пор — и навсегда. (Пройдет время, и сама она, все та же и далеко уже не та Цветаева, в известном своем письме к Маяковскому провозгласит не только *силу*, но и *правду* России революционной.)

Именно тогда, когда улицы и площади Москвы заполнились невиданными, немислимыми доселе хозяевами и зазвуча-

ли неслыханными доселе речами, Маринины тетради насытились записями разговоров, рассказов, реплик, подхваченных ею на лету, везде и всюду: в детских распределителях и в театрах, на вокзалах, в трамваях и на толкучках, на бульварах и в очередях. Именно тогда, захваченная и растревоженная новыми для себя голосами, Марина прильнула к фольклорным источникам своих поэм, как к истокам этих голосов, и в афанасьевских сборниках* открыла для себя уже теперь не детские сказки, а принявшую их обличие зашифрованную летопись былых судеб и былых событий, вечных страстей и подвигов человеческих, летопись трагедий и надежд на избавительные чудеса...

Именно тогда постепенно ушло, вытеснилось из цветаевского творчества грациозное «шопеновское» начало, в последний раз расцветшее циклом пьес, ею самой впоследствии названным «Романтика»; расставаясь с Музой, как с юностью, Марина вручила свою участь поэта неподкупному своему, беспощадному, одинокому Гению.

Не Муза, не Муза, — не бранные узы
Родства, — не твои пути,
О Дружба! — Не женской рукой, —
лютой!

Затянут на мне —
Узел...

* * *

[...] Так мы и зимовали в этой комнате с зелеными рамами и низким небеленым потолком [в местечке под Прагой] — у глухой старушки с собакой Румыгой. Зимовали хорошо, тепло, дружно, пусть и трудно. Трудности мне стали видны впоследствии, девочкой я их просто не понимала, может быть потому, что легкой жизни и не знала; то, что на мою долю приходилась часть домашней работы, считала не только естественным — радостным; то, что у меня было всего два платья, не вынуждало меня мечтать о третьем — а оно было бы кстати хотя бы потому, что случалось мне и виснуть на заборах, и цепляться за сучья, и потом, заливаясь слезами, зашивать, с великой тщательностью, прорехи; то, что редки были подарки и гостинцы, только повышало их волшебную ценность в моих глазах.

Главное же: мужественная бедность Марины и Сережи, достоинство, выдержка и зачастую юмор, с которыми они боролись со всеми повседневными тяготами, поддерживая и ободряя друг друга, вызывали у меня такое *жаркое* чувство любви к ним и *соратничества* с ними, что уже это само по себе было счастьем. Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы

вместе, у стола, освобожденного от еды и посуды, весело протертого мокрой тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом и круглым жестяным щитком — рефлектором; Сережа читал нам вслух привозимые им из Праги книги; Марина и я, слушая, штопали, чинили, латали. С тех пор и навсегда весь Гоголь, Диккенсовы «Домби и сын» и «Крошка Доррит» слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином и вытопленной хворостом печкой.

Книг было мало; своих: раз, два — и обчелся, и каждая за-полученная и прочитанная оказывалась событием.

Однажды Сережа достал «Детство» Горького, необычайное, не схожее ни с чьим, ранее читанным и сопережитым детством, и Марина, которой случалось чутко задремывать с иголкой в руке под наизусть знакомую ей гоголевскую чертовщину или Диккенсову трогательность, — эту книгу слушала по-особому, иногда прерывая чтение краткими восклицаниями одобрения.

Случалось Сереже читать и по-французски, по программе изучавшегося им в университете языка, — какие-то отрывки, рассказы, которые он тут же наощупь переводил на русский. Марина жестко, как деревенский костоправ — вывихи, ставила ему произношение и подсказывала значение непонятных слов. [...]

...Счастьем была наша семейная сказка — импровизация, которую Марина и Сережа рассказывали мне перед сном, когда я себя хорошо вела, что случалось не каждый день. Это была длинная звериная повесть с приключениями и продолжением; начало ее терялось в юности моих родителей и в моем самом раннем, почти младенческом, детстве; Сережа замечательно изображал Льва и Обезьяну, Марина — Кошку и Рысь.

Изначальные Звери множились на подсобных; их странствия, проделки, побеги из неволи, преследования и спасения начинались всегда с центральной — Вацлавской — площади Праги, чтобы оттуда растечься по тридевятым царствам и тридесатым государствам. Лев был благороден, Рысь — непоседливая и коварна, остальные действующие лица обладали разными свойствами; все они попадали в удивительные переплеты, из которых выручали друг друга — иначе бы мне не заснуть...

Издавна и нежно повелось: Марина звала Сережу *Львом*, *Лёве*, он ее — *Рысью*, *Рысхой*; сказочные эти клички вошли в домашний, семейный наш обиход, привычно подменяя подлинные имена, и так — до самого конца жизни. Маринины тетради испещрены Сережинными «львиными» рисунками; уходя, а чаще всего — убегая («утапатывая», как говорил Лев из сказки) — в университет ли, по бесчисленным ли делам, Сережа набрасывал силуэт Льва: благодарного, пообедавшего, с толстым пузом, или — привычно-тощего, вскакивающего в последний ва-

гон уходящего поезда; Льва, плачущего крупными слезами или смеющегося во всю пасть, — чтобы Марина, раскрыв тетрадь, улыбнулась ему вслед, принимаясь за работу...

Марина же часто подписывала свои письма к Сереже и ко мне заглавной буквой «Р» и рисовала — в виде росчерка — длиннохвостую дикую кошку или только ухо ее, с кисточкой, — чуткое ухо Рыси... [...]

* * *

Об этих своих счастьях позволяю себе упоминать (отстраняя многие иные, ибо не об этом речь) только потому, что они, несомненно, были островками радости и для моих родителей, передышками на пути теснивших трудностей и нараставших тревог. Но детские радости лежат на поверхности событий; радуясь чужим святкам, просторам, чужому гостеприимству, дети эмигрантов до поры до времени не сознают своей *национальной* непричастности всему этому — и многому другому; своего национального сиротства и неравноправия. Им, живущим сегодняшним днем и часом, пока еще чужда забота о грядущем и чувство ответственности за него. Они верят в сами собой приходящие, не заработанные и не выстраданные чудеса; так, пока Сережа ломал себе голову над тем, как выправить и направить пополам сломанную жизнь, пока Марина уходила в творчество как в схиму, я всего-навсего мечтала о том, как найду «кошелек с двумя миллионами», один из которых отдам родителям, а второй распределю между «бедными русскими студентами», маминой сестрой Асей и Максом Волошиным... «и еще 500 крон Людмиле Чириковой на книги. Мы зажили бы хорошо, ездили бы куда захочется третьим классом (I), у нас чаще мыли бы полы и часто стирали. Однажды, начав подметать, я нашла бы возле своей кровати клетку с кроликами, с двумя красноглазыми кроликами...» Мечты миллионера! [...]

* * *

Марицина черновая тетрадь, вторая в Чехии, — «Начата 10 нового мая 1923, в День Вознесения, в Чехии, в Горних Мокропсах, — ровно в полдень. (Бьет на колокольне.)»

Первая строка: «Время, я не попеваю». Вторая — «Мера, я не умещаюсь». Варианты «Беженской мостовой»: «Беженская мостовая: Целый ад, разверстый под Опрометями господ... Время! я не попеваю!» И, следом, развитием темы *времени*, — варианты стихотворения «Прокрасться»: «А может, лучшая потеха — Скрыть, *будучи?* Перстами Баха Органных не тревожить эхо? Прокрасться, не оставив праха На урну!» И вновь —

Сивилла, во времени — остановившаяся, но время же — грядущее! — прорицающая. Греция, Спарта:

«Здесь никто не сдается в плен, Здесь от века еще не пели, И не жаловались; взамен Пасторалей и акварелей: Травок, лужиц, овечек, дев — Спарты мужественной рельеф». И — «Спарта жаркая: круть и сушь! Спарта спертая: скоком конским Здесь закон по уступам душ. Каждый возвращает лисенка Под полою...»

И еще и еще греческие, италийские, мифологические вспышки и сполохи, разбросанные по стихотворениям отсветы столь далекого классического костра!.. «..Над ужаленною Федрой Взвился занавес, как гриф...», «Глазами заспанных Ариадн — Обманутых...», «Женою Лота Насыпью застывшие столбы...», «Волчицы римской Взгляд, в выкормыше зрящей — Рим!», «Час Души — как час струны Давидовой сквозь сны Сауловы...», «Так Поликсена, узрев Ахилла Там, на валу...» — и вновь и вновь: темы времени-Вечности и времени — «Минуты мнущей»; всплески российской тоски; библейские вариации — и все пронизывающая Сивиллина сибилическая тема Рока...

Все это, нагнетаясь, накручиваясь, нарастая, требует выхода, осуществления и осмысления в просторе большого произведения, требует единого костяка крупной вещи, ее ограничительных, но раскрепощающих и организующих законов.

В черную тетрадь начинает — исподволь пока еще — внедряться Трагедия — среди колонн стихов, их нервных вертикалей — большими плоскостями прозы: предварительных планов пьесы «Ариадна»; «биографических» сведений о ее героях; их характеристик; готовится ложе античной трагедии для современного и вечного потока страстей и бед человеческих.

Стихи (у Марины всегда — монологи, всегда — безответные!), облеченные в плоть героев, наконец-то смогут обрести право на диалог...

Сквозь стихотворения и отдельные строки, строфы, написанные уже в осенней Праге, после переезда туда из деревни, просвечивает город, именно этот, неповторимый... «Как бы дым твоих ни горек Труб, глотать его — всё нега, Потому что ночью город — опрокинутое небо... — Аллея последняя алость... — По набережным, где седые деревья... — Фонари, горящие газом Леденеющим... — Улицы не виноваты в ужасах Нашей души... — Прага, каменная поэма...» — и, наконец, встает во весь свой ночной рост «Пражским рыцарем»: — «Бледнолицый Страж над плеском века, Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку...»

И от Рыцаря, от того моста над той Влтавой, ощупью черновиков, сквозь ожившую уже ткань первой картины «Ариадны» (мимо и наперекор ее путеводной нити, ведущей из лабиринта

к свегу), — к лабиринту великого отчаянья поэм «Конца» и «Горы», неотвратно назревающих в недрах души и глубинах тетради.

Скоро они, поэмы эти, прорвут все плотины прочих творческих замыслов, подобно тому как чувство, их (поэмы) породившее, перемахнет через оплоты задуманного, положенного, возможного.

«Есть чувства, — писала Марина в те дни, — настолько серьезные, настоящие, большие, что не боятся ни стыда, ни кривотолков. Они *знают*, что они — только тень грядущих достоверностей».

Такими достоверностями и стали поэмы «Конца» и «Горы». Разрыв между их героями* произошел, судя по Мариной записи, 12 декабря 1923 года. Это не был обрыв «вообще отношений», начавшихся задолго до пражской осени 1923-го и длившихся до самого отъезда Марины в Советский Союз, а для героя поэм длящихся и по сей день, ибо он через всю свою жизнь, многотрудную и мужественную, пронес высокую, верную, самоотрешенную память о коротком и горестном счастье, осенившем его.

Я не взялась бы говорить о герое поэм — не мое это дело и вообще ничье, ибо все, имевшее быть сказанным и обнародованным о нем и об их героине, сказано в поэмах Мариной и ею же обнародовано, — если бы не «кривотолки», те самые, «которых не боятся чувства», но от которых страдают люди, а вместе с ними — и истина.

Далеко не все Маринины корреспонденты и собеседники, мимолетные «друзья» и просто знакомые оказались впоследствии на высоте ее доверия или хотя бы на уровне элементарной воспитанности (как ее ни прививали им в детстве), публикуя на страницах зарубежной печати «воспоминания» о Цветаевой и ее близких, касаясь обстоятельств их жизни и поворотов их судьбы. Речь не о тех «вспоминателях», кого память подводит на старости лет — с кем не бывает! — и не о тех, кому недостает сердца или глубины — на нет и суда нет! — речь о небескорыстных сенсационерах, о недоброжелателях-обывателях, сводящих — всегда на расстоянии безнаказанности — посмертные или прижизненные личные или политические счета; о дельцах от окололитературы, плодящих домыслы и вымыслы, калечащих факты в своих якобы «исследованиях творчества и биографии».

Герой поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость — с ироничностью, отзывчивость (увлекаемость) — с легкомыслием, юношеский эгоизм — с самоотверженностью, мягкость — со вспыльчивостью, и обаяние это «среди русской пражской грубо-бесцеремонной и праздноболтающей толпы» (определение, принадлежащее перу прекрасного человека — В. Ф. Булгакова, последнего

секретаря Л. Н. Толстого и искреннего друга нашей семьи) казалось не от века сего, что-то в обаянии этом было от недавно еще пленявшего Маринино воображение XVIII столетия — праздничное, беспечное, лукавое и, вместе с тем и прежде всего, — рыцарственное...

Обаятельна была и внешность его, и повадки, и остроумие, легкость реплик и быстрота решений, обаятельна и сама тогдашняя молодость его, даже — мальчишество...

Обаяние лежало на поверхности — рукой подать! — хоть и шло изнутри, где все было куда более значительным, грустным и взрослым, даже — трагическим, ибо и эта жизнь, подобно жизни монах родителей, не хотела и не могла привыкаться к чужеродности эмиграции.

И — не привилась.

Герой Марининых поэм, коммунист, мужественный участник французского Сопротивления, выправил начальную и печальную нескладницу своей жизни, посвятив ее зрелые годы борьбе за *правое дело*, борьбе за мир, против фашизма.

Что еще сказать? Он, сквозь годы войн, германские лагеря уничтожения сберегший Маринины письма и автографы поэм, прислал их в Россию, в цветаевский архив — с человеком, которого счел верным, то есть не способным нарушить тайны сугубо личной переписки, чтя память писавшей и волю адресата.

Он долго ждал этой *верной* оказии.

Вот передо мной его фотографии: лицо юноши; лицо бойца республиканской Испании; и — снимок (прошлого) 1973 года; сколько лет прошло! сколько — эпохи! «Но глаза — глаза твои я вижу: те же...»

Нет, годы не властны над обаянием; не властны они и над благородной памятью сердца; и над мужеством.

Еще скажу, что Сережа любил его, как брата. [...]

* * *

Маринина пражская осень 1923-го и зима 1923—24 годов, насыщенные работой, встречами, знакомствами (дружбами, неприязнями, так часто впоследствии менявшимися местами!), прогулками по вечерней и ночной (утрами — писала) Праге, постепенное вживание в этот город, который так — из всех — полюбился ей; ее увлеченность пражской легендой о Големе; зачарованность статуей Рыцаря на мосту*, его тайным с собою сходством: профиль, волосы, осанка, — как бы встреча с памятником, воздвигнутым тебе задолго до твоего рождения, с овеществленным провидением, предвосхищением тебя — идущей мимо...

Вживание в город, только что написала я, — и тут же осеклась: неправда! Вот этого-то как раз и не было: была как

бы примерка города к себе и себя — к городу, с чувством: вот тут бы я *хотела* жить, *могла бы* жить, если бы...

Если бы — что?

По всем своим городам и пригородам (не об оставленной России говорю) Марина прошла *инкогнито*, твеновским нищим принцем, не узнанная и не признанная ни Берлином, ни Прагой, ни Парижем (у которых она в моде сейчас...).

Если бы она *была* (а не слыла!) эмигранткой, то как-нибудь авось да небось, притулилась бы на чужбине, среди «своих».

Если бы она была просто женой своего мужа и матерью своих детей, то не все ли равно, в конце концов, где, лишь бы — вместе!

Если бы она была «поэтом-трансплантантом», как иные прочие, то богемные кафе богемных кварталов послужили бы ей убежищем...

Если бы она не была собой!

Но собой она была всегда.

* * *

Цельность ее характера, целостность ее человеческой личности была замешана на противоречиях; ей была присуща *двойкость* (но отнюдь не двойственность) восприятия и самовыражения: чувств (из жарчайшей глубины души) и — взгляда на (чувства же, людей, события), взгляда до такой степени со стороны, что — как бы с иной планеты.

Поразительная памятьливость была в ней равна способности к забвению; детская изменчивость равнялась высокой верности, замкнутость — доверчивости, распахнутости; в радость каждой встречи сама она закладывала зерно разлуки; и в золу каждой разлуки готова была раздуть уголек для нового костра. Такое бескорыстие в любви — и такая ревность к пеплу сгоревшего... Такое «диссонансирующее» равновесие бездн и вершин, такое взаимопритяжение миров и антимиров в ее внутренней вселенной...

И еще: способность постигать сегодняшний день главным образом через и сквозь прошедший (день, век, тысячелетие), всем болевым опытом былого поверяя гадательное грядущее... [...]



Комментарии

В. Н. Орлов

Марина Цветаева. Судьба. Характер. Поэзия.

Орлов Владимир Николаевич (1908—1985) — советский литературовед, исследователь жизни и творчества А. Н. Радищева, А. С. Грибоедова, А. А. Блока. Возглавлял редакционную коллегию серии «Библиотека поэта», выпускаемой издательством «Советский писатель» (основана М. Горьким).

Стр. 8. ...оба под маркой издательства «Оле-Лукоие», домашнего предприятия Сергея Эфрона... — Здесь допущена ошибка, объясняемая отсутствием опубликованных документальных данных о жизни М. И. Цветаевой в те годы, когда писалась статья В. Н. Орлова (в начале 60-х гг.): «домашнего предприятия» у С. Эфрона не было. См. об этом: А. Саакянц. Марина Цветаева. Страницы жизни и творчества (1910—1922). — М., «Сов. писатель», 1986, с. 38.

Стр. 9. «...русские поэты — Державин и Некрасов, из современников — Пастернак». — В этой поздней анкете М. И. Цветаева забыла упомянуть еще нескольких любимых ею с детства писателей. Вот строки из письма 17-летней Марины к В. Я. Брюсову: «Я стала думать: всем моим любимым поэтам должен быть близок Rostand, Heine, Victor Hugo, Lamartine, Лермонтов — все бы они любили его». Со стихов Пушкина и Лермонтова начала она приобщение к искусству и своей маленькой дочери Али (Ариадны).

Эдмон Ростан (*Rostand*; 1868—1918) — французский поэт, автор широко известной романтической драмы «Сирано де Бержерак», а также драмы «Орленок» — о сыне Наполеона Бонапарта, Наполеоне II (1811—1832). Наполеон Бонапарт провозгласил сына императором при своем отречении от престола в 1815 г., но императором сын так и не стал. Жил он при дворе своего деда, австрийского императора Франца I, и в 1818 г. получил титул: герцог Рейхштадтский.

Стр. 12. В мае 1920 г. Цветасва передала Блоку свои стихи, обращенные к нему... — Это произошло на вечере во Дворце Искусств, бывшем особняке графа Соллогуба на Поварской улице (ныне — улица Воровского). Особняк этот известен по «Войне и миру» Л. Н. Толстого как «дом Ростовых»; здесь затем находилось Правление Союза писателей СССР. В 1918 г. в этом здании располагался Народный комиссариат по делам национальностей, где М. И. Цветаева в течение полугода работала: подбирала материал по определенным вопросам из газет. Недалеко от этого дома она тогда и жила — в двухэтаж-

ной квартире с причудливой планировкой, по адресу: Борисоглебский переулок, д. 6 (ныне — ул. Писемского, д. 6). К столетию со дня рождения М. И. Цветаевой здесь открыт дом-музей ее имени. В этом доме Цветаева жила с осени 1914 г. до 11 мая 1922 г. — до отъезда за границу.

«Дворцом Искусств» особняк графа Соллогуба стал в 1919 г., и там часто устраивались поэтические вечера, на которых выступала с чтением своих стихов и сама Марина Ивановна.

А. А. Блок в 1920 г. приезжал в Москву из Петрограда и выступал в Политехническом музее (9 мая) и во Дворце Искусств (14 мая). На обоих вечерах Блока М. И. Цветаева присутствовала, но подойти к нему не решилась. После вечера во Дворце Искусств она передала Блоку конверт со своими стихами, посвященными ему, послав к нему семилетнюю Алю. «Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как собрата по „струнному ремеслу“, а как божество от поэзии, и которому, как божеству, поклонялась» (А. Эфрон. Страницы воспоминаний. — «Звезда», 1973, № 3, — и наша подборка фрагментов).

Стр. 30. *И влачат, и влачат этот вздох Саулов Палестинские отроки с кровью черной. — Саул* — царь древней Палестины. По библейскому преданию, вместо него был «помазан на царство» совершивший легендарный подвиг Давид. Саул жестоко мстил ему, пока не погиб в битве с филистимлянами.

Стр. 31. *...темный дионисийский мир жречества, тайн, ворожбы. — Дионис* (в римской мифологии — *Вакх*) — древнегреческий бог пиров и празднеств; как и Аполлон, считался покровителем искусства певцов и музыкантов, но в отличие от Аполлона, бога светлого, гармоничного искусства, Дионис в простонародном представлении был богом разгульного веселья, буйных плясок. (Истинный культ этого бога сложнее.)

Стр. 31. *Ипполитовы кони и Федрин сук...* — Тема трагической судьбы Федры проходит через все творчество Цветаевой. В 1926—1927 гг. она создала трагедию «Федра», в основе которой — древнегреческий миф. Легендарный царь Афин Тезей, в юности победив на Кипре могучего быка Минотавра и выйдя с помощью нити Ариадны из лабиринта, вернулся на родину; его жена, амазонка Антиопа (у Цветаевой — Ипполита), погибла: ее убили соплеменницы. Позже Тезей женился на Федре — младшей дочери оставленной им некогда на острове Наксос Ариадны. Федра полюбила своего пасынка Ипполита и погубила и себя, и его: отвергнутая Ипполитом она повесилась на дереве (*Федрин сук*), а Ипполит разбился в бешеной скачке на лошадях (*Ипполитовы кони*).

Стр. 37. ...Цветаева перекликается с близким ей Рильке... — Австрийский поэт Райнер Мария Рильке (Rilke; 1875—1926) вошел в историю мировой литературы как поэт-философ, для произведений которого характерны насыщенность мыслью в сочетании с музыкальностью, гармонией стиха. М. Цветаева высоко ценила творчество Рильке, в 20-е годы переписывалась с ним.

Стр. 38. Кое-что в ее языковом творчестве оказывается близким исканиям Хлебникова. — Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников (1885—1922) — поэт и прозаик, реформатор стиха, смелый экспериментатор в области формы. Увлекался историей, философией, мифологией, космогонией. Эти интересы, как и бунтарство, выражавшееся в отрицании общепринятых ценностей жизни (прежде всего — стремления к материальному достатку, внешнему благополучию), делали его личность и произведения близкими Цветаевой.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1908—1915

В Париже

...мученик-Рейхштадтский И Сара... — Сара Бернар (1844—1923) — знаменитая французская актриса; исполняла роль герцога Рейхштадтского в драме Э. Ростана «Орленок».

«Я сейчас лежу и ничком...»

Обращено к М. С. Фельдштейну (1885—1948), будущему мужу Веры Эфрон, сестры Сергея Эфрона.

Генералам двенадцатого года

Посвящено мужу М. И. Цветаевой, Сергею Яковлевичу Эфрону (1893—1941). В годы первой мировой войны, не попав на фронт из-за болезни легких, работал братом милосердия в санитарном поезде, перевозившем в тыл раненых солдат и офицеров. Несколько раз навещал семью — в Москве и Коктебеле. Во время гражданской войны оказался в рядах белогвардейцев и затем эмигрировал. Весной 1922 г. М. И. Цветаева с 9-летней дочерью Ариадной приехала к нему в Прагу (через Берлин). Живя за границей (сначала в Чехии, затем во Франции), оба — и М. Цветаева, и С. Эфрон — прониклись всё большим сочувствием к Советской России, гордостью за ее достижения. Сергей Яковлевич установил связь с представителями Советского государства во Франции, стал организатором Союза возвращения на родину, участвовал в формировании интернациональных бригад, сражавшихся на стороне

республиканской Испании. В 1937 г., вслед за дочерью, вернулся в СССР (дочь — в марте, отец — в октябре). В июне 1939 г. приехала на родину и М. И. Цветаева с 14-летним сыном Георгием. В том же 1939 году Сергей Яковлевич и Ариадна Сергеевна были незаконно репрессированы (Ариадна Сергеевна — через два месяца после приезда матери, Сергей Яковлевич — в октябре). Сергей Яковлевич погиб в заключении.

Я видела, Тучков-четвертый, Ваш нежный лик. — Тучков-четвертый — А. А. Тучков (1778—1812), один из четырех братьев Тучковых, участников Бородинского сражения; двое из них погибли: Александр (Тучков-четвертый) и Николай. В Бородинском сражении А. А. Тучков командовал бригадой, будучи генерал-майором.

По воспоминаниям А. С. Эфрон, на письменном столе ее матери всегда стояла «лаковая карандашница с портретом юного генерала 1812 года Тучкова IV»; в 1922 г., уезжая за границу, Марина Ивановна и Аля взяли эту карандашницу с собой в числе самых любимых вещей.

С. Э. («Я с вызовом ношу его кольцо...»)

Посвящено мужу, С. Я. Эфрону. *С вызовом* — видимо, потому, что какое-то время между Сергеем Яковлевичем и Мариной Ивановной были разногласия, о чем их друзья знали.

П. Э. («Осыпались листья...»)

Посвящено памяти *Петра Яковлевича Эфрона* (1881—1914), старшего брата С. Я. Эфрона (мужа М. И. Цветаевой) и большого друга Марины Ивановны. П. Я. Эфрон умер от туберкулеза. М. И. Цветаева часто навещала его в больнице, тяжело пережила его смерть.

«Мне нравится, что Вы больны не мной...»

Обращено к будущему мужу сестры, Анастасии Ивановны Цветаевой, — М. А. Минцу (1886—1917).

1916

«Никто ничего не отнял...»

Это стихотворение, как и следующие два («Ты запрокидываешь голову...» и «Откуда такая нежность?..»), обращено к поэту *Осипу Эмильевичу Мандельштаму* (1891—1938). М. И. Цветаеву и О. Э. Мандельштама связывала высокая дружба, восхищение творчеством друг друга. Но при этом нельзя не учитывать относительность «интимных деталей» в стихах Цветаевой: поэтический вымысел зачастую не связан у нее с реальными событиями и взаимоотношениями. Явное

подтверждение тому — часть стихов к Блоку, к Ахматовой (см., например, стихотворение «Думали — человек! И умереть заставили», написанное в 1916 г., за пять лет до смерти Блока, или стихотворение «Не отстать тебе. Я — острожник...», посвященное Ахматовой). Реальные события и взаимоотношения были для Цветаевой лишь толчком к развитию мысли, темы, образов — поводом к созданию *художественного произведения*. Вместе с тем ей было присуще умение восхищаться людьми, видеть их внутреннюю красоту («инстинкт душевной красоты», говоря словами Лермонтова).

Стихи о Москве. 2. «Из рук моих — нерукотворный град...»

Обращено к О. Э. Мандельштаму (подробнее о нем — выше).

К Нечаянным Радости в саду... — Речь идет о часовне, построенной для одной из икон Богоматери; часовня находилась в саду недалеко от Кремля.

М. И. Цветаева нередко использует христианские образы и символы; еще шире обращается она к образам мифологическим, античным (Зевс, Психея, Гений как божественный творческий дух в человеке и т. д.). Все это — свидетельство эрудиции, органичного, глубинного освоения духовной культуры человечества, а не «веры» в буквальном смысле слова — христианской ли или мистико-космогонической. Сама Цветаева признавалась в одном из писем: «Оспаривали мою душу, которую получили *все и никто*: все боги и ни одна *церковь*!» И в другом письме: «...ненавижу каждую торжествующую, казенную церковь». Если говорить о вере — верила она в бессмертие души.

Стихи о Москве. 8. «Москва, какой огромный...»

Младенец Пантелеймон У нас, целитель, есть. — *Пантелеймон-целитель* — один из святых христианского календаря; обычно изображался отроком. (Традиция эта не всегда соблюдалась. Так, Н. К. Рерих на известной картине северного цикла изобразил Пантелеймона-целителя старцем, собирающим на лугу целительные травы.)

...*Там Иверское сердце, Червонное, горит.* — Речь идет о часовне Иверской Божьей матери недалеко от Кремля.

Стихи о Москве. 9. «Красною кистью Рябина зажглась...»

День был субботний, Иоанн Богослов. — День рождения М. И. Цветаевой — 26 сентября (8 октября по новому стилю) 1892 г.; по церковному календарю это день «апостола и евангелиста Иоанна Богослова».

Стихи к Блоку. 6. «Думали — человек! И умереть за-
ставили...»

Как уже говорилось в комментарии к стихотворению «Никто ничего не отнял...», стихи Цветаевой — поэтическое осмысление ситуаций, не всегда взятых из жизни: зачастую эти ситуации — вымысел, являющийся органическим продолжением реальности. (Стихотворение написано за пять лет до смерти Блока.)

Мертвый лежит певец И воскресенье празднует — т. е. воскресение в иную жизнь (согласно различным мистическим учениям, в том числе и религиозно-христианскому, в момент смерти душа освобождается от земной оболочки, «воскресает в иную жизнь»).

Ахматовой. 4. «Имя ребенка — Лев...»

Лев — Лев Николаевич Гумилёв (род. в 1912 г.), сын Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Ныне — крупный ученый, востоковед, создатель *теории этногенеза*, опирающейся на данные геологии, археологии, географии, истории. В 1979 г. опубликована обширная монография Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». Труды Гумилева представляют не только чисто научную, но и нравственно-политическую ценность, способствуя пробуждению в людях чувства интернационализма, ощущения себя единым человеческим родом *землян*.

1917 — АПРЕЛЬ 1922

Выделен период пребывания М. И. Цветаевой на родине после Великой Октябрьской революции: в апреле 1922 г. начались ее сборы за границу, к мужу; 11 мая они с девятилетней дочкой Алей (Ариадной) уехали — через Ригу в Берлин и затем в Чехию.

Психея

Психея — в древнегреческой мифологии — душа; олицетворялась в образе нежной юной девушки. В мировой классической поэзии образ Психеи нередко использовался как равнозначный образу *Музы* — вдохновительницы творчества.

Але

Стихи посвящены шестилетней дочке Марины Ивановны Але — *Ариадне Сергеевне Эфрон* (1912—1975). А. С. Эфрон училась живописи, была талантливой переводчицей (ей принадлежат блестящие переводы французской поэзии и драматургии). В марте 1937 г., 24-х лет, вернулась на родину. В 1939 г. была незаконно репрессирована и 16 лет провела в заключении: арестована 27 августа 1939 г. в подмосковном

поселке Болшево, где вся семья была размещена после приезда из Франции; освобождена из туруханской ссылки (крайний север Западной Сибири) 28 марта 1955 г. Все годы после ссылки посвятила собиранию и систематизации архива матери (сейчас архив законсервирован по распоряжению Ариадны Сергеевны до 2000 г.), подготовке публикаций ее произведений, записи воспоминаний о ее жизни. Свои «Страницы воспоминаний» и «Страницы былого» Ариадна Сергеевна успела довести только до 1925 года — года переезда семьи из Чехии во Францию. В нашем сборнике даны фрагменты этого труда (в конце книги), под общим названием «Страницы былого». В 1989 году издательство «Советский писатель» выпустило книгу А. С. Эфрон, содержащую ее воспоминания о матери, выдержки из записей и переписку: «О Марине Цветаевой». Включаются произведения А. С. Эфрон и в другие издания.

Комедьянт

Считается, что романтический цикл стихов «Комедьянт» был посвящен актеру Третьей студии МХТ (ныне — Театр имени Е. Б. Вахтангова), позднее главному режиссеру Театра имени Моссовета Ю. А. Завадскому (1894—1977); вместе с тем специального посвящения у цикла нет. О Завадском и своих взаимоотношениях с ним и с другими актерами студии в 1919—1920 гг. М. И. Цветаева рассказала в «Повести о Софье» (1937).

...*Рукой Челлини ваянная чаша. — Бенвенуто Челлини (Cellini; 1500—1571) — знаменитый итальянский скульптор и ювелир.*

«Маленький домашний дух...»

Посвящено дочери, *Ариадне* (подробнее о ней см. выше, в комментарии к циклу стихов «Але»). В ноябре 1919 г. ей было семь лет (родилась 5/18 сентября 1912 г.). Марина Ивановна отдала ее вместе с младшей дочкой, Ириной (1917—1920), в детский приют, надеясь, что там девочки окрепнут, придут в себя от полуголодного существования. Однако в детском приюте оказалось еще тяжелее, чем дома: от плохого питания и грязи дети болели, многие умирали. Марине Ивановне удалось вовремя вернуть домой и выходить Алю, а Ирина умерла в приюте в феврале 1920 г.

С. Э. («Писала я на аспидной доске...»)

Посвящено мужу, *Сергею Яковлевичу Эфрону* (подробнее о нем см. впереди, в комментарии к стихотворению «Генералам двенадцатого года»).

«И не спасут ни стансы, ни созвездья...»

Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос, Без Вас мне не был

пуст!— *Эрос* (или *Эрот*)— в древнегреческой мифологии— бог любви; изображался в виде младенца с луком и стрелами, постоянного спутника богини любви *Афродиты* (в древнеримской мифологии— *Купидон*, спутник богини любви *Венеры*).

«Другие— с очами и с личиком светлым...»

Нет, с нами Эол обращается круто.— *Эол*— древнегреческий бог— повелитель ветров.

«Есть в стане моем офицерская прямоть...»

«К стихотворению имеется авторская пометка: „NB! Эти стихи в Москве назывались „про красного офицера“, и я полтора года с неизменным громким успехом читала их на каждом выступлении по неизменному вызову курсантов”».

Это примечание, как и само стихотворение, печатается по журналу «Новый мир», 1988, № 6, с. 98 (подготовка и комментарии Е. И. Лубянской).

Роландов Рог

...Что некий Карл тебя услышит, *Рог!*— *Роландов Рог*— образ из средневековой французской эпической поэмы «Песнь о Роланде». Верный рыцарь короля Карла Великого Роланд во время боя с сарацинами (маврами) оказался в безвыходном положении, но не хотел трубить в рог, чтобы призвать к себе на помощь короля с главными силами. Когда же он наконец решился на это, было уже поздно: отряд Роланда был спасен, но сам Роланд погиб.

«Слезы на лице моей облезлой!..»

Стихотворение печатается по журналу «Новый мир», 1988, № 6.

МАЙ 1922—1925

Выделен первый период пребывания в эмиграции— в Германии (Берлин, с 15 мая по июль 1922 г.) и Чехии (с 1 августа 1925 г. по конец октября 1925 г., когда М. И. Цветаева с семьей переехала в Париж).

Сивилла— младенцу

Сивилла— по древнегреческому мифу, легендарная пророчица, жрица бога Аполлона; Аполлон даровал ей бессмертие.

Берегись...

...Об упавшем ввысь По сей день— *Давид*.— По библейскому преданию, сын царя Давида Авессалом, восставший против отца, погиб, попав в руки врагов из-за несчастной случай-

лости: спасаясь на коне от преследователей, зацепился волосами за ветви дуба и повис; конь ускакал, а Авессалома настигли враги.

Хвала богатым

«По каратам считал, я — брат был...» — *Карат* — мера содержания золота в сплавах.

...Как верблюды в ушко пролезли. — Имеются в виду слова Христа из легенды о нем: «Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное».

Провода

В черновой тетради М. И. Цветаевой цикл «Провода» был посвящен поэту *Борису Леонидовичу Пастернаку* (1890—1960). Но, поскольку стихи ее, вдохновленные встречей и дружбой с кем бы то ни было, как правило, «отрывались» от конкретного человека, были шире и обобщеннее, чем вызвавшее их частное событие, она нередко (как и в данном случае) впоследствии снимала посвящение.

М. И. Цветаеву связывала с Б. Л. Пастернаком большая и длительная дружба, начавшаяся в июне 1922 г. восхищенным письмом Пастернака — отзывом о ее сборнике «Вёрсты» (1921). До этого Марина Ивановна и Борис Леонидович несколько раз встречались, оба живя в Москве, но встречи эти не привели тогда к близкому знакомству. Их человеческая близость была прежде всего близостью, взаимопониманием творческим и выразилась в интенсивной, искренней, философски насыщенной переписке. Встречались редко и ненадолго — в Париже, куда Пастернак приехал в 1935 г. в составе советской делегации, и в Москве в 1939—1941 гг.

К Пастернаку обращены также стихи Цветаевой: «Строительница струн, приструню и эту...», «Двое», «Письмо», «Растояние: вёрсты, мили...», «Русской ржи от меня поклон...» и другие.

Провода. 1. «Вереницею певчих стай...»

Эмпи́реи (или *Эмпи́ре́й*) — согласно античной натурфилософии, верхняя, огненная часть небосвода; по древним мифологическим и религиозным учениям — обиталище богов и праведных душ.

Атла́нт — в древнегреческой мифологии — один из титанов (древнейших богов), боровшихся против владычества Зевса; держит на своих плечах небесный свод, чтобы он «не упал на Землю».

В Ариаднино: ве-ер-нись... — *Ариа́дна* — одна из любимых героинь Цветаевой (недаром ее именем Марина Ивановна назвала дочь). По древнегреческому мифу, Ариадна — дочь критского царя Мinois; она помогла афинскому царевичу Те-

зею победить **человеко-быка** Минотавра и выйти из лабиринта. Но Ариадна не была создана для земных забот и радостей: ее, покинувшую вместе с Тезеем Крит, отобрал у героя бог Дионис (бог праздников и веселья, покровитель певцов, поэтов). По требованию Диониса Тезей оставил Ариадну на острове Наксос. Собственную философскую интерпретацию мифа об Ариадне и Тезее Цветаева дала в трагедии «Ариадна» (1924). Трагедия написана после многих жизненных потерь, перенесенных Цветаевой.

Провода. 2. «Чтоб высказать тебе...»

Стикс — мифическая река в царстве мертвых.

Провода. 9. «Весна наводит сон...»

В архив, в Элизиум калек. — Элизиум (или *Елисейские поля*) — мифическое обиталище праведных душ в загробном мире.

Поэт. 2. «Есть в мире лишние, добавочные...»

Лепрозориумов крап — пятна проказы (*лэпра* — проказа: инфекционное заболевание, при котором тело покрывается язвами и пятнами).

Есть в мире Иовы... — *Иов* — по библейской легенде, патриарх (глава рода при общинно-родовом строе), веру которого неоднократно испытывал сам Бог, в частности наслав на него проказу.

Свиданье

...Вкус Офелии к горькой руте! — *Рута* — душистое растение с горьким вкусом. В трагедии Шекспира «Гамлет» утратившая рассудок Офелия раздает всем цветы и травы, приговаривая: «Вот розмарин: возьмите, дружок, и помните... Вот вам укроп, вот водосбор. Вот рута. Вот несколько стебельков для меня. Ее можно также называть богородицной травкой...» Перечисляемые цветы и травы имели закрепленное за ними поверье значение: *розмарин* — верность, *укроп* — лесть, *водосбор* — измена, *рута* — печаль и раскаяние.

Рельсы

...Женою Лота Насытью застывшие столбы. — По библейскому преданию, Господь вывел из греховного города семью праведника Лота, запретив оглядываться на преданный огню город; жена Лота, испуганная грохотом разрушений и свистом огненного смерча, оглянулась — и в тот же миг была превращена в соляной столб (в этом можно видеть метафорическое изображение остолбеневшего от ужаса человека).

И обезголосившая Сафо Плачет, как последняя швея. — *Сафо* (или *Сапфо*; VII—VI вв. до н. э.) — знаменитая по-

этесса Древней Греции, жившая на острове Лёсбос. Писала лирические стихи (по ее имени названа своеобразная строфика: *сапфическая*). Обучала пению, музыке и пляскам знатных девушек. По преданию, бросилась со скалы в море из-за неразделенной любви к юноше Феону.

«Как бы дым твоих ни горек Труб...»

Стихотворение посвящено Праге — городу, в котором и в окрестностях которого Цветаева прожила больше трех лет: с 1 августа 1922 г. (приехала в Прагу из Берлина) до конца октября 1925 г. (к 1 ноября 1925 г. она с детьми переехала в Париж).

Пражский рыцарь

Пражский рыцарь — статуя легендарного чешского рыцаря Брунсвика, стоящая у Карлова моста над рекой Влтавой. Увидев этого «мальчика, сторожащего реку», Цветаева была поражена сходством его лица со своим. Уже уехав из Чехии, она помнила о пражском рыцаре, хотела получить исторические сведения о нем: «Ах, какую чудесную повесть можно было бы написать — на фоне Праги!» Осуществить этот замысел ей не удалось.

«Ты, меня любивший фальшью Истины...»

В рукописи М. И. Цветаевой не было специального посвящения этих двух горьких строф кому-либо. Ориентируясь на события ее жизни этого времени (1923 г.), некоторые исследователи решили, что стихотворение обращено к Константину Болеславовичу Родзевичу (подробнее о нем см. в комментариях к «Поэме Горы»). Однако новые документальные данные и сведения, полученные от самого К. Б. Родзевича, опровергли это предположение. Скорее всего, стихотворение обращено к мужу и вызвано тяжелой размолвкой, едва не приведшей к распаду семьи.

Двое

В черновой рукописи М. И. Цветаевой цикл стихотворений «Двое» имел посвящение: «Мосму брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении — Борису Пастернаку».

Двое. 1. «Есть рифмы в мире сём...»

Развёдинил ли б зряц Елену с Ахиллесом? — Елена — жена спартанского царя Менелая, похищенная у него троянцем Парисом, из-за чего, по преданию, и началась Троянская война — война греков-ахейцев с троянцами. Ахиллес — древнегреческий герой, сражавшийся на стороне ахейцев; именно его участие в сражениях, как показывает Гомер в «Илиаде», предопределило конечную победу ахейцев.

...сном кифары... — *Кифара* — древний музыкальный инструмент (его предшественница — *лира*, а одно из позднейших видоизменений — *гитара*).

Так разминулись *Зигфрид с Брунгильдой*... — *Зигфрид и Брунгильда* — герои древнегерманского эпоса «Сказание о Нибелунгах». В поэтической и музыкальной обработке этого сказания, осуществленной композитором Рихардом Вагнером (1813—1883), — «Кольцо Нибелунгов» — королевич Зигфрид, опоенный волшебным напитком, забыл свою невесту Брунгильду и даже помог другому (королю Гюнтеру) жениться на ней.

...сын Фетиды с дочерью Аресовой; Ахиллес с Пензефилеей. — *Фетίδα* — по древнегреческому мифу, морская богиня, мать Ахиллеса (отец его — царь Фессалии Пелей). *Арес* (в римской мифологии — *Марс*) — бог войны; его дочь от земной женщины красавица Пензефилия была предводительницей амазонок. В Троянской войне племя амазонок выступало на стороне троянцев. В одном из сражений Ахиллес пронзил копьем и сбил с коня Пензефилию и только тогда, сняв с нее шлем, увидел, как она красива; но Пензефилия уже была мертва

Попытка ревности

Стихотворение это не следует связывать напрямую с кем-либо из реальных лиц: оно — о трагедии разминовения душевно и духовно близких друг другу людей и с конкретным лицом связано лишь как с поводом к художественному обобщению ситуации. Цветаевой нужен был *роман душ*, а не *роман тел*, — она не раз говорила об этом, как правило не встречая понимания. Не наша она понимания и у некоторых исследователей ее творчества. Настрой души большого поэта, высота его помыслов, отсутствие приземленности в человеческих взаимоотношениях — все это понимается не каждым. Отсюда, видимо, повышенный интерес ряда читателей к конкретным лицам и обстоятельствам, для самого поэта отступающим в прошлое, в отличие от вечно живого *произведения искусства*. Многие свои стихи Цветаева посвящала сначала одним людям, а затем перепосвящала другим или просто снимала посвящение.

Синай — здесь, видимо, в значении: священная земля. (Через Синайский полуостров древнееврейское племя возвращалось из Египта в Палестину.)

После мраморов *Каррары*... — *Каррара* — горная местность в Италии, где добывался белый мрамор.

...Вам, познавшему *Лилит*? — *Лилит* — по древнему преданию, первая жена Адама, прародителя рода человеческого.

Сон («Врылась, забылась...»)

Морфей — бог сновидений, сын бога сна Гипноса.

С точностью *сбирра и оператора*... — *Сбирр* (ит.) — сыщик, полицейский.

Крестины

...*Водой иступленной Савловой.* — *Савл* — яростный гонитель первых христиан. (Позднее, согласно легенде, был поражен чудесами, которые творил на его глазах Христос, и стал защитником христианского учения, одним из 12 апостолов; принял новое имя — *Павел*.)

«Жив, а не умер Демон во мне...»

Демон — здесь в значении, идентичном таким понятиям, как *Муза*, *Гений* (см. стихотворение «Разговор с Гением»), *вдохновение*.

«Рас-стояние: вёрсты, мили...»

Как уже говорилось выше, это стихотворение обращено к Б. Л. Пастернаку (подробнее — в комментарии к циклу «Провода»).

«Русской ржи от меня поклон...»

Обращено к Б. Л. Пастернаку.

1926—1936

(Памяти Сергея Есенина)

С С. А. Есениным (1895—1925) М. И. Цветаева была знакома, несколько раз встречалась с ним в Москве и Петрограде (1916), вместе с ним участвовала в поэтических вечерах. Она высоко ценила творчество Есенина, выделяла его из числа популярных в то время поэтов как одного из наиболее талантливых.

Разговор с Гением

Гений — здесь в значении: *Муза*, *Демон*, *вдохновение* (как и в стихотворении «Жив, а не умер Демон во мне...»).

«...*Пел жсе — Орфей!*» — *Орфей* — легендарный певец из Фракии, сын речного бога Эагра и музы Каллиопы. Пение и игра Орфея на флейте и кифаре зачаровывали даже диких зверей. Потеряв свою возлюбленную Эвридику (она умерла от укуса ядовитой змеи), Орфей спустился за ней в Аид. Владыка подземного мира разрешил вывести ее на белый свет при условии, что Орфей ни разу не обернется на следующую за ним тень Эвридики. В самом конце пути Орфей, постоянно боявшийся, преодолел ли Эвридика все трудности выхода из подземного царства, обернулся — и Эвридика была оставлена в Аиде.

Наяда

Наяда, или *Нереида*, — мифическое существо подводного мира, русалка. (По мифу, *нереиды* — дочери одного из морских богов — *Нерея*.)

Стихи к Пушкину

Творчество и личность А. С. Пушкина всю жизнь привлекали к себе М. И. Цветаеву. В юности она написала стихотворение «Встреча с Пушкиным», вообразив его своим спутником по кокетельским прогулкам в горы: по таким же горным тропам ходил и юный Пушкин. Большой цикл стихов о Пушкине создан в 1931 г., а в 1936—1937 гг. написаны два очерка: «Мой Пушкин» (помещен в нашем сборнике) и «Пушкин и Пугачев».

Стихи к Пушкину. 1. «Бич жандармов, бог студентов...»

Две ноги свои — погреться — Вытянувший и на стол Вспрыгнувший при самодержце... — Речь идет об аудиенции у Николая I в сентябре 1826 г., когда Пушкин, только что проделавший долгий и утомительный путь из Михайловского в Москву, был сразу с дороги направлен в Кремль. Разговаривая с Николаем, он подошел поближе к камину, чтобы согреть ноги, а затем оперся о стол (почти сел на него), что Николай расценил как дерзкое нарушение дворцового этикета.

Ох, брадатые авгуры! — А в а́уры — в Древнем Риме — жрецы, предсказатели.

Стихи к Пушкину. 2. Пет р и Пу ш ки н

Трусоват был Ваня бедный... — Начальная строка стихотворения А. С. Пушкина «Вурдалак» из «Песен западных славян» (1834).

...сквозь кнастеров дым... — *Кна́стер* — сорт табака.

Стихи к Пушкину. Поэт и царь 2(6). «Нет, бил барабан перед смутным полком...»

Цветаева начинает стихотворение хорошо знакомой ее современникам строкой ирландского поэта Ч. Вольфа, резко меняя ее смысл, — у Вольфа: «Не бил барабан...» (стихотворение «На погребение английского генерала сира Джона Мура», в переводе И. И. Козлова, 1825).

Ода пешему ходу. 1. «В век сплошных скоропадских Роковых скоростей...»

...скоропадских... скоростей... — Использована «символическая» фамилия генерала царской армии П. П. Скоропадского, который в начале 1918 г. стал гетманом Украины, но продержался у власти всего восемь месяцев.

Ода пешему ходу. 3. «Дармоедством пресытяться...»

Как поток жаждет прага... — Использована старинная (неполногласная) форма слова *порог* — *праг* (по типу: *ворон* — *вран*).

Стихи к сыну

Сын М. И. Цветаевой, *Георгий Сергеевич Эфрон* (в домашнем быту — *Мур*) родился 1 февраля 1925 г. в Чехии. С конца 1925 г. до отъезда в СССР жил с родителями и сестрой во Франции — в Париже и его пригородах. В июне 1939 г. вместе с матерью приехал в Москву (затем они жили в Болшеве, в Голицыне и снова в Москве, снимая комнаты). Когда началась Великая Отечественная война, Цветаева и ее 16-летний сын эвакуировались в маленький городок на Каме — Елабугу (восточнее Казани, недалеко от Чистополя, где в это время жили многие эвакуированные из Москвы писатели). После гибели матери (31 августа 1941 г.) некоторое время жил в Чистополе, затем переехал в Ташкент, закончил там школу и поступил в Литературный институт в Москве. Отсюда был мобилизован на фронт. Погиб 7 июля 1944 г. при наступлении советских войск в направлении Полоцка (Белоруссия).

Судя по воспоминаниям М. И. Белкиной и приводимым ею выпискам из писем и дневников Георгия, был незаурядно одаренным человеком. Был очень похож на мать — его в шутку называли даже «Марин Цветаев». (См.: М. И. Белкина. Скрещение судеб. — М., 1988. В этой книге рассказывается о жизни М. И. Цветаевой и всей ее семьи после возвращения на родину.)

Над вороньим утесом

... *Макс, мне было так верно Ждать на твоём крыльце! —* *Макс* — *Максимилиан Александрович Волошин* (1877—1932), поэт, художник и философ, первым из собратьев по перу безоговорочно высоко оценивший творчество юной Марины Цветаевой (его стихотворение, написанное после знакомства с «Вечерним альбомом» Цветаевой, приводит в статье, открывающей наш сборник, В. Н. Орлов). В коктебельском доме Волошина Марина Цветаева познакомилась со своим будущим мужем, Сергеем Эфроном. С М. А. Волошиным обоих связывала крепкая дружба; находясь в эмиграции, оба переписывались с ним, делились самыми сокровенными мыслями, советовались.

Стол. 1. «Мой письменный верный стол!..»

Меня заливал, как штранд! — Штранд (нем.) — морской берег.

Тем был мне, что морю голл Еврейских — горящий столп! — По библейскому преданию, при исходе евреев из Египта Бог указывал им путь, принимая вид огненного столпа.

Стол. 4. «Обидел и обошел?..»

... *За ножки — прочней химер Парижских...* — Имеются в виду скульптурные изображения фантастических существ (химер) на фасадах Собора Парижской Богоматери — архитектурного памятника XII века.

... *Невнятицы Фауста второго* — т. е. второй части «Фауста» Гёте.

Стол. 6. «Квиты: вами я объединена...»

... *йотой счастлива*... — т. е. самой малостью (ср.: «Ни на йоту не продвинулся»). *Йота*, или *йот*, — буква латинского алфавита (*j*).

Челюскинцы

Челюскинцы — участники знаменитой экспедиции через Северный Ледовитый океан на пароходе «Челюскин». Экспедиция началась в августе 1933 г. и имела целью проверить возможность прохода кораблей из Мурманска во Владивосток за одну навигацию. Полностью осуществить задачу экспедиции не удалось: в феврале 1934 г., в Чукотском море, «Челюскин» был раздавлен льдами. Участники экспедиции высадились на льдину и были спасены с помощью самолетов. И пострадавшие, и их спасатели проявили чудеса мужества, героизма и оптимизма, чем прославили себя на весь мир.

... *Нобиле*... — *Умберто Нобиле* (1885—1978), итальянский дирижаблестроитель и исследователь Арктики. В 1928 г., руководя итальянской экспедицией к Северному полюсу на дирижабле «Италия», потерпел аварию; в спасении членов экспедиции участвовал советский ледокол «Красин».

... *Родили — дитё*... — Во время экспедиции у одной из ее участниц родился ребенок.

... *Второй уже Шмидт*... — «Первый Шмидт» — лейтенант Черноморского флота П. П. Шмидт (1867—1906), возглавивший восстание на крейсере «Очаков» в 1905 г.; «второй Шмидт» — О. Ю. Шмидт (1891—1956) — советский исследователь Арктики, начальник нескольких полярных экспедиций, в том числе экспедиции на пароходе «Челюскин» 1933—1934 гг.

Надгробие

Цикл из пяти стихотворений посвящен памяти Н. П. Гронского (1909—1934), из-за трагической случайности рано ушедшего из жизни. Был интересен М. И. Цветаевой как талантливый поэт и собеседник; бывал ее спутником в долгих прогулках по лесу (в парижском предместье).

«Есть счастливы и счастливицы...»

Пел же над другом своим Давид... — По библейскому преданию, царь Давид в отрочестве был пастухом и прекрасно играл на гуслях; став царем, он не забыл свое искусство: сочинял псалмы во славу Бога, исполнил «песнь плача» над погибшим другом Ионафаном.

Читатели газет

Гутенбергов пресс страшней, чем Шварцев прах! — т. е. газетная стряпня страшнее пороха. (Иоганн Гутенберг, 1399—1468, — изобретатель печатного прессы. Бертольд Шварц, XIV в., — изобретатель пороха.)

Стихи сироте

Семь стихотворений этого цикла (в нашем сборнике приведены три из них) обращены к поэту А. С. Штейгеру (1907—1944). М. И. Цветаева относилась к нему как к «приемному сыну», помогала ему окрепнуть духом: Штейгер был болен туберкулезом и испытывал острые приступы депрессии.

Всей Савойей и всем Пьемонтом... — Стихотворение написано в горном селении Сен-Лоран, расположенном на юге Франции, в местности (департаменте) *Савойя*; неподалеку от Савойи, в северной Италии, находится горная местность *Пьемонт*.

«Когда я гляжу на летящие листья...»

... *уж никому не по нраву Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид...* — Использованы строки из стихотворения А. К. Толстого (1817—1875) «Средь шумного бала, случайно...»: «Мне стан твой понравился тонкий И весь твой задумчивый вид...»

Стихи к Чехии

Цикл «Стихов к Чехии» создан в 1938—1939 гг., когда Чехия, только в 1918 г. получившая независимость от Австрии, по настоянию фашистской Германии была разделена на несколько частей (сентябрь 1938 г.), а затем оккупирована Германией (март 1939 г.). М. И. Цветаева прожила в Чехии больше трех лет (с августа 1922 г. по октябрь 1925 г.) и очень любила эту страну, ее трудовой народ. В чешской деревне Вшеноры у нее родился сын (в феврале 1925 г.). Подмосковную Тарусу, крымский Коктебель и чешские деревни она называла: «места моей души».

Стихи к Чехии. 4. Германи и

Наздрá! — чешское приветствие.

ПОЭМА ГОРЫ

Поэма посвящена *Константину Болеславовичу Родзевичу* (1896—1988), в то время — студенту юридического факультета Пражского университета. Ему же посвящена «Поэма Конца» и ряд стихотворений: «Древняя тшета течет по жилам...», «Брожу — не дом же плотничать...», «Люблю — но мука еще жива...» и др. Одна из предварительных записей Цве-

таевой емко определяет основной конфликт «Поэмы Горы»: «Он просит *дома*, а она может дать только *душу*».

К. Б. Родзевич участвовал в гражданской войне на стороне советской власти, но, попав в плен к белогвардейцам, оказался за границей. В 1926 г., окончив Пражский университет, переехал в Париж, вступил во Французскую коммунистическую партию. В 1936 г. воевал в Испании на стороне республиканцев, против фашизма. В годы оккупации Франции стал участником движения Сопротивления. В 1943 г. попал в фашистский концлагерь, из которого был освобожден советскими войсками; вернулся в Париж. В 1960 г. передал в СССР письма, рукописи, книги Цветаевой, бережно сохраненные им несмотря на все перипетии судьбы.

...с дитяком — отпустил Агарь! — А г а р ь — по библейскому преданию, рабыня патриарха (главы рода) Авраама; по требованию жены Авраама была изгнана из дома.

...что только дымом Станет — что ныне и мир, и Рим. — Старинная формула обращения римского папы к народу: «Риму и миру» (или: «Городу и миру»).

...Гору заповеди седьмой. — По Библии, седьмая заповедь, провозглашенная пророком Моисеем от имени Бога, — «Не прелюбодействуй!»

АРИАДНА. Трагедия

Краткое изложение древнегреческого мифа об Ариадне и Тезее см. на стр. 342—343, в комментарии к первому стихотворению цикла «Провода» — «Вереницею певчих стай...» (к строке «В Ариаднину: ве-ернись...»).

Стр. 231. *Не отзовется Дедала детище...* — Согласно древнегреческому мифу, знаменитый лабиринт на острове Крит был создан зодчим Дедалом (отцом Икара). В этот лабиринт критский царь Минос заключил ужасного Минотавра — чудовище с телом человека и головой быка.

Стр. 237. *Иным дерзаньям — край Пеплума? — П é п л у м* (или *п é п л о с*) — верхняя одежда женщины в Древней Греции: изящно драпированная, белая или цветная, ткань (самым нарядным был пеплум пурпурного цвета); надевался пеплум поверх домашнего одеяния — хитона.

Стр. 239. (*Касаясь лавра.*) *Сия листва Все еще трепещет Дафны Трепетом...* — Листья лавра трепещут при малейшем ветерке. С лавром связан древнегреческий миф о прекрасной нимфе Дафне. К ней воспылал страстью бог Аполлон (бог

света и солнца, покровитель искусств). Убегая от него, Дафна взмолилась к другим богам о спасении — и была превращена в вечнозеленое лавровое дерево. С тех пор, в память о Дафне, Аполлон носит венок из листьев лавра.

Стр. 240. *Но Пеннородной Памятлива кость.* — *Пенно-р ó д н а я* — богиня любви Афродита, дочь Зевса, родившаяся, по мифу, из пены морской.

Стр 245. ... *Млека и тука!* — *Тук* — жир, сало (отсюда: *тучный*).

Стр. 246. *Будь то хоть сам Зевес с Мойрами вкупе...* — *М ó й р ы* — в древнегреческой мифологии — три богини, определяющие судьбу богов и людей (в древнеримской мифологии — *Пárки*).

Стр. 247. *Огненный сын Семелы — Вдохновения грозный Бог...* *В утробе мужской догрет.* — По древнегреческому мифу, Дионис (в римской мифологии — *Вахх*) был сыном бога-громовержца Зевса и дочери фиванского царя Семелы. Пожелав увидеть Зевса во всем его блеске, Семела погибла в пламени небесного огня; рожденный ею перед гибелью сын оказался еще слишком слабым, не способным к жизни, и Зевс зашил его в свое бедро. Когда сын подрос и окреп, он родился вторично, из бедра Зевса.

Стр. 256. ... *огнь пурпурный Лемноса.* — *Л é м н о с* — легендарный остров, в вулкане которого обитал бог огня, бог-кузнец Гефест.

МОИ ПУШКИН

Этот очерк-воспоминание написан в конце 1936 года, к предстоящему столетию со дня гибели А. С. Пушкина; опубликован в парижском журнале «Современные записки» в 1937 г.

— **Стр. 267.** *Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей — «Jane Eyre»...* — «*Джен Эйр*» — роман английской писательницы Шарлотты Бронте (1816—1855).

Стр. 271. *С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо.* — «Узнали» в 1950 г., когда памятник Пушкину при реконструкции площади был перенесен на противоположную ее сторону (на место снесенного Страстного монастыря).

Стр 285. ... *Андрюшин штекенпферд...* — игрушечная лошадка (*нем.*).

Стр. 289. ...умчавшегося от нас гения — Марселя Пруста. — *Марсэль Пруст* (1871—1922) — знаменитый французский писатель, автор многотомного романа-эпопеи «В поисках утраченного времени»; с нежностью писал в этом романе о своей бабушке.

А. С. Э ф р о н. Страницы былого

Под этим названием — «Страницы былого» — объединены в нашем сборнике фрагменты из двух очерков-воспоминаний дочери М. И. Цветаевой, А. С. Эфрон: «Страницы воспоминаний» («Звезда», 1973, № 3) и «Страницы былого» («Звезда», 1975, № 6). Это бесценные свидетельства человека, которого по масштабу души можно поставить вровень с великим поэтом и человеком М. И. Цветаевой. Жизнь не дала Ариадне Сергеевне (как и ее младшему брату, Георгию) развернуть свой талант: много лет она провела в заключении и ссылке.

Завершить свой очерк жизни и творчества матери Ариадна Сергеевна не успела: ее воспоминания доведены лишь до 1925 года — года переезда семьи из Чехии во Францию. (Сведения об А. С. Эфрон см. также в комментариях к стихотворению «Але».)

Стр. 308. *Политические взгляды Елизаветы Петровны* [матери С. Я. Эфрона]... сложились под влиянием П. А. Кропоткина. — *Петр Алексеевич Кропоткин* (1842—1921) — революционер и ученый (географ и геолог), теоретик «крайне левого» политического учения — анархизма. Участник революционных организаций и научных обществ в России и за границей. С 1876 по 1917 г. находился в эмиграции. После октябрьского переворота жил на родине, был окружен заботами советского правительства; похоронен с почетом.

Стр. 316. *Вечер Блока.* — Имеется в виду второй вечер Блока во время его приезда из Петрограда в Москву в 1920 г. — 14 мая, во Дворце Искусств (бывший особняк графа Соллогуба на Поварской, ныне ул. Воровского, д. 52).

Стр. 327. ...и в афанасьевских сборниках открыла для себя... — *Афанасьевские сборники* — сборники произведений устного народного творчества, записанных А. Н. Афанасьевым или другими фольклористами и собранные, опубликованные им: «Народные русские сказки» (выходили отдельными выпусками с 1855 по 1863 г. и затем неоднократно переиздавались), «Народные русские легенды» (1859), «Русские детские сказки» (1871) и др. *Александр Николаевич Афанасьев*

(1826—1871) — ученый, получивший историко-юридическую подготовку. Уже в юности увлекся устным народным творчеством стал записывать сказки, бытовавшие в Воронежской губернии, откуда он был родом. А затем собрание и публикация фольклора стали главным делом его жизни.

Стр. 331. *Разрыв между их героями произошел... 12 декабря 1923 года.* — Речь идет о разрыве между М. И. Цветаевой и К. Б. Родзевичем (подробнее о Родзевиче см. в комментариях к «Поэме Горы»).

Стр. 332. *...зачарованность статуй Рыцаря на мосту...* — В наш сборник включено стихотворение «Пражский рыцарь» и даны комментарии к нему.

В завершение комментариев к произведениям М. И. Цветаевой и к статьям о ней — несколько высказываний Марины Ивановны, представляющих ее самохарактеристику:

«Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! Я — ободранный человек, а вы все — в броне»;

«А не знать себе цены, зная цену всему остальному (особенно — высокому), из всего ценного не знать цены именно себе — это какая-то местная слепота или корыстнейшее лицемерие. Все настоящие знали себе цену — с Пушкина (до Пушкина! Или, м. б., — кончая, ибо я первая после Пушкина, кто так радовался своей силе, так открыто, так — бескорыстно, так — непереубедимо!). Цену своей силе» (из письма литератору Ю. П. Иваску от 8 марта 1935 г.);

«И — главное — я ведь знаю, как меня будут любить (читать — что) через сто лет!» (из письма близкому другу, О. Е. Колбасиной-Черновой, от 17 октября 1924 г.).

Алфавитный указатель произведений

- «А мне от куста...» (К у с т, 2) — 181
А ле (1, 2, 3) — 93
А ри ад на (Трагедия) — 204
А х ма то вой (1, 4, 6) — 82
- Бабушке — 60
«Бежит тропинка с бугорка...» — 49
«Без зова, без слова...» (Стихи к Блоку, 14) — 81
«Белье на речке полошу...» — 90
Берегись... — 119
Бессонница (1, 2, 3, 4, 9, 10) — 74
«Бич жандармов, Бог студентов...» (Стихи к Пушкину, 1) — 160
«Благословляю ежедневный труд...» — 89
«Брожу — не дом же плотничать...» — 143
- «Вам одеваться было лень...» (Подруга, 1) — 62
«Ваш нежный рот...» (К ом е дья и т, 2) — 97
«В век сплошных скоропадских...» (О да пешему ходу, 1) — 168
«Вереницею певчих стай...» (Провода, 1) — 127
«Весна наводит сон...» (Провода, 9) — 130
«В мире, где всяк...» (Д в о е, 3) — 145
«В огромном городе моем...» (Бессонница, 3) — 75
Волк — 109
«Восхищенной и восхищённой...» — 105
«Вот опять окно...» (Бессонница, 10) — 77
«В Париже» — 48
«В пустынной хрámине...» — 117
«В седину — висок...» — 152
«В синее небо ширя глáза...» — 191
«В сиром воздухе загробном...» — 126
«Вскрыла жилы: неостановимо...» — 179
Встреча с Пушкиным — 54
«В час, когда мой милый брат...» (Провода, 7) — 129
«Вчера еще в глаза глядел...» — 106
«В черном небе — слова начертаны...» — 88
«Вы, идущие мимо меня...» — 51
«Вы столь забывчивы, сколь незабвенны...» — 97
- Генералам двенадцатого года — 57
Германии (Стихи к Чехии. Март, 4) — 195
Глаза («Привычные к степям — глаза...») — 95
«Горы — турам попроще...» (Стихи к Чехии. Сентябрь, 2) — 193
- «Да, вздохов обо мне — край непочатый...» — 103
«Да, друг невиданный, неслышанный...» — 101
«Дармоедством пресытись...» (О да пешему ходу, 3) — 169
«Два солнца стынут...» — 66
«Две руки, легко опущенные...» — 99

- Двое (1, 2, 3) — 144
 Деревья (2, 9) — 121
 Диалог Гамлета с совестью — 134
 «Дней сползающие слизни...» — 153
 «Доблесть и девственность! Сей союз...» — 91
 Дом («Из-под нахмуренных бровей...») — 170
 Дом («Лопушиный, ромашный...») — 187
 Домики старой Москвы — 50
 Дон-Жуан (1, 5) — 85
 «Древняя тщета течет по жилам...» — 142
 «Други его — не тревожьте его!..» (Стихи к Блоку, 11) — 80
 «Другие — с очами и с личиком светлым...» — 107
 «Думали — человек! И умереть заставили...» (Стихи к Блоку, 6) — 79

 «Если душа родилась крылатой...» — 93
 «Есть в мире лишние...» (Поэт, 2) — 131
 «Есть в стане моем офицерская прямота...» — 108
 «Есть рифмы в мире сём...» (Двое, 1) — 144
 «Есть счастливы и счастливыцы...» — 186
 «Есть час на те слова...» — 115
 «Жив, а не умер Демон во мне!..» — 150
 Жизни (1, 2) — 148

 Заводские («Стоят в чернорабочей хмури...») — 123
 Занавес — 137
 «Заповедей не блюла...» — 65
 «За то, что некогда, юн и смел...» (Надгробие, 3) — 186
 «Зверю — берлога...» (Стихи к Блоку, 4) — 78
 «Здравствуй! Не стрела, не камень...» — 116
 Земные приметы (1, 4) — 115
 «Знаю, умру на заре!..» — 110
 «Золото моих волос...» — 122

 «И бродим с тобой по церквам...» (Але, 2) — 94
 «И была у Дон-Жуана шпага...» (Дон-Жуан, 5) — 86
 «И в заточенье зимних комнат...» — 86
 «И вот, навьючив на верблюжий горб...» — 87
 «Идешь, на меня похожий...» — 50
 «Идите же! — мой голос нем...» — 54
 «Иду на несколько минут...» (Надгробие, 1) — 185
 «Из-под нахмуренных бровей...» (Дом) — 170
 «Из рук моих — нерукотворный град...» (Стихи о Москве, 2) — 71
 «И как под землю трава...» (Але, 3) — 94
 «Имя ребенка — Лев...» (Ахматовой, 4) — 83
 «Имя твое — птица в руке...» (Стихи к Блоку, 1) — 77
 «И не спасут ни стансы, ни созвездья...» — 104

 «Как бы дым твоих ни горек Труб...» — 140
 «Каким найтием...» (Деревья, 9) — 121

- «Какой-нибудь предок мой...» — 64
 «Как правая и левая рука...» — 91
 «Квиты: вами я объедена...» (Стол, 6) — 179
 «К груди моей...» (Сивилла — младенцу) — 118
 «Клонится, клонится лоб тяжелый...» — 92
 Книги в красном переплете — 47
 «Когда-нибудь, прелестное создание...» — 98
 «Когда обидой — опилась...» (Деревья, 2) — 121
 «Когда я гляжу на летящие листья...» — 191
 Комедьянт (2, 3) — 97
 «Красною кистью рябина зажглась...» (Стихи о Москве, 9) — 73
 Крестины — 149
 «Кто создан из камня, кто создан из глины...» — 105
 «Кто спит по ночам?...» (Бессонница, 9) — 76
 Куст (1, 2) — 180

 «Ледяная тиара гор...» (Стихи сироте, 1) — 189
 «Летят они, — написанные наспех...» — 67
 «Лопушиный, ромашный...» (Дом) — 187
 Луна — лунатику — 136
 Лучина — 160
 «Лютая юдоль...» — 114

 «Маленький домашний дух...» — 98
 «Мальчиком, бегущим резво...» — 52
 Март (Стихи к Чехии, 4, 8.) — 195
 Маяковскому («Превыше крестов и труб...») — 111
 «Мировое началось во мгле кочевье...» — 85
 «Мне нравится, что Вы больны не мной...» — 63
 «Моим стихам, написанным так рано...» — 52
 «Мой письменный верный стол!..» (Стол, 1) — 177
 «Мой письменный верный стол!..» (Стол, 5) — 178
 «Мой путь не лежит мимо дому — твоего...» — 100
 Мой Пушкин — 267
 Молодость (1, 2) — 111
 «Молодость моя! Моя чужая...» (Молодость, 1) — 111
 Мореплаватель — 135
 «Москва! Какой огромный...» (Стихи о Москве, 8) — 72

 «На брэнность бедную мою...» — 102
 «Над вороним утёсом...» — 175
 Надгробие (1, 3) — 185
 «Над городом, отвергнутым Петром...» (Стихи о Москве, 5) — 72
 «Над Феодосией угас...» — 58
 «На заре морозной...» (Дон-Жуан, 1) — 85
 «Наконец-то встретила Надобного мне...» (Стихи сироте, 6) — 190
 «Настанет день...» (Стихи о Москве, 4) — 71
 На тебе, ласковый мой, лохмотья...» (Психея, 2) — 88

- «Наша совесть — не ваша совесть!..» (Стихи к сыну, 2) — 172
 Няяда — 157
 «Не быть тебе нулём...» (Стихи к сыну, 3) — 173
 «Не возьмешь моего румянца...» (Жизни, 1) — 148
 «Не возьмешь мою душу живу...» (Жизни, 2) — 149
 «Не думаю, не жалуюсь, не спорю...» — 59
 «Не знаю, где ты и где я...» (Але, 1) — 93
 «Не колесо громовое...» — 152
 «Не нужен твой стих...» — 171
 «Не отстать тебе. Я — острожник...» (Ахматовой, 6) — 83
 «Не проломанное ребро — переломленное крыло...» (Стихи к Блоку, 13) — 80.
 «Не самозванка — я пришла домой...» (Психея, 1) — 88
 «Не смущаю, не пою...» — 95
 «Не суждено, чтобы сильный с сильным...» (Двое, 2) — 145
 «Нет, бил барабан перед смутным полком...» (Стихи к Пушкину. *Поэт и царь. 2* [6]) — 167
 «Нет, легче жизнь отдать, чем час...» — 101
 «Ни к городу и ни к селу...» (Стихи к сыну, 1) — 171
 «Никто ничего не отнял...» — 67
 «Никуда не уехали — ты да я...» — 176
 «Новый год я встретила одна...» — 87
 «Обвела мне глаза кольцом...» (Бессонница, 1) — 74
 «Обидел и обошел?..» (Стол, 4) — 178
 «Облака — вокруг...» (Стихи о Москве, 1) — 70
 «Обнимаю тебя кругозором...» (Стихи сироте, 2) — 189
 О да пешему ходу (1, 3) — 168
 «О дева всех румянее...» (Стихи к Чехии. *Март*, 4) — 195
 «О муза плача, прекраснейшая из муз!..» (Ахматовой, 1) — 82
 «О, слёзы на глазах...» (Стихи к Чехии. *Март*, 8) — 196
 «Откуда такая нежность?..» — 68
 «Осыпались листья над Вашей могилкой...» (П. Э.) — 61
 Офелия — в защиту королевы — 126
 <Памяти Сергея Есенина> — 159
 «Пахнуло Англией — и морем...» — 100
 Петр и Пушкин (Стихи к Пушкину, 2) — 162
 «Писала я на аспидной доске...» (С. Э.) — 103
 Письмо — 139
 Плач матери по новобранцу — 159
 Подруга (1, 2, 3) — 62
 Поезд — 141
 «Полон и просторен...» (Стихи к Чехии. *Сентябрь*, 1) — 191
 «Полюбил богатый — бедную...» — 89
 Попытка ревности — 146
 «После бессонной ночи...» (Бессонница, 4) — 76
 «Потусторонним Залом царей...» (Стихи к Пушкину, *Поэт и царь, 1* [5]) — 167

Поэма Горы — 197

Поэма заставы — 132

Поэт (1, 2, 3) — 130

«Поэт — издалека заводит речь...» (Поэт, 1) — 130

Поэт и царь (Стихи к Пушкину, 1 [5], 2 [6]) — 167

Пражский рыцарь — 140

«Превыше крестов и труб...» (Маяковскому) — 111

«Преодоление Косности русской...» (Стихи к Пушкину, 4) — 166

«Привычные к степям — глаза...» (Глаза) — 95

«Пригвождена...» — 104

Приметы — 148

Проводя (1, 2, 7, 8, 9) — 127

Прокрасться... («А может, лучшая победа...») — 134

«Проста моя осанка...» — 108

«Простите меня, мои горы!...» — 89

Психея (1, 2) — 88

«Пусть не помнят юные...» — 92

Разговор с Геннем — 156

«Рано еще — не быть!...» — 135

Рассвет на рельсах — 125

«Рас-стояние вёрсты, мили...» — 154

Рельсы — 138

Родина — 174

Роландов Рог — 110

«Руки даны мне...» — 83

«Руки — и в круг...» (Земные приметы, 4) — 116

«Руки, которые не нужны Милому...» — 90

«Руки люблю целовать...» (Бессонница, 2) — 75

«Русской ржи от меня поклон...» — 154

«Рыцарь ангелоподобной!...» — 91

«Рябину рубили...» — 184

Сад — 182

Свиданье — 135

«Сегодня таяло — сегодня...» — 61

Сентябрь (Стихи к Чехии, 1, 2) — 191

Сивилла — младенцу («К груди моей...») — 118

«Сини подмосковные холмы...» (Подруга, 2) — 63

«Сказавший всем страстям: прости...» — 102

«Скоро уж из ласточек — в колдуньи!...» (Молодость, 2) — 112

«Слёзы на лице моей облезлой!...» — 112

Сон («Врылась, забылась...») — 147

Станок (Стихи к Пушкину, 3) — 164

Старуха — 49

Стихи к Блоку (1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14) — 77

Стихи к Пушкину (1, 2, 3, 4) — 160

Стихи к сыну (1, 2, 3) — 171

- Стихи к Чехии (1, 2, 4, 8) — 191
Стихи о Москве (1, 2, 4, 5, 8, 9) — 70
Стихи сироте (1, 2, 6) — 189
«Стихи растут, как звезды и как розы...» — 93
Стол (1, 4, 5, 6) — 177
«Стоят в чернорабочей хмури...» (Заводские, 1) — 123
«Строительница струн...» — 138
«Суда поспешно не чини...» — 103
«Существовавшая котловиною...» — 151
С. Э. («Писала я на аспидной доске...») — 103
С. Э. («Я в вызовом ношу его кольцо...») — 59
- «Так, в скудном труженичестве дней...» (Земные приметы, 1) — 115
«Терпеливо, как щебеня бьют...» (Провода, 8) — 129
«Тише, хвала!..» — 155
«Тоска по родине!..» — 184
«Ты запрокидываешь голову...» — 68
«Ты, меня любивший...» — 143
«Ты проходишь на запад солнца...» (Стихи к Блоку, 3) — 78
- «Уж сколько их упало в эту бездну...» — 56
«У меня в Москве — купола горят...» (Стихи к Блоку, 5) — 79
«Уединение: уйди...» — 181
«Умирая, не скажу: была...» — 90
«У первой бабки — четыре сына...» — 99
Хвала богатым — 124
«Хоровод, хоровод...» — 106
«Хочу у зеркала, где муть...» (Подруга, 3) — 63
- «Цыганская страсть разлуки!..» — 66
- Час души («В глубокий час души...») — 139
Челюскинцы — 183
«Четвертый год...» — 69
Читатели газет — 187
«Что другим не нужно — несите мне!..» — 94
«Что же мне делать, слепцу и пасынку...» (Поэт, 3) — 132
«Что, Муза моя? Жива ли еще?..» — 151
«Что нужно кусту от меня?..» (Куст, 1) — 180
«Чтоб высказать тебе...» (Провода, 2) — 128
«Чтобы помнил не часочек, не годок...» — 96
- «Я знаю правду...» — 65
«Я помню первый день...» — 87
«Я с вызовом ношу его кольцо!..» (С. Э.) — 59
«Я сейчас лежу ничком...» — 53
«Я — страница твоему перу...» — 91
«Я счастлива жить образцово и просто...» — 96
«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...» — 84

Содержание

Марина Цветаева. Судьба. Характер. Поэзия. В. Н. Орлов 5

СТИХОТВОРЕНИЯ 47

1908—1915

Книги в красном переплете	47
В Париже	48
«Бежит тропинка с бугорка...»	49
Старуха	—
Домики старой Москвы	50
«Идешь, на меня похожий...»	—
«Вы, идущие мимо меня...»	51
«Мальчиком, бегущим резво...»	52
«Моим стихам, написанным так рано...»	—
«Я сейчас лежу ничком...»	53
«Идите же! — мой голос нем...»	54
Встреча с Пушкиным	—
«Уж сколько их упало в эту бездну...»	56
Генералам двенадцатого года	57
«Над Феодосией угас...»	58
С. Э. («Я с вызовом ношу его кольцо...»)	59
«Не думаю, не жалею, не спорю...»	—
Бабушке	60
П. Э. («Осыпались листья над Вашей могилой...»)	61
«Сегодня таяло, сегодня...»	—

Подруга

1. «Вам одеваться было лень...»	62
2. «Снии подмосковные холмы...»	63
3. «Хочу у зеркала, где мать...»	—
«Мне нравится, что Вы больны не мной...»	63
«Какой-нибудь предок мой...»	64
«Заповедей не блюла...»	65
«Я знаю правду...»	—
«Два солнца стынут...»	66
«Цыганская страсть разлуки!...»	—

1916

«Летят они, написанные наспех...»	67
«Никто ничего не отнял...»	—
«Ты запрокидываешь голову...»	68
«Откуда такая нежность?...»	—
«Четвертый год...»	69

<i>Стихи о Москве</i>	
1. «Облака — вокруг...»	70
2. «Из рук моих — нерукотворный град...»	71
4. «Настанет день...»	—
5. «Над городом, отвергнутым Петром...»	72
8. «Москва! Какой огромный...»	—
9. «Красною кистью рябина зажглась...»	73

<i>Бессонница</i>	
1. «Обвела мне глаза кольцом...»	74
2. «Руки люблю целовать...»	75
3. «В огромном городе моем...»	—
4. «После бессонной ночи...»	76
9. «Кто спит по ночам?...»	—
10. «Вот опять окно...»	77

<i>Стихи к Блоку</i>	
1. «Имя твое — птица в руке...»	77
2. «Ты проходишь на запад солнца...»	78
4. «Зверю — берлога...»	—
5. «У меня в Москве — купола горят...»	79
6. «Думали — человек! И умереть заставили...»	—
11. «Други его — не тревожьте его!...»	80
13. «Не проломанное ребро — переломленное крыло...»	—
14. «Без зова, без слова...»	81

<i>Ахматовой</i>	
1. «О муза плача, прекраснейшая из муз!...»	82
4. «Имя ребенка — Лев...»	83
6. «Не отстать тебе. Я — острожник...»	—
«Руки даны мне...»	—
«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...»	84

1917 — апрель 1922

«Мировое началось во мгле кочевье...»	85
---	----

<i>Дон-Жуан</i>	
1. «На заре морозной...»	85
5. «И была у Дон-Жуана — шпага...»	86
«И в заточенье зимних комнат...»	86
«Я помню первый день...»	87
«И вот, навьючив на верблюжий горб...»	—
«Новый год я встретила одна...»	—

<i>Психея</i>	
1. «Не самозванка — я пришла домой...»	88
2. «На тебе, ласковый мой, лохмотья...»	—

«В черном небе — слова начертаны...»	88
«Простите меня, мои горы...»	89
«Благословляю ежедневный груд...»	—
«Полюбил богатый — бедную...»	—
«Белье на речке полошу...»	90
«Умирая, не скажу: была...»	—
«Руки, которые не нужны Милому...»	—
«Я — страница твоему перу...»	91
«Как правая и левая рука...»	—
«Рыцарь ангелоподобный!...»	—
«Доблесть и девственности! Сей союз...»	—
«Пусть не помнят юные...»	92
«Клонится, клонится лоб тяжелый...»	—
«Стихи растут, как звезды и как розы...»	93
«Если душа родилась крылатой...»	—

Але

1. «Не знаю — где ты и где я...»	93
2. «И бродим с тобой по церквам...»	94
3. «И как под землю трава...»	—
«Что другим не нужно — несите мне!...»	94
Глаза («Привычные к степям — глаза...»)	95
«Не смущаю, не пою...»	—
«Чтобы помнил не часочек, не годок...»	96
«Я счастлива жить образцово и просто...»	—

Комедьянт

2. «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны...»	97
3. «Ваш нежный рот...»	—
«Когда-нибудь, прелестное созданье...»	98
«Маленький домашний дух...»	—
«У первой бабки — четыре сына...»	99
«Две руки, легко опущенные...»	—
«Мой путь не лежит мимо дому твоего...»	100
«Пахнуло Англией — и морем...»	—
«Да, друг невиданный, неслыханный...»	101
«Нет, легче жизнь отдать, чем час...»	—
«На сренность бедную мою...»	102
«Сказавший всем страстям: прости...»	—
«Да, вздохов обо мне — край непочатый...»	103
«Суда поспешно не чини...»	—
«Писала я на аспидной доске...»	—
Пригвождена... («Пригвождена к позорному столбу...»)	104
«И не спасут ни стансы, ни созвездья...»	—
«Восхищенной и восхищённой...»	105
«Кто создан из камня, кто создан из глины...»	—

«Хоровод, хоровод...»	106
«Вчера еще в глаза глядел...»	—
«Другие — с очами и с личиком светлым...»	107
«Проста моя осанка...»	108
«Есть в стане моем офицерская прямота...»	—
Волк	109
«Знаю, умру на заре!...»	110
Роландов Рог	—
Маяковскому («Превыше крестов и труб...»)	111

Молодость

1. «Молодость моя! Моя чужая...»	—
2. «Скоро уж из ласточек — в колдуньи!...»	112
«Слёзы на лице моей облезлой...»	—

Май 1922—1925

«Лютая юдоль...»	114
«Есть час на те слова...»	115

Земные приметы

1. «Так, в скудном труженичестве дней...»	115
4. «Руки — и в круг...»	116
«Здравствуй! Не стрела, не камень...»	—
«В пустынной хранине...»	117
Сивилла — младенцу («К груди моей...»)	118
Берегись...	119

Деревья

2. «Когда обидой — опилась...»	121
9. «Каким наитием...»	—
«Золото моих волос...»	122
Заводские («Стоят в чернорабочей хмури...»)	123
Хвала богатым	124
Рассвет на рельсах	125
«В сиром воздухе загробном...»	126
Офелия — в защиту королевы	—

Провода

1. «Вереницею певчих свай...»	127
2. «Чтоб высказать тебе...»	128
7. «В час, когда мой милый брат...»	129
8. «Терпеливо, как щебень бьют...»	—
9. «Весна наводит сон...»	130

Поэт

1. «Поэт — издалека заводит речь...»	130
2. «Есть в мире лишние...»	131
3. «Что же мне делать, слепцу и пасынку...»	132
Поэма заставы	132
Прокрасться... («А может, лучшая победа...»)	134
Диалог Гамлета с совестью	—
Мореплаватель	135
Свиданье	—
«Рано еще — не быты...»	—
Луна — лунатику	136
Занавес	137
«Строительница струн...»	138
Рельсы	—
Час души («В глубокий час души...»)	139
Письмо	—
«Как бы дым твоих ни горек Труб...»	140
Пражский рыцарь	—
Поезд	141
«Древняя тщета течет по жилам...»	142
«Брожу — не дом же плотничать...»	143
«Ты, меня любивший...»	—

Двое

1. «Есть рифмы в мире сём...»	144
2. «Не суждено, чтобы сильный с сильным...»	145
3. «В мире, где всяк...»	—
Попытка ревности	146
Сон («Врылась, забылась...»)	147
Приметы	148

Жизни

1. «Не возьмешь моего румянца...»	148
2. «Не возьмешь мою душу живу...»	149
Крестны	—
«Жив, а не умер Демон во мне!...»	150
«Существования котловиною...»	151
«Что, Муза моя? Жива ли еще?...»	—
«Не колесо громовое...»	152
«В седину — висок...»	—
«Дней сползающие слизни...»	153
«Рас-стояние. вёрсты, мили...»	154
«Русской ржи от меня поклон...»	—

«Тише, хвала!..»	155
⟨Памяти Сергея Есенина⟩	156
Разговор с Гением	—
Наяда	157
Плач матери по новобранцу	159
Лучина	160

Стихи к Пушкину

1. «Бич жандармов, Бог студентов...»	160
2. Петр и Пушкин	162
3. Станок	164
4. «Преодоление Косности русской...»	166

Поэт и царь

1(5). «Потусторонним Залом царей...»	167
2(6). «Нет, бил барабан...»	—

Ода пешему ходу

1. «В век сплошных скоропадских...»	163
3. «Дармоедством пресытись ...»	169

Дом («Из-под нахмуренных бровей...»)	170
«Не нужен твой стих...»	171

Стихи к сыну

1. «Ни к городу и ни к селу...»	171
2. «Наша совесть — не ваша совесть!..»	172
3. Не быть тебе нулём...»	173

Родина	174
«Над воронým утёсом...»	175
«Никуда, не уехали — ты да я...»	176

Стол

1. «Мой письменный верный стол!..»	177
4. «Обидел и обошел?..»	178
5. «Мой письменный верный стол!..»	—
6. «Квиты: вами я объедена...»	179

«Вскрыла жилы...»	—
-----------------------------	---

Куст

1. «Что нужно кусту от меня?..»	180
2. «А мне от куста...»	181

«Уединение: уйди...»	—
Сад	182

Челюскинцы	183
«Рябину рубили...»	184
«Тоска по родине!..»	—
Надгробие	
1. «Иду на несколько минут...»	185
3. «За то, что некогда, юн и смел...»	186
«Есть счастливы и счастливыцы...»	—
Дом («Лопушиный, ромашный...»)	187
Читатели газет	—
Стихи сироте	
1. «Ледяная тиара гор...»	189
2. «Обнимаю тебя кругозором...»	—
6. «Наконец-то встретила Надобного мне...»	190
«Когда я гляжу на летящие листья...»	191
«В синее небо ширя глаза...»	—
Стихи к Чехии	
Сентябрь	
1. «Полон и просторен...»	191
2. «Горы — турам поприще!..»	193
Март	
4. Германи	195
8. «О, слёзы на глазах!..»	196
ПОЭМА ГОРЫ	197
ПРИАДНА. Трагедия	204
МОИ ПУШКИН	267
Страницы былого. Фрагменты. А. С. Эфрон	300
Комментарии	334
Алфавитный указатель произведений	353

Литературно-художественное издание

ЦВЕТАЕВА МАРИНА ИВАНОВНА

ИЗБРАННОЕ

Зав. редакцией *В. П. Журавлев*
Редактор *Л. И. Фартышева*
Художник *С. В. Соколов*
Художественный редактор *Л. Ф. Малышева*
Технический редактор *Т. Е. Молозева*
Корректоры *Л. А. Ермолина, Е. В. Чамазева*

ИБ № 14928

Подписано к печати с матриц 18.02.92. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. газетная. Гарнит. Литер. Печать высокая. Усл. печ. л. 23. Усл. кр.-отт. 23,25. Уч.-изд. л. 20,56. Тираж 130 000 экз. Заказ 2059.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Министерства печати и информации Российской Федерации. 127521. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Областная типография управления печати и информации администрации Ивановской области, 153628, г. Иваново, ул. Типографская 5.

